

или Моя
семья

ЛЮБОВЬ,



ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ, МАША ТРАУБ,
ИРИНА МУРАВЬЁВА, ОЛЕГ РОЙ,
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ, АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ и другие

ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ
АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ
ИРИНА МУРАВЬЁВА
МАША ТРАУБ
ОЛЕГ РОЙ

и другие

ЛЮБОВЬ,

или Моя семья



Содержит
нецензурные
языки
18+

Есть темы, которые волнуют всех без исключения. Это темы любви, семьи, Родины. Ведь каждый человек любит и хочет, чтобы его любили, нуждается в близких людях и в семье, испытывает потребность в доме и Родине. В серии «Рассказы о самом важном» мы собрали произведения наиболее интересных писателей, готовых доверительно говорить о сложных и актуальных проблемах. Среди наших авторов Дина Рубина, Людмила Петрушевская, Андрей Геласимов, Олег Рой, Мария Метлицкая и многие другие.

ЛЮБОВЬ,

или Моя семья

Маргарита вышла замуж за Серго по большой любви, к неодобрению всей своей семьи, считавшей жениха не равным девушке по положению и образованию. Долгое время у пары не было детей, словно сама судьба не благословила этот союз. Но стоило мужу отправиться на войну, у Маргариты родилась двойня, и тут браку, похоже, пришел конец. Серго категорически не поверил, что дети от него. Так начинается рассказ Людмилы Улицкой. А в рассказе Олега Роя «Чистая случайность» случайности, напротив, способствовали брачным узам и вели к счастью.

В ЭТОМ СБОРНИКЕ СОБРАНЫ РАССКАЗЫ
РАЗНЫХ АВТОРОВ, НО ВСЕ ОНИ —
О ЛЮБВИ, ВЗАИМОПОНИМАНИИ,
УМЕНИИ ЛЮБИТЬ И ПРОЩАТЬ.

ISBN 978-5-699-83363-4



9 785699 833634 >



рассказы о самом важном

**ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ
МАРИЯ МЕТЛИЦКАЯ
АНДРЕЙ ГЕЛАСИМОВ
ИРИНА МУРАВЬЁВА
МАША ТРАУБ
ОЛЕГ РОЙ**

и другие

ЛЮБОВЬ,

или Моя семья

сборник рассказов



**Москва
2015**

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л93

Оформление серии *П. Петрова*

Любовь, или Моя семья : сборник рассказов /
Л93 Людмила Улицкая, Андрей Геласимов, Олег Рой,
Маша Трауб, Мария Метлицкая, Марианна Гон-
чарова и др.. — Москва : Издательство «Э», 2015. —
352 с. — (Рассказы о самом важном).

ISBN 978-5-699-83363-4

Маргарита вышла замуж за Серго по большой любви, к неодобрению всей своей семьи, считавшей жениха не равным девушке по положению и образованию. Долгое время у пары не было детей, словно сама судьба не благо-словила этот союз. Но стоило мужу отправиться на войну, у Маргариты родилась двойня, и тут браку, похоже, при-шел конец. Серго категорически не поверил, что дети от него. Так начинается рассказ Людмилы Улицкой. А в рас-сказе Олега Роя «Чистая случайность» случайности, на-против, способствовали брачным узам и вели к счастью.

В этом сборнике собраны рассказы разных авторов, но все они – о любви, взаимопонимании, умении любить и прощать.

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2015
© Улицкая Л., 2015
© Геласимов А., 2015
© Резепкин О., 2015
© Трауб М., 2015
© Муравьева И., 2015
© Федорова Т., 2015
© Гончарова М., 2015
© Снегирёв А., 2015
© Ройтбурд Л., 2015
© Борисова А., 2015
© Габышева В., 2015
© Тронкина Т., 2015
© Исаева О., 2015
© Оформление.

ISBN 978-5-699-83363-4

ООО «Издательство «Э», 2015

ПРЕДИСЛОВИЕ

Даже самым смелым и отчаянным требуется поддержка. А где еще выслушают, помогут или даже просто погладят по головке, как не в семье?..

Конечно, многие представительницы прекрасной половины человечества стали рассчитывать на себя, потому что точно знают, что это вернее и надежнее. Но и они не обходятся без семьи. Для меня семья, прежде всего, это дети. Вопрос — рожать или делать карьеру — жесткий. Я сама решила его давно и однозначно. Конечно, дети нервы треплют и не прекратят трепать до конца жизни. И будут и слезы, и обиды, и неоправданные надежды. А бессонные ночи — сколько их было и сколько еще впереди! Но взять на руки это теплое существо! Подоткнуть ему на ночь одеяло и рассказать сказку! А первое в жизни Первое сентября! Дальше, правда, пойдут двойки, потом начнутся дикие прически и отрицание всего на свете, в том числе авторитета матери. Но это пройдет. Точно вам говорю, пройдет. И ребенок навсегда останется лучшим другом, надеждой и опорой. Тем, кто наверняка пожалеет, и нальет стакан чая, и расскажет о своих проблемах. И ничего, что потом уснуть удастся только со снотворным. Но будет осознание того, что ты дала жизнь человеку.

Каждому из нас важно найти свою половинку, пусть даже остальным покажется, будто вы не подходите друг

другу. По соседству со мной живет пара. Она старше его на двадцать пять лет. Брак по безумной любви. С годами они даже сравнялись внешне — она выглядит моложе своих лет, а он — солиднее своих. Такой вот образовался баланс. Уже тридцать лет живут дружно и ладно, ходят за ручку — молодым бы так! И все забыли про их возраст. Пример для подражания, между прочим. Или еще. Знала я одну семью. Она — умница, интеллектуалка и эрудит, филолог, кандидат наук. К тому же красавица. Читает в подлиннике Шекспира и Гете, знает несколько языков. Первый муж был физик, профессор. В доме собиралась исключительная публика: профессора, художники, писатели, врачи. Каждый человек со значением. Но брак, казавшийся идеальным, распался. Все, мягко говоря, были в шоке. Как-то вечером с работы ее подвез таксист, и начался у них сумасшедший роман. Через полгода — свадьба. Все опять в шоке. Она родила троих детей и абсолютно счастлива. Говорит, что нет на свете мужчины надежнее и вернее ее мужа. А он обожает ее и безмерно ею гордится. А казалось бы, какая между ними пропасть!

Давать советы, как найти счастье в семейной жизни, я не берусь. Я, как и другие писатели, чьи произведения собраны в этом сборнике, только рассказываю истории. Счастливые и печальные, забавные и трагические — это истории любви, прощения, взаимопонимания, всего, что составляет нашу с вами обыденную жизнь. Извлекать из них выводы или нет — дело ваше.

А от себя пожелаю вам счастья и семейного уюта.

Ваша

Мария Метлицкая

ЛЮДМИЛА
УЛИЦКАЯ



ЧУЖИЕ ДЕТИ



Факты были таковы: первой родилась Гаяне, не причинив матери страданий сверх обычного. Через пятнадцать минут явилась на свет Виктория, произведя два больших разрыва и множество мелких разрушений в священных вратах, входить в которые столь сладостно и легко, а выходить — тяжело и болезненно.

Столь бурное появление второго ребенка оказалось полной неожиданностью для опытной акушерки Елизаветы Яковлевны, и пока она, пытаясь остановить кровотечение до прихода дежурного хирурга, за которым было послано в другое отделение, накладывала лигатуры, Виктория крепко кричала, поводя сжатыми кулачками, а Гаяне мирно спала, словно бы и не заметив своего выхода на хрупкий мостик, переброшенный из одной бездны в другую.

Невзирая на суматоху, поднявшуюся вокруг роженицы, Елизавета Яковлевна успела отметить про себя, что близнецы однойяйцевые, и это не очень хорошо — она держалась того мнения, что однойяйцевые близнецы физически слабее разнойяйцевых, — а также она обратила внимание на то забавное обстоятельство, что впервые в ее практике близнецы ухитрились родиться в разные дни: первая двадцать второго августа, а вторая, через пятнадцать минут, но уже после полуночи, двадцать третьего...

Пока мать девочек Маргарита, не унизившая себя общепринятыми родильными воплями, плавала в тяжеловодной реке, то выбрасываемая на черный и прочный берег полного беспамятства, то снова увлекаемая

в горячие сильные воды с вызывающей тошноту скоростью, девочки неделю за неделей содержались в детской палате и кормились от щедрот чужих сосцов.

К исходу первого месяца, когда мать девочек, перенеся большую операцию, лишившую ее возможности впредь проращивать драгоценные зерна потомства, и последующее заражение крови, вынырнула вопреки прогнозам врачей из промежуточного состояния и начала медленно поправляться, Эмма Ашотовна, бабушка, забрала девочек домой.

К этому времени ей удалось поменять хорошую работу в управлении на должность бухгалтера в жилищной конторе в соседнем доме, чтобы иметь возможность сбегать среди дня к детям и покормить их.

Дома, впервые распеленав два тугих поленца, выданных ей под расписку в роддоме, и увидев, как запущена их бедная кожа, она заплакала. Виктория, впрочем, еще безымянная, тоже заплакала — зло, не по-младенчески, большими слезами. Эти первые общесемейные слезы все и решили: Эмма Ашотовна ужаснулась своей тайной неприязни к новорожденным внучкам, едва не унесшим жизнь ее драгоценной дочери, и пошла на кухню кипятить постное масло, чтобы после купания намазать опрелые складочки.

Уже через несколько дней внимательная Эмма Ашотовна установила, что Виктория — она звала ее про себя «егрорт», по-армянски «вторая», — яростно орет, если бутылочку с молоком подносят сначала ее сестре. Старшая сестра, которую бабушка называла «ара-чин» — «первая», голоса вообще не подавала.

Лежа валетом в кроватке-качалке, сработанной дворовым столяром дядей Васей, и получая из бабушкиных рук, отяжеленных крупными перстнями и набухшими суставами, теплые бутылочки, они с честным рвением исполняли свой долг перед жизнью: сосали, отгрыгивали, переваривали, исторгали из себя с удовлетворен-

ным кряхтением желтые творожистые останки трудно-добываемого молока.

Они были очень похожи: темные густые волосики обозначали линию низкого и широкого лба, нежный пушок, покрывающий их лица, сгущался в тонкие длинные брови, а верхняя губа, как у матери и бабушки, была вырезана лукообразно, и именно в этой крохотной, но явственно заметной выемке и сказывалось семейное и кровное начало. Хотя обе девочки были прехорошенькими, старшая, по мнению Эммы Ашотовны, была потоньше и помиловидней.

Следуя известной системе народных суеверий, дополненных и своими собственными, в некотором роде авторскими, Эмма Ашотовна девочек не показала никому, кроме старой Фени, соседки, много лет помогавшей ей по хозяйству. Однако пока Феня с указанного ей расстояния рассматривала два сопящих чуда природы, Эмма Ашотовна, причудливо сцепив пальцы, мелко поплевывала на четыре стороны. Это отводило сглаз, к которому особенно чувствительны, как известно, младенцы до года и девственницы на выданье.

Была Эмма Ашотовна человеком оригинальным, со своей системой жизни, в которой равноправно присутствовали строгие нравственные правила, несколько не завершенное высшее образование, набор упомянутых суеверий, а также возведенные в принцип собственные прихоти и капризы, для окружающих, впрочем, вполне безвредные. Так, к последним относился, например, полный отказ от баранины, столь обычной для армянской кухни, несокрушимая вера в целебные свойства листьев айвы, страх перед желтыми цветами и тайное обыкновение перебирать про себя ряды чисел, как другие перебирают четки. Так, с помощью этой своеобразной игры решала она обыкновенно свои житейские задачи.

Однако теперешняя ее задача была столь сложна, что со своими любимыми числами, послушно позвяки-

вающими в ее крупной голове, под большими волосами, не могла она к ней подступиться.

Эти детки были долгожданными. Дочь ее, Маргарита, в очень юном возрасте, не достигнув и восемнадцати, вышла замуж по большой любви не то чтобы против воли родителей, профессора-отца и самой Эммы Ашотовны, представительницы древнего армянского рода, скорее — вопреки их ожиданиям... Избранник Маргариты был крестьянского происхождения, уже в зрелом мужском возрасте. Та армянская глина, из которой он был вылеплен, рано отвердела, и еще в детстве он утратил пластичность. Появление Маргариты в его жизни было тем последним событием, которое завершило окончательную форму его прочного характера.

К новым идеям он всегда был настроен сдержанно, к незнакомым людям — подозрительно, все сложное казалось ему враждебным, и его незаурядный талант инженера вырос, возможно, на свойственном ему от природы желании разрешать все сложности наиболее простым путем.

В жены себе он выбрал Маргариту, когда та гостила с матерью у родственников в горной деревушке, а он, исполняя семейный долг, приехал навестить своего престарелого дядю. Три дня он наблюдал за двенадцатилетней Маргаритой из дядькиного сада, сквозь просветы крупных листьев инжира, и спустя пять лет женился на ней. Она стала богом его жизни, тонкая, нежная Маргарита, с ног до головы покрытая персиковым пушком.

До женитьбы он был честолюбив, хорошо продвигался по службе, имел несколько авторских свидетельств об изобретениях, но брачное счастье было попервоначалу столь ярким, что затмило для него все калыки и синьки мира...

Так прошло несколько лет, и счастье несколько отуманилось: он жаждал детей, но дитя, невзирая на его усердные труды, не завязывалось. Утомительное и бес-

плодное ожидание сделало его, человека от природы сдержанного, утрюмым, а Маргарита, разделяя тоску мужа по потомству, чувствовала свою неопределенную вину. Миновало уже десять лет их браку, она все была юной и тонкой, похожей на диснеевского олененка, а он постарел, померк, и даже инженерные способности его, столь блестящие смолоду, как-то обмелели.

Незадолго до войны Серго получил назначение на Дальний Восток и выехал на новое место службы. Маргарита должна была следовать за ним через короткое, но неопределенное время. Она уже складывала в коробки накрахмаленное до картонной жесткости белье и заворачивала в мятую газетную бумагу фарфоровые чашечки, когда началась война. Отца Маргариты, Александра Арамовича, крупного востоковеда, знатока десятка мертвых и полумертвых языков, еще задолго предсказавшего эту войну с большой календарной точностью, в домашнем, разумеется, кругу, вечером того несчастного июньского воскресенья разбил паралич. Маргарита никуда не уехала: больше года, окруженный прощальной любовью жены и дочери, полностью лишенный речи, почти недвижимый и с совершенно ясным сознанием, пролежал он в своем узком кабинетике, вслушиваясь в тихий треск укрытого от конфискации куска эфира, начиненного немецкой и английской, тоже вполне для него внятной, речью. В конце ноября сорок второго года он скончался.

Через неделю после похорон, когда Маргарита уже собиралась поговорить с Эммой Ашотовной о переезде их к Серго, он без предварительного извещения явился сам. За этот год он, как ни странно, помолодел, похудел, стал каким-то собранным и обновленным.

Как выяснилось, он долгое время добивался перевода в действующую армию — на театр военных действий, как старомодно выражался покойный Александр Арамович, — и теперь наконец ехал на фронт.

В печально изменившемся доме, еще полном следов болезни и смерти, он провел чудом доставшуюся ему прощальную ночь, и рано утром Маргарита поехала провожать его в Мытищи, где стоял эшелон. Вернувшись, она легла ничком на кровать, обняла пахнущую резким мужским одеколоном подушку и пролежала так четыре с половиной дня, пока запах окончательно не улетучился.

Мать и дочь принадлежали к одной породе восточных жен, любящих своих мужей страстно, властно и самоотверженно. Они сплотились и жили едиными чувствами печали об ушедшем в тихие поля Александре Арамовиче и тревоги о Серго, ушедшем в смежное, но грохочущее железом пространство.

За пять следующих месяцев Маргарита получила от мужа всего три письма, причем каждое с новым номером полевой почты.

К этому времени она знала, что некоторые женские неполадки, которые она сначала относила за счет истощения и малокровия, связаны с приездом ее мужа в тот день и час, когда звезды благоприятствовали зарождению ее дочери. Что будет дочь, Маргарита не сомневалась, что их будет две — не предвидела.

Эмма Ашотовна, разделив с дочерью нечаянную радость, зажала ей рукой рот: молчи!

И Маргарита молчала. Лишь в одном из писем она туманно намекнула мужу на новые обстоятельства, но Серго той шифровки не разгадал. Эмме Ашотовне, столь сложно устроенной, однако простодушной, и в голову не приходило, какой глубокой катастрофой чреватое суеверное умолчание.

Сообщение о рождении детей Эмма Ашотовна отравила зятю лишь несколько недель спустя после их рождения, когда стало ясно, что жизнь Маргариты вне опасности. В ответ была получена телеграмма странно-

го содержания: «Примите поздравления новорожденными. Серго».

Едва оправившись, Маргарита написала мужу длинное счастливое письмо, ответ на которое очень сильно задерживался.

Выйдя из больницы, Маргарита начала осваивать роль матери, к которой оказалась не весьма талантлива. Эти две маленькие девочки, стараниями Эммы Ашотовны уже налившиеся плотью, едва не увлекли ее на тот свет и вызывали теперь чувство страха. Она боялась брать их на руки, уронить, причинить боль. Но подлинная природа страха открывалась лишь в снах, которые она видела почти еженощно. Сны эти были довольно разнообразны, начинались кое-как, с первого попавшегося места, но кончались непременно появлением двух вражеских существ, всегда небольших и симметричных. Они приходили то в виде двух собак, то в виде двух карикатурных фашистов с автоматами, то в виде ползучего растения, разделявшегося надвое.

Отгоняя смутную и сильную тревогу, она училась любить своих детей и напряженно ждала ответного письма от мужа.

А Серго, получив неожиданную телеграмму, погрузился в адский огонь. Тот реальный, физический огонь, следы которого он постоянно обнаруживал на ремонтируемых танках в виде кусков жженого мяса, припекшихся к металлу, словно переместился в его сердце и бушевал теперь в сердцевине костей.

Смолоду он боялся женщин, считал их существами низкими и порочными. Исключение он делал для покойной матери и для жены. Теперь разом рухнула его вера в Маргариту как в существо высшее и безукоризненное.

Все, все, все они... И плоское, лысое, розовое, как блевотина, русское слово произносил он с каким-то са-

дистическим удовлетворением и неистребимым акцентом. «Биля-ди» — было это слово. Измена жены была для него несомненна, а мелочными расчетами женских сроков он не занимался.

Бог знает из какой глубины выплыл вдруг образ Маргаритиногo одноклассника, еврейского мальчика Миши, жестоко в нее влюбленного с первого класса и обивавшего ее порог еще в десятом, когда Маргарита уже была невестой Серго. Этому женоподобному тонкорукому скрипачу Серго не придавал тогда никакого значения, хотя и молчаливо раздражался при виде бесконечных маленьких пучков бедных растений, которые Миша постоянно притаскивал Маргарите. Сам Серго дарил своей невесте соответствующие ее достоинству розы.

Теперь этот недомерок вдруг возник в навязчивом образе — обнимающим Маргариту. Нельзя сказать, чтобы он эту картину увидел во сне. Он сам выстроил ее в своем воображении с немыслимой достоверностью, и память угодливо подбросила ему реальные подробности в виде коричневой вельветовой курточки с огромной застежкой-молнией на груди и густой россыпи розовых прыщей, сконцентрировавшейся на переносице белого и чистого лица юноши, которого и видел-то он всего один или два раза.

Серго постоянно вызывал это видение, развивая его в разных интересных направлениях и разжигая в себе огонь ревности такой мощности, что вся грохочущая вокруг война, превратившаяся уже в обыденность, тонула в этом огне, как сухая травинка.

Тогда он и отправил домой три дня обдумывавшуюся телеграмму. На письмо, уместившееся на трех четвертях листочка из школьной тетради, исписанного довольно крупным почерком, ушло у него две недели.

В этом долгожданном письме Маргарита прочла, что он рад, что у нее родились дети, но он не хочет быть

рогоносцем. Если у нее есть человек, пусть она разводится и выходит за него замуж, а если этот подлец не хочет жениться на матери своих детей, то пусть тогда все останется как есть. Война длинная, он может быть убит, и пусть тогда ее девочки носят честное имя Оганесяна и хоть пенсию за него получают. Все лучше, чем безотцовщина.

Получив письмо, Маргарита снова легла ничком на кровать и обратилась к мужу с длинным монологом, который первое время был бурным и беспорядочным, а со временем превратился в однообразное кольцевое построение: мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих, и ты говоришь, что это не твои дети, но я ни в чем не виновата перед тобой, как же ты можешь мне не верить, ведь мы так любили друг друга, ты так хотел ребенка, я родила тебе сразу двоих...

Потрясенная Эмма Ашотовна, испытывая чувство вины, выстраивала в обратной перспективе две колоннады цифр, кратных тринадцати и девятнадцати, отстраненно отмечала, как они лиловеют и синеют по мере удаления, и нащупывала одновременно золотую ниточку какого-то гениального и сказочного решения, которое смогло бы все вернуть назад, к месту непостижимой ошибки, и все бы организовалось мудро, мирно, ко всеобщей радости.

Но Маргарита с постели не встала. И Эмма Ашотовна начинала свой день с того, что поднимала дочь, вела ее в уборную, в ванную, умывала, поила чаем и укладывала снова в постель.

Со временем она перестроилась — не укладывала, а усаживала Маргариту в кресло, укрыв ноги пледом. На вопросы Маргарита отвечала односложно, с большой неохотой. Со временем по шевелению губ, по отдельным, едва слышно произнесенным словам Эмма Ашотовна поняла, что именно повторяет тысячекратно ее

дочь, и пыталась вывести Маргариту из ее умственного паралича. Она подносила к ней девочек, укладывала рядом. Маргарита опускала на них свои полупрозрачные пальцы, улыбалась светло и безумно, а губы ее все шевелились, неслышно взывая к жестокосердному мужу.

Уложенные валетом, толсто запеленатые, перегретые, как пирожки в духовке, — Эмма Ашотовна больше всего на свете боялась холода, — девочки довольно долго спали в одной кроватке. Мать слабо реагировала на них, отец страдал от одного факта их существования, и только бабушка принимала их как дар небес, любовно и благодарно, стыдясь момента первой неприязни к ним, да еще Феня, соседка и помощница, склонялась над ними, улыбаясь совершенно таким же беззубым ртом, как у девочек, и ворковала сладким голосом:

— Агу, агу, агушеньки...

Потом внесли вторую кроватку, и они росли, смотрелись друг в друга, как в зеркало, быстро перенимая все навыки одна от другой, вечно обезьянничая. С нежностью и почти научным интересом Эмма Ашотовна отмечала в них все черты сходства, все штрихи различий: младшая вроде бы ударяется в леворукость, и кожа у нее чуть смуглей, гуще и темней волосы, крупнее кисти рук. Левая ягодица младшей была отмечена родинкой в форме перевернутой трехзубой короны. У Гаяне тоже была родинка, но на правой ягодице, и форма ее была как-то размыта. Зато зубы начинали прорезываться у них всегда в один и тот же день, и с удовольствием ели они одну и ту же пищу, и всегда дружно отказывались от моркови, в каком бы виде она ни попадала на их стол.

В свой срок они начали садиться, вставать на ножки, совершать первые шаги и первые нападения друг на друга.

Переписка их родителей закончилась тем последним письмом Серго. Далее она развивалась исключительно между Серго и тещей. Эмма Ашотовна, так жестоко

ожегшаяся своей привычкой руководить, входя во все детали, жизнью дочери, делала теперь вид, что ничего не произошло, давала зятю точные отчеты о детях и заканчивала свои письма дежурной фразой: «Состояние Маргариты все то же».

Серго отвечал кратко и официально, имени Маргариты никогда не упоминая, тещу же, несмотря на полное внешнее почтение, он и раньше почитал старой ведьмой.

Пережив адскую полосу ревности, он крепко решил, что вычеркнул недостойную жену из своей жизни. Но оказалось, что тем самым он и себя как будто вычеркнул из списка живых. Вероятно, тем самым и обманул смерть. Она его не замечала. Участник всех больших танковых сражений войны, от Курского до боя на Зеловских высотах, он ставил на ход подбитые танки, не раз выводил из окружения отремонтированные им машины. Однажды в отступлении он остался чинить подбитый танк в жидком скверике уже отданного города и вывел его ночью, когда город был уже полон немцами.

Много раз он просил перевести его в боевой расчет, поближе к смерти. Все напрасно. И ветерок от пули не пролетел мимо его широкого низкого лба.

— Заговорен, — говорил его друг Филиппов...

Кончилась война. Была объявлена победа. И этот день для Эммы Ашотовны был днем горестных воспоминаний о том несчастнейшем из дней, когда рухнул на пол муж и уж больше не встал, и о последнем приезде Серго и всей той ужасной нелепости, которую он нагородил после рождения детей.

Эмма Ашотовна сообщила Маргарите о конце войны. Она слабо кивнула:

— Да, да...

— Теперь Серго вернется, — неуверенно сказала Эмма Ашотовна.

— Да, да, — безразлично проговорила Маргарита, увлеченная, как всегда, непрерывным разговором с отсутствующим мужем.

...Была середина июля, раннее утро. Он приехал в Москву ночью и несколько часов провел перед домом, где прошли самые счастливые годы его жизни. Он не мог решить, войти в этот дом или сразу ехать дальше, в Ереван, к братьям, сестрам, народившимся новым племянникам. В болезнь Маргариты он никогда не верил и смертельно боялся, что на его звонок ему откроет дверь скрипач Миша, и тогда он убьет этого недоноска, убьет к чертям собачьим, просто задушит руками.

Серго хрупал своими непревзойденно белыми зубами и кидался прочь от этого проклятого дома. Выходил к Никитским воротам, сворачивал на Спиридоновку, делал круг и снова возвращался к милому дому в Мерзляковском переулке.

В начале седьмого он окончательно решил уезжать, бросил прощальный взгляд на свое бывшее окно во втором этаже и увидел, как раздвинулись знакомые занавески, и узнал руку тещи в тусклых перстнях.

Он вошел в парадное и едва не потерял сознание от запаха стен — как если бы это был запах родного тела. Поднялся во второй этаж, позвонил четыре раза, и Эмма Ашотовна, как будто нарочно стоявшая возле двери, немедленно открыла ему. Она была одета, причесана, в руках держала маленькую медную кастрюльку. Он машинально поцеловал тещу и прошел в комнату. Она была по-прежнему разделена натрое: передняя отгороженная часть, столовая без окон и два небольших купе с подвижными дверями, с квадратным окном в каждом отсеке. Левая комнатка была когда-то кабинетом тестя, правую занимали они с Маргаритой. Он тронул дверь, она отъехала по узкому рельсу — изобретение покойного Александра Арамовича. Маргариты там не было.

Одна черноглазая девочка жевала, сидя в кровати,

уголок пододеяльника, другая стояла в кроватке и возила по ее бортику плюшевого зайца. Виктория выплюнула недожеванный пододеяльник и уставилась с интересом на мужчину. Гаяне отчаянно закричала и бросила зайца. Вика подумала и ударила его толстой ручкой по груди.

— Дядька плохой! — объявила она. — Уходи!

Серго задом протиснулся в столовую, где Эмма Ашотовна умоляюще махала руками:

— Сережа, они привыкнут, привыкнут... Испугались... Мужчин никогда не видели...

А Серго уже отодвигал вторую дверь-заслонку, где ждал увидеть что угодно, но не это... Бледненькая Маргарита, похожая на газель еще больше, чем во времена юности, с полуседой головой, посмотрела на него рассеянным взглядом и закрыла глаза. Она разговаривала со своим мужем и не хотела отвлекаться.

— Марго, — позвал он тихо. — Это я.

Она открыла глаза и сказала тихо и внятно:

— Хорошо. — И отвернулась.

— Больная. Совсем больная, — поверил он наконец...

Опустив покрасневшие глаза, зажав лоб широкими кистями, которые еще несколько лет будут издавать военный запах металлической гари, он молча сидел у стола.

Эмма Ашотовна металась между орущими внучками, безучастной дочерью и безмолвным зятем. Она сверкала крупными камнями на изработанных руках, шуршала старым шелковым платьем павлиньего цвета и говорила красивым низким голосом с гортанными, никогда не исчезающими у армян звуками, говорила торжественно и одновременно обыденно:

— Ты пришел, Серго. Ты пришел. Столько полегло, а ты пришел. Имя твое три года не сходило с ее уст днем и ночью. Вот такую свечу за тебя держала перед Господом. Детки твои, и они две свечечки были за тебя...

Серго не отнимал рук ото лба. Жена его была изменница и «би-лядь», хотя и больная. Дети — чужие. Но чутунные небеса, которые он носил на своих окаменевших плечах, дрогнули.

А Эмма Ашотовна почуяла это движение и поняла, что вся их жизнь решается в эту минуту и все зависит от того, сможет ли она сказать сейчас все правильно и с добром. Весь черный комок гнева и ярости, который собрался в ней за эти годы против Серго, она, как ей казалось, собрала в левую руку и крепко сжала его в горсти...

Вершинную минуту переживала она. Впервые в жизни остро чувствовала она, что ей не хватает ума, знания жизни, красноречия, и она молила о помощи.

«Господи, сделай так! Господи, сделай!» — отчаянно кричала ее душа, но она продолжала говорить с лицом спокойным и радостным:

— Твой дом ждал тебя, Серго... Вот чашка твоя, смотри... Маргарита не велела трогать... Книги твои и тетради старые стоят как стояли... Дождались мы, дождались тебя... Только Александра Арамовича нет с нами... Дети твои дождались тебя, Серго. Я знаю, она теперь встанет...

Плакали за дверью дети. За другой лежала его больная жена. Теща говорила слова, которых он почти и не слышал. Горькие тяжелые небеса трескались, двигались, опадали кусками. Гулкая боль шла от сердца по всему телу — как будто с него спадали запекшиеся черные куски окалины, — и в этой боли была сладость освобождения от многолетней муки. Эти чужие дети плакали. Их плач касался свежих разломов его сердца и отзывался на них. Он принимал этих чужих детей, рожденных в преступной связи его жены бог знает с кем, может, и не с тем музыкантом.

Он оторвал ладони ото лба, встал монументально — он был крупный человек — и, кавказским торжественным движением отведя руку в сторону, спросил:

— Мама, почему дети плачут? Идите к ним.

К вечеру у Эммы Ашотовны страшно разболелись пальцы левой руки, три средних, исключая мизинец и большой. Всю ночь рука горела, к утру пальцы распухли и поднялась температура. Несколько дней она страшно мучилась. В дни болезни — к слову сказать, первой болезни с довоенного времени — она едва могла помочь Маргарите, а Серго возился с девочками, которые не только быстро его приняли, но привязались и даже по-женски соперничали за его внимание. Он кормил их, переодевал, сажал на горшок. Душа его стонала от счастья при каждом прикосновении к этим смуглым чудесным щечкам, чуть влажным кудряшкам, игрушечным пальчикам...

Эмме Ашотовне поставили диагноз — множественный панариций. Сама-то она знала, что через эти нарывы уходило из нее то зло, которое накопила она на своего дурака зятя. Однако когда нарывы созрели, их вскрыли и все быстро зажило, она еще недели две не снимала повязки с пальцев — для укрепления любви между Серго и девочками.

Вынимая их по вечерам из большого жестяного таза, касаясь их телец через махровое полотенце, он испытывал острое наслаждение. Он не обращал внимания на чайного цвета родинки, украшавшие детские ягодицы. И единственным человеком, который мог бы ткнуть его в плоский зад, в самую середину родинки в виде перевернутой короны, была его бедная жена Маргарита, которая все сидела в своем кресле и разговаривала с мужем, которого она так любила.

ПОДКИДЫШ



Теперешняя наука утверждает, что эмоциональная жизнь человека начинается еще во внутриутробном существовании, и весьма древние источники тоже косвенным образом на это указывают: сыновья Ревекки, как говорит Книга Бытия, еще в материнской утробе стали биться.

Никто и никогда не узнает, в какой именно момент — пренатальной или постнатальной жизни — Виктория впервые испытала раздражение к своей сестре Гаяне.

Мелкие младенческие ссоры можно было бы не брать в расчет, но проницательная бабушка Эмма Ашотовна очень рано отметила разницу в характере близнецов и по благородной склонности натуры всегда прикрывала своим распушенным крылом ту, у которой и ножки, и румянец были потоньше. Что совсем не мешало ей другой раз любоваться добротной плотностью второй внучки.

Отец млеет от обеих. Детский же плач был для него столь мучительным испытанием, что он змеиным броском хватал в душные объятия рыдающего от обиды ребенка, а именно Гаяне, и готов был мычать теленочком, блеять овечкой и кукарекать петушком одновременно, только бы поскорее утешилось дитя.

Умненькая Виктория рано осознала, что бурный любовный дуэт, происходящий между отцом и всхлипывающей сестрой, сильно портит удовольствие, получаемое от притеснений Гаяне, и в присутствии отца задирать сестру перестала.

Справедливости ради надо отметить, что самым гроз-

ным наказанием для Виктории было как раз их разделение по разным углам. Когда Гаяне уводили в комнату к матери и плотно задвигали за ней дверь, катающуюся для экономии жилого места по узкой железной колее, Виктория с горестным лицом садилась возле домашней одноколейки и часами, в вокзальном ожидании, высиживала себе прощение.

Мать не вмешивалась в отношения девочек и вообще ни во что не вмешивалась. Она играла в доме роль верховного божества — сидела в узенькой комнате в высоком кресле, с большой, отливающей серебром корзиной из кос, которые по утрам долго расчесывала бабушка. Дважды в день девочки приходили говорить ей «Доброе утро, мамочка» и «Спокойной ночи, мамочка», а она слабо улыбалась им вырезной губой.

Иногда бабушка приводила их поиграть на ковре возле ее тонких ног, обутых в толстые вязаные носки коврового же рисунка, но, когда девочки начинали ссориться и плакать, мать пугливо морщилась и зажимала уши.

Лет до трех посягательства Виктории ограничивались сугубо материальной сферой: она отнимала у сестры игрушки, конфеты, носочки и платочки. Гаяне посылно сопротивлялась и горько обижалась. По четвертому году произошло событие, на первый взгляд, незначительное, но ознаменовавшее более высокий уровень притязаний Виктории. В дом, по случаю простуды девочек, был приглашен старый доктор Юлий Соломонович, из породы врачей, вымерших приблизительно в те же времена, что и стеллерова корова. Присутствие таких врачей успокаивает, звук голоса снижает температуру, а в их искусство, иногда и для них самих неведомо, замешена капля древнего колдовства.

Ритуал посещения Юлия Соломоновича был установлен еще во времена детства Маргариты. Как ни

странно, и в этом, вероятно, тоже сказывалось какое-то колдовство, уже тогда он был очень старым доктором.

Сначала его поили чаем, непременно в присутствии пациента. Эмма Ашотовна, как тридцать лет тому назад, внесла на подносе стакан в просторном подстаканнике, два чайничка и плетеную корзинку с ореховым печеньем. Он тихо беседовал с Эммой Ашотовной, звякал ложечкой, хвалил печенье и как будто совершенно не обращал внимания на девочек. Потом Эмма Ашотовна внесла тазик, кувшин с теплой водой и непомерно длинное полотенце. Доктор долго, как будто перед хирургической операцией, тер розовые руки, потом старательно вытирал растопыренные пальцы. К этому времени девочки уже не сводили с него глаз.

Широким и роскошным движением он надел жестко сложенный хрустящий белый халат и повесил на широкую плоскую грудь каучуковые трубочки с металлическими ягодами наконечников. Золотая оправа его очков сверкала в бурых бровях, а лысина немного отливала рыжим сиянием давно не существующих волос. Девочки, совсем о том не догадываясь, уже перевоплотились в зрительниц, сидели в первом ряду партера и наслаждались высоким театральным зрелищем.

— Так как же зовут наших барышень? — вежливо спросил он, склонившись над ними.

Он каждый раз задавал этот вопрос, но они были так малы, что свежесть этого вопроса еще не износилась.

— Гаяне, — ответила робкая Гаяне, и он поболтал на своей шершавой ладони ее невесомую руку.

— Гаяне, Гаяне, прекрасно, — восхитился доктор. — А вас, милая барышня? — обратился он к Виктории.

Виктория подумала. О чем — сам Фрейд не догадается. И ответила коварно:

— Гаяне.

Истинная Гаяне оскорбленно и тихо заплакала:

— Я, я Гаяне...

Доктор в задумчивости почесывал глянцевый подбородок. Он-то знал, как сложно устроены самые маленькие существа, и решал в уме непростую задачу собственного умаления.

Виктория глядела победоносно: не мишку плюшевого, не зайчика тряпичного — ей удалось захватить самое имя сестры, и она торжествовала невиданную победу.

— Так, так, так, — протикал доктор медленно. — Гаяне... прекрасно... — Он смотрел то на одну, то на другую, а потом грустно и серьезно обратился к похитительнице: — А где же Виктория? Виктории нет?

Виктория засопела заложенным носом: ей хотелось быть одновременно и Викторией, и Гаяне, но так запросто отречься от имени, собственного или чужого, тоже было невозможно.

— Я Виктория, — вздохнула она наконец, и Гаяне тут же утешилась.

И пока они переживали неудавшуюся попытку похищения имени, обе были обслушаны, обстуканы твердыми пальцами и прощупаны по всем лимфатическим железам улыбающимся плотно сомкнутыми губами стариком.

Эмма Ашотовна любовалась артистическими движениями врача и радовалась его редкой улыбке, отнеся ее за счет неземного обаяния внучек. Она ошибалась: он улыбался своему подслеповатому праотцу, обманутому некогда сыновьями именно этим способом и на этом самом скользком мифологическом перекрестке.

Драма с переименованием с тех пор разыгрывалась довольно регулярно на Тверском бульваре, куда домработница Феня водила девочек гулять. У Фени была маленькая слабость: она до умопомрачения любила завязывать знакомства. Хотя большинство прогулочных бабушек, нянь и детей были ей знакомы, она почти каждый день ухитрялась пополнять свою светскую коллекцию. Возможно, это пристрастие Феня получила в на-

следство от своей матери, взятой когда-то кормилицей в богатый купеческий дом, прослужившей там до самой смерти и Феню вырастившей под крылом добрых хозяев. А может, тень Иогеля, танцмейстера и светского сводника, жившего когда-то здесь, по левую руку от черного, в голубиных разводах Пушкина, еще витала под липами Тверского бульвара и благословляла знакомства нянек и их воспитанников. Так или иначе, гордая Феня постоянно объявляла Эмме Ашотовне о своих успехах:

— Сегодня с новыми детьми гуляли, с адмираловыми!

Или:

— Двух девочек сегодня привели, вроде наших, но погодки, вертлинские девчонки, актеровы, — сваливала она невзначай в одну кучу происхождение, фамилию и склонности характера.

Но при этом — чего Феня не знала — каждое новое знакомство с детьми сопровождалось неизменной маленькой сценкой: Виктория называла себя именем сестры, а Гаяне, надувшись и покраснев, никак себя не называла, поэтому половина детей обеих сестер называли одним именем.

Феня не придавала никакого значения этим психологическим штучкам. Помимо светских, у нее были и другие крупные задачи: не допустить нарядно одетых воспитанниц в грязную песочницу или вовсе в лужу, смотреть, чтобы не упали, не расшиблись, не бегали до поту. Таким образом заботливая Феня обрекала их на развлечения исключительно вербального характера.

В своем маленьком кружке привилегированных детей Виктория славилась как рассказчица перевранных сказок и самодельных историй, Гаяне же была наблюдательной молчаливицей, памятливой на чужие бантики, брошки, незначительные события и оброненные слова. Ее любимым развлечением лет до десяти было устроенное «секретиков», уложенных под осколком стекла листьев, цветков, конфетных оберток и обрывков фольги.

Даже летом на даче, где у девочек было гораздо больше свободы, Гаяне предпочитала именно это одиноличное и сидячее развлечение, в то время как Вика каталась на велосипеде, качалась на качелях и играла в мяч с хорошими, с точки зрения Фени, детьми с соседних дач.

Здесь же, на кратовской даче, в последнее предшкольное лето Гаяне подверглась первому серьезному испытанию. В поселке появились цыгане. Сначала на широкий перекресток двух главных улиц, куда прикатывала обычно бочка с керосином и где местные старухи продавали тутие пучки белоносой редиски и колючие, как кактусы, огурчики, пришли четыре цыганки с десятком вертлявых жукастых детей, а потом приехал в телеге, запряженной классической цыганской лошастью, классически хромой цыган в огромном пиджаке, забитом орденскими колодками чуть не до пояса.

Никаких ковровых кибиток и шелковых рубаш не наблюдалось. Не было и положенной красавицы среди потрепанных смуглых женщин непонятного возраста. Более того, одна из них была определенно безобразной старухой. Переночевали они прямо на перекрестке — на телеге или под телегой, никто не видел. Феня, утром бегавшая за молоком, рассказала о них Эмме Ашотовне, и та запретила девочкам одним выходить за калитку.

— Они детей крадут, — шепнула Вика сестре, и пока та обдумывала эту новую опасность жизни, Виктория уже спустила с поводка свое воображение: — В нашем поселке уже двоих украли!

Цыганки меж тем занимались своим обычным промыслом: останавливали прохожих, чтобы всучить им какие-нибудь интересные сведения из прошлой или из будущей жизни в обмен на мятый рубль.

Бизнес их шел ни шатко ни валко, и к полудню они предприняли вылазку — пошли по дачам. Девочки с утра сидели на участке у Карасиков, выходящем прямо на перекресток, и через редкий забор отлично было видно,

как цыганенок играл кнутом, а хромой мужик ругал его на непонятном языке. К забору Гаяне подходить боялась, зато смелая Виктория висела на калитке и дерзко пялилась на чужую и такую незаконную жизнь.

В обед пришла Эмма Ашотовна и повела их домой. Цыганки помоложе к этому времени разбрелись, и табор был представлен стреноженной лошадей, пасущейся вдоль улицы на пыльной траве, спящим под телегой цыганом да старухой. Размахивая многоцветной одеждой, она преградила путь Эмме Ашотовне и запричитала:

— Ой, что вижу, что вижу... Ой, смотри, беда идет... Дай руку, посмотрю...

Эмма Ашотовна брезгливо отодвинула цыганку высокомерной рукой в больших перстнях со старыми кораллами, точно такими же, что и на сухой грязной руке цыганки, и сверкнула на нее сильными темными глазами. Цыганку как ветром сдуло, и только вслед она крикнула:

— Иди, иди своей дорогой, вода твоя соленая, еда твоя горькая!..

Виктория храбро показала цыганке длинный малиновый язык, за что тут же и получила жестким бабушкиным пальцем по маковке, а Гаяне крепко схватилась за шелковый подол бабушкиного нового платья, крупные белые горохи которого были на ощупь заметно жестче, чем небесно-синее поле.

Пообедали девочки на террасе, а потом бабушка решила им из-за жары спать в беседке, а не в доме. Феня раскинула им раскладушки и ушла, и тогда Виктория сообщила сестре тайную вещь: оказывается, старуха цыганка — настоящая колдунья и может превращаться в кого захочет и детей превращать — в кого захочет. И лошадка их стреноженная на самом деле была не лошадкой, а двумя украденными мальчиками, Витей и Шуриком, которых давно уже разыскивают родители, да никогда не найдут...

Они разговаривали шепотом.

— Если она захочет, может в бабушку превратиться...

— В нашу бабушку? — ужаснулась Гаяне.

— Ага. А захочет, так в папу... — пугала Вика. — Вон, посмотри, ходят... — И она махнула рукой в сторону дачной ограды... Интересный план созревала в ее умной головке...

Июнь был в самом начале. Толстые маслянистые кисти сирени лезли в беседку и пахли так сильно, как горячее кушанье на тарелке. Шмель тянул басовито и замедленно, и цикады отзывались скрипичными голосами из нагретой травы. Жизнь была такая молодая и такая страшная.

— Ты не бойся, Гайка, — пожалела Виктория испуганную сестру. — Я тебя спрячу.

— Куда? — спросила Гаяне безнадежным голосом.

— В дровяной сарай. Они тебя там ни за что не найдут, — успокоила ее Вика.

— А ты как же?

— А я ее палкой ударю! — грозно сказала Виктория, и Гаяне в этом не усомнилась. Ударит.

Босиком, в одних ситцевых трусиках с большими карманами на животе, они прокрались к дровяному сараю. Виктория отодвинула щеколду и пропустила сестру внутрь.

— Сиди здесь и не выглядывай. А когда они уйдут, я тебя выпущу.

Щеколда щелкнула снаружи. Гаяне успокоилась: теперь она была в безопасности.

Виктория проскользнула обратно в беседку, укрылась с головой простыней. Она представила себе, как страшно сейчас глупой Гайке, и ей тоже стало немного страшно. Но и смешно. Так, с улыбкой, она и уснула.

Эмма Ашотовна разбудила ее в шестом часу и спросила, где Гаяне. Виктория не сразу вспомнила, а вспомнив, забеспокоилась. Еще больше забеспокоилась бабушка —

заметалась по их большому участку, первым делом побежала к уборной, куда ходить девочкам запрещалось, потом к малиннику, потом вниз под горку в совсем запущенную часть участка, огороженную ветхим штaketником. Девочки нигде не было.

— Гаяне! Гаяне! — кричала Эмма Ашотовна, но никто не отзывался.

Длинный крик, звук имени, со звуковой вмятиной в начале и широким хвостом в конце, безответно впитывался свежей листвой, не набравшей еще настоящей силы.

Это были первые жаркие дни, когда начинала возгоняться смола и над землей собирался, после весенних хлопот поспешного прорастания всяческих трав и листочков, первый летний покой, и крики Эммы Ашотовны как-то неприлично нарушали все благочиние дня, склонявшегося к вечеру.

Виктория подползла к дровяному сараю и отодвинула щеколду.

— Выходи! — громко зашептала она внутрь. — Выходи, бабушка зовет!

Гаяне сидела между старой бочкой и поленицей, вжавшись в стену одеревенелой спиной. Глаза ее были открыты, но Виктории она не видела. И не видевшая ее лица Виктория это поняла. Ей стало не по себе. Гаяне же, пережив страх столь огромный, что он не мог втиснуться в ее семилетнее тело, находилась теперь за его неведомым пределом.

Засунутая сестрой в душную полутьму сарая, Гаяне сначала вроде бы задремала, но, выйдя из дремы от какого-то скрытного движения около виска, она вдруг обнаружила себя в совершенно незнакомом месте: огненно-желтые световые штрихи прорезали пространство со всех сторон, как если бы она была заключена в светящуюся клетку, слегка раскачивающуюся в серо-коричневой тьме.

Бедной Гаяне показалось, что она уже украдена каким-то сверхъестественным способом, вместе с сараем, поленицей из березовых кругляшей, с бочками, старой железной кроватью, вставшей на дыбы, и кучей садового инструмента, которым после смерти деда никто не пользовался. И украдена жестоко, вместе со временем, растянувшимся, как ослабшая резинка, и утратившим начало и конец. И это движение, воздушно пробегающее возле виска, тоже имело отношение к тому, что обычное время рассыпалось и куда-то делось, а это новое движется вместе с ней по тошнотворному обратному кругу.

«Даже хуже, чем украли, — подумала Гаяне, — меня забыли в каком-то страшном месте».

Кончик носа онемел от ужаса, ледяные мурашки ползли по спине, и темный водоворот медленно поднимал ее, и кружил, и нес в такую глубину, что она догадалась, что умирает.

— Гаяне! Гаяне! — звал ее издалека громкий переливчатый голос, похожий на бабушкин, но она понимала, что это не бабушка ее зовет и даже не цыганка, превратившаяся в бабушку, а кто-то другой, еще более страшный и нечеловеческий...

— Гайка, выходи! — слышала она настойчивый шепот сестры. — Ушли цыгане, ушли. Тебя бабушка ищет!

Страшное место обратилось в сарай. Узкие лучи света пробивались сквозь щели между досками, и все было так просто и счастливо на кратовской даче, и бабушка в синем горохами платье уже шла к сараю, чтобы найти наконец пропавшую внучку, а Гаяне, медленно приходя в себя, удивлялась малости и милости здешнего мира в сравнении с бездонностью и огромностью, нахлынувшими на нее здесь, в дровяном сарае, в начале лета, на седьмом году жизни...

Она кинулась к сестре с криком: «Вика! Вика! Не уходи!» — и обхватила ее руками. Виктория гладила ее

по холодной спине, целовала жесткие косы, ухо, плечо и шептала:

— Ты что, ты что, Гаечка! Не бойся! — И ей казалось в этот миг, что она действительно защищает свою милую и пугливую сестру от опасности, притаившейся за воротами...

С этого самого дня, так остро запомнившегося Гаяне и совершенно забытого Викторией, в Гаяне проснулась необыкновенная чуткость ко всему темному и тревожному. Это было особое чувство тьмы, и она испытывала его, даже открывая дверцу платяного шкафа. Там, в темноте, где отсутствовал свет, было еще что-то, словами не называемое, открывшееся ей когда-то во тьме дровяного сарая. Даже такая маленькая и уютная тьма, которая образовывалась в задвинутом скользящей крышечкой пенале, и та вызывала подозрение. Хотя и смутное, но родственное чувство она испытывала, подходя к больной матери. Материнская болезнь представлялась ей тоже сгустком темноты, и она могла бы даже очертить ту область головы, шеи и груди, где тьма, по ее ощущению, сгущалась.

Угаданный Викторией страх сестры побуждал ее к жестоким шуткам — она прятала тетради сестры в самые недоступные уголки квартиры, заставляя ее тем самым залезать в самые темные щели; засовывала в опасное темное пространство пенала дохлого жука, чтобы населить неопределенность ужасной действительностью. А когда Гаяне взвизгивала, отбрасывая пенал, Виктория спасала ее, прижимая к себе и улыбаясь снисходительно:

— Ты что, дурочка, чего боишься-то?

Виктории доставляла удовольствие власть над страхами сестры: взаимная любовь в эти мгновения утешения была так велика, а сами они были в ту пору еще слишком малы, чтобы знать, какие опасные и враждебные примеси здесь поднимаются.

Эмма Ашотовна, уязвленная трагической любовью и болезнью своей дочери и понимающая кое-что в безумии и жестокости любви, совсем не интересовалась отношениями девочек и природой их взаимной привязанности. Она была единственным в семье человеком, обладающим достаточной чуткостью и способной в этом разобраться, но Эмма Ашотовна выстроила строгую и глубоко восточную иерархию: если речь не шла о смерти, то главным событием жизни она считала обед, а уж никак не ссоры и перемирия в детском стане.

Эмма Ашотовна торопливо сбрасывала с плеч хлопотливое утро с долгим расчесыванием четырехдлинногривых голов: ее собственной, дочерней и внучкиных, плетением темных кос и одеванием всех в пахнущее чужинным перегретым утюгом белье, скорый небрежный завтрак, мелкую уборку и приступала к приготовлению обеда, со всеми его печеными баклажанами, фаршированными помидорами, острой фасолью и пресным хлебом.

Хотя она была родом из богатой армянской семьи, детство и юность она прожила в Тифлисе, и кухня ее была скорее грузинская, более сложная и разнообразная, чем принято в Армении. Она вела счет орехам и яйцам, зернышкам кориандра и горошинам перца, а руки ее тем временем совершенно независимо делали мелкие и точные движения, и она наслаждалась стряпней, как музыкант наслаждается музыкой, рождающейся от его пальцев.

Обычно в половине седьмого приходил с работы Серго. Стол был уже накрыт и польхал запахами. Серго мыл руки и выводил жену к столу. Она шла мелкими шагами заводной куклы и слабо улыбалась. Комната эта была сумеречная, безоконная, освещена желтящим электрическим светом, и лицо ее приобретало оттенок старого фарфора. Ее усаживали в кресло рядом с мужем. Девочки сидели по обе стороны от родителей, но по

длинной стороне стола. В другом торце восседала Эмма Ашотовна, и Феня, открыв коленом дверь, вносила розовую супницу, размер которой значительно превосходил потребности семьи. Поставив супницу возле левого локтя хозяйки, Феня исчезала — она обедала на кухне и ни за что не согласилась бы сидеть за этим парадным господским столом, где тарелки сменяли чуть ли не три раза, а еды накладывали по маленькой ложечке.

На донышко Маргаритиной тарелки наливали немного супу, она брала в тонкую руку тонкую ложку и медленно опускала ее в тарелку. Трапеза эта была чисто символическая — ела она только по ночам, в одиночестве: два куска черного хлеба с сыром и яблоко. Всякую другую еду — с первого года ее болезни, когда мать все пыталась накормить ее чем-нибудь более питательным, — брала в рот и не проглатывала.

В этот вечер, как обычно, Эмма Ашотовна отнесла на кухню посуду и, надев грязные очки и чистый фартук, приступила к мытью. Это была ее поблажка Фене, которая блюла свою честь перед соседками и не уставала им напоминать:

— Я не кухарка, я детей подымаю.

Серго отвел Маргариту в комнату и сел возле старого приемника покрутить его ребристые ручки.

Оставаясь наедине с женой, Серго разговаривал. Нельзя сказать, чтобы с ней. Но и не совсем сам с собой. Это был странный разговор двух безумий: Маргарита бессловесно обращалась к своему любимому мужу с давно заржавелым укором, почти не замечая грузного седого человека, в которого превратился Серго за годы ее болезни, а он, пересказывая и комментируя вечерние радиопередачи, безнадежно пытался с помощью этого зыбкого звукового моста пробиться к Маргарите теперешней, но все еще сосредоточенной на давнем несчастном событии. Они упирались друг в друга глазами,

не совпадая во времени на десятилетие, и продолжали свой дикий диалог.

— Где Гаяне? — неожиданно внятно спросила Маргарита.

— Гаяне? — Серго как будто на полном ходу врезался в фонарный столб. — Гаяне? — переспросил он, ошеломленный тем, что впервые за многие годы жена задала ему вопрос. — Они учат уроки, — тихо ответил он Маргарите, беря ее за руку. Рука была как стеклянная, только что не звенела.

— Где Гаяне? — настойчиво переспросила Маргарита.

Серго встал и заглянул за перегородку. Вика сидела к нему спиной и скрипела ручкой. Почерк у нее был с большим нажимом, чреватый кляксами, и, когда она писала, локоть ее так и ходил.

— А где Гаяне? — спросил отец.

Виктория дернула плечом, и чернильная слеза вытекла из-под пера.

— Откуда я знаю? Я ее не сторожу, — не оборачиваясь, ответила Виктория.

Виктория не цитировала. Просто вся ее маленькая жизнь намеревалась стать цитатой и, блуждая, не находила контекста.

Серго, взбудораженный обращением к нему жены, машинально искал по квартире Гаяне. Он вышел в общий коридор, зашел в его слепой отросток, дернул дверь уборной, но там никого не было. Прошел на кухню, где Эмма Ашотовна терла сверкающие спинки тарелок, и в недоумении сказал теще:

— Маргарита спросила, где Гаяне.

Эмма Ашотовна остановилась, как будто у нее завод закончился:

— Маргарита тебя спросила?

— Где Гаяне... — закончил он.

Она бережно поставила тарелку и, всколыхнувшись

грудью и боками, почти побежала к дочери. Отодвинув до упора дверку в ее комнату, с порога она спросила:

— Маргарита, как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, мама, — тихо, не шевеля даже ресницами, ответила Маргарита. — А где Гаяне? — снова спросила она, и до Эммы Ашотовны дошел наконец смысл вопроса.

Гаяне не было. Более того, на вешалке не было ее новой кошачьей шубки, а под вешалкой не было маленьких ботинок с фальшивой барашковой оторочкой. Опустевшие бессодержательные галоши стояли одиноко, каждая в своей подсыхающей лужице.

— А где Гаяне, Вика? — спросила бабушка.

— Откуда я знаю... Мы сидели-сидели, а потом она ушла, — ответила Виктория.

— Давно? Куда? Почему же ты не спросила? — взорвалась целым веером вопросов бабушка.

— Да не знаю я. Не видела. Минут десять или сорок. Откуда я знаю... — все еще не отрываясь от тетради, ответила девочка. С фальшивым увлечением она рисовала на обложке тетради большую чернильную картину.

Эмма Ашотовна кинулась к Фене, но на двери ее комнаты, выходящей в коридор, висел железный каляч замка: была суббота, Феня еще не вернулась от всенощной.

Времени было двадцать минут девятого, за окном стояла влажная густая темень, как бывает зимой в оттепель.

Не одеваясь, Серго выскочил на улицу, пробежался по круглому каменному двору и остановился в подворотне: он не знал, куда теперь идти.

Эмма Ашотовна звонила по телефону родителям одноклассниц. Гаяне нигде не было...

Завязка этого вечернего исчезновения произошла месяцем раньше. Девочки добаливали совместную ангину и сидели дома. Виктория, учуяв через две двери за-

пах свежих котлет, притянулась на кухню. Котлеты были большие, честные, начиненные чесноком и травами и исполнены с таким искусством, как будто им предстояла долгая и счастливая жизнь. До обеда было еще далеко, но Вика получила одну — коричневую, в блестящей корочке, едва сдерживающей напор сока и жира. Вика откусила и замахала языком, шумно запуская в рот воздух для охлаждения котлеты.

Обычно Эмма Ашотовна не допускала таких предобеденных вольностей, но девочка выздоравливала после болезни и впервые за неделю попросила поесть.

С увлечением жуя, она прислушивалась к разговору соседок. Мария Тимофеевна, качая тощей головкой, обсуждала с Феней ужасное происшествие: нынче утром во дворе на помойке нашли мертвого новорожденного ребенка.

— Я тебе говорю, Феня, это либо из восьмого, либо из двенадцатого, в нашем-то никто и не ходил... — выдвигала патриотическую версию Мария Тимофеевна.

— Поди знай, — ворчала Феня, которая вообще о человечестве была дурного мнения. — Утянутся, ушнуруются — и не увидишь.

И она очень натурально сплюнула на пол. Невзирая на девство, о практических последствиях плотского греха она была информирована очень хорошо и испытывала к нему сугубое отвращение.

Разговор шел в опасном направлении, и Эмма Ашотовна, с покрасневшим от сковородного жара лицом и строгими бровями, велела Виктории отправляться в комнату. Наполненная теплой котлетой и ужасной новостью, шла Виктория по коридору и размышляла о бедном новорожденном. Сначала он представился ей в белом кружевном конверте вроде того мемориального, в котором когда-то спала их мать, а теперь кукла Слава. И этот найденный на помойке мертвый ребеночек представлялся уже кудрявой куклой Славой со

скользкими живыми волосиками. Но это было как-то неудовлетворительно: не было жалко ни Славу, ни того ребеночка. Хотелось другого, жгучего. Тогда Виктория представила его совсем маленьким, розовым, похожим на не обросшего еще шерсткой котенка от коммунальной кошки Маруси, но только с ручками и ножками вместо лапок и со Славиными розово-желтыми волосиками. Но и эта картина не совсем удовлетворяла ее жадное воображение.

Жирными от котлеты пальцами она коснулась бронзовой ручки своей двери и замерла: о, если бы Гаяне была тем воображаемым ребеночком на помойке!

У Виктории дух захватило: конечно, кто-то близкий и тайно злой выкрадывает маленькую Гаяне, убивает и выбрасывает... Вика открыла дверь, и все рассыпалось от столкновения со скучной действительностью: Гаяне, с обвязанной розовым платком шеей, сидела за столом и, прикусив кончик длинной косы, читала расстрепанного от многолетнего пользования «Робинзона Крузо».

Виктория прошла в детскую и встала у окна. Дворовую помойку, большой деревянный ящик, видно отсюда не было, ее загораживал двухэтажный флигель. В его облупленный желтый бок Виктория и уставилась. Инженерные способности ее отца передались ей каким-то замысловатым способом: ей тоже было важно, чтобы колесико цеплялось за колесико, шатун давил на кривошип и машина в конечном счете двигалась. Тот мертвый ребенок ее совершенно не устраивал. Ей нужен был живой, выброшенный на помойку, и чтобы это была Гаяне.

Брови у Виктории были почти сросшиеся, дугообразные, а к вискам они как будто снова собирались загнуться вверх. В задумчивости она, как и отец, непроизвольно двигала бровями вверх-вниз.

Может, так? Бабушка рано утром выходит с ведром

и находит на помойке девочку. Думает, она мертвая, а она живая. Она ее домой приносит и маме говорит: «Покорми ее, ей только три дня». А у мамы я, тоже три дня... — И опять вылезал дефект конструкции: кто же тот злодей, который выбрасывает ребенка на помойку?..

Милиция уже опросила всех желающих высказаться по поводу криминальной находки, собрала несколько фантастических версий, в которых увлекательно перемешивались корысть, колдовство и страсть к доносительству, и двор, всегда живущий по закону неспасаемой, как вечность, сиюминутности, отодвинул происшествие в свою историю, обреченную на забвение, равно как и истории великих допотопных цивилизаций. Следователь положил на полку еще одно дело о нераскрытом убийстве, которое и убийством не вполне считали...

И только Виктория все мучилась своим недоношенным сюжетом. Когтистая интрига не отпускала ее, и она все искала гипотетическую мать выброшенного на помойку ребенка, превратившегося по авторской воле и ее злой фантазии в сестру Гаяне.

На третий день творческих мучений Вика, проходя в своем же подъезде мимо двери, ведущей в полуподвальную дворницкую квартиру, нашла искомый персонаж. Бекериха, занимавшая здесь угловую комнату, видом была ужасна. Роста высокого даже для мужчины, по-мужски стриженная, истрепанная белесым лицом и одеждой, она слыла пьяницей, хотя пьяной ее никогда не видели. Но пьяницей она действительно была, на свой манер. Пила она каждый день, всегда в одиночку, затворившись в своей убогой комнатушке. Выпивала она ровно одну бутылку красного вина, начиная быстрым стаканом и растягивая оставшиеся полбутылки часа на два. Потом ложилась спать на тюфяк, прикрытый больничной простыней, взятой напрокат.

Солнце вставало, когда ему было угодно, в зависимости от времени года, Бекериха же просыпалась всегда в половине шестого. Едва разлепив глаза, она выпивала оставленное с вечера — на два пальца от донышка — вино... Другой бы давно спился, но ее держало постоянство и приверженность к режиму. Очнувшись после обморочно крепкого сна, она шла в больницу махать тряпкой. Другие уборщицы и санитарки не любили ее за безучастную молчаливость, волчий взгляд и рьяную работу. Никто, кроме главврача Маркелова, взявшего ее на службу, не знал, каким толковым фельдшером и надежным помощником была Таня Бекер в довоенное, допосадочное время.

Отмахав свои полторы ставки, двенадцать часов, она успевала по дороге домой прикупить ежевечернюю бутылку и к восьми уже забивалась в свою конуру. Она снимала боты, тужурку, садилась на тюфяк и ставила на табуретку, успешно заменявшую обеденный стол, заветную бутылку. Снаружи было тепло, и через несколько минут — она знала — тепло будет и внутри, и она медлила, потому что берегла и длила эту счастливую минуту, подаренную ей невзначай.

Дворовые люди невзлюбили ее за гордость, которую пронизательно в ней разглядели. Дети боялись ее и разбегались при появлении ее длинной фигуры в глубокой каменной подворотне. Они прозвали ее Трупорезка, потому что кто-то пустил про нее слух, что она работает в морге. Но это было не так, она всего лишь убирала в двух самых тяжелых отделениях больницы: в гнойной хирургии и неврологии.

Виктория начала артподготовку: она собирала во круг себя кучку взъерошенных девочек и, трясая сдвоенным сине-красным помпоном на вязаной шапочке, рассказывала, как трупы сначала плавают в больших стеклянных банках, а потом их сортируют, отдельно

ноги, отдельно руки, отдельно головы, и этим как раз делом и занята Бекериха.

Рассказы Виктории были страшны и притягательны, младшая из девчачьей компании, Лена Зенкова, затыкала уши рукавицами, но оттащить ее было невозможно; даже то, что просачивалось через мокрые варежки, не теряло своей таинственной прелести. К тому же Виктория выбирала интересные места для подобных собеседований: в темном треугольно скошенном пространстве под лестницей, в закутке между дровяными сараями, на шестом, последнем, этаже, на узкой недоразвитой лесенке, ведущей на чердак. Тьма, полутьма, невнятные постукивания сопровождали этот спектакль, и каждый раз Виктории, оказавшейся в рабстве собственной фантазии, приходилось придумывать что-то новое, еще далее, еще более...

Она вполне справлялась со своей ролью рассказчицы страшных рассказов, которые шли по боковым тропкам, делали петли и витки, но не изменяли лишь ужасной Бекерихе, которая всегда оставалась главной героиней.

Собеседования эти пользовались большим успехом, но чуткая Гаяне с самого начала сериала все старалась улизнуть, отказавшись от прогулки под благовидным предлогом насморка или головной боли. Сеансы отменялись, переносились на другой раз, когда Гаяне вынужденно оказывалась рядом с рассказчицей.

Истории про отрезанные конечности, черные простыни и оживших мертвецов, строго говоря, не были уникальными. Они были в моде их юного возраста, а также времени и места. Виктория, несомненно, была талантливой рассказчицей, а Гаяне — самой впечатлительной из слушательниц. К тому же Гаяне смутно ощущала некую тревожащую целенаправленность этих рассказов о ночных взаимоотношениях оклеветанной

Бекериhi и еще более оклеветанных умерших пациентов старой городской больницы.

Эти три ступени вниз, в полуподвальную квартиру, казались Гаяне входом в преисподнюю, и она, почти не касаясь пола, взлетала единым духом на второй этаж...

В тот памятный вечер они сели за уроки и позже обыкновенного, потому что был понедельник, а по понедельникам они занимались музыкой, и потому день был какой-то двугорбый. Они сидели за старым Маргаритиным столиком друг против друга. Виктория подложила под себя ногу, что было строго запрещено бабушкой, и высыпала на стол мятые тетради и обкусанные карандаши. Гаяне сунула руку в портфель и вынула из него волокнисто-коричневый конверт.

— Ой! — сказала Гаяне, поскольку конверт неизвестно как попал к ней в портфель.

— Что это у тебя? — вскинула любопытные брови Виктория, пока Гаяне в недоумении разглядывала конверт, на котором расплывающимися красными буквами было написано квадратно и крупно: «Гаяне. В собственные руки».

— Конверт какой-то. Письмо, — пробормотала Гаяне. Она держала конверт двумя руками, и буквы, расплывающиеся волокнистыми сосудиками чернил, казались живыми и кровеносными.

— А в нем что? — почти равнодушно спросила Виктория.

Гаяне положила письмо на край стола, словно раздумывая, стоит ли вскрывать. Чутким своим нутром она понимала, что ничего хорошего в нем быть не может. Оно лежало на углу стола, сильно пахло клеем и делало вид, что совершенно случайно сюда попало. Гаяне запустила руку в портфель и вынула свои аккуратные тетради, розовое письмо в две линейки с редкой косой

и желтую арифметику в успокоительную клетку. В нее и уставилась Гаяне.

— Тебе письмо, да? — не выдержала Виктория, которая пыталась делать вид незаинтересованный.

Гаяне перевернула конверт вверх спинкой, грубо заклеенной еще не высохшим клеем. Она провела пальцем по сырому шву и ответила сестре:

— Я потом прочту.

Вика накрутила на палец кончик косы и уставилась в тетрадь — все шло неправильно. Письмо лежало на столе непрочитанным, бабушка могла войти в любую минуту, а Гаяне как ни в чем не бывало скользила восемьдесят шестым пером по блестящему тетрадному листу. И действительно, вид Гаяне имела безмятежный, но при этом она была полна дурного предчувствия и полностью была сосредоточена на письме.

«Уйди отсюда, уйди. Пусть тебя совсем не будет», — заклинала она грядущую минуту.

Однако мысль, что письмо можно выбросить, не читая, даже не приходила ей в голову.

Уставшая от ожидания Виктория положила руку на конверт:

— Тогда я сама прочту!

Гаяне встрепенулась:

— Нет. Мое письмо. — И вскрыла конверт.

«Гаяне! Вот настало время тебе все узнать. Меня все зовут Бекериха, а я твоя мать. Я тебя родила и подкинула, потому что не могла тебя взять с собой. Это секрет. Я потом расскажу. Скоро я приду, всем расскажу и тебя заберу, дочка. Будем вместе жить. Твоя мама Бекериха».

Сначала Гаяне долго разбирала, что именно написано мелкими, набок заваленными буквами. Слово «дочка» было выписано крупно, толсто. Она долго соображала, что же оно означает. Виктория терпеливо пережидала необходимую паузу и наконец спросила:

— От кого письмо, Гайка?

Гаяне молча протянула ей тетрадный листок. Виктория наслаждалась текстом: он был хорош. Особенно нравилось начало: вот настало время тебе все узнать...

О, это уже было, уже было... Это время, растянувшееся, как ослабшая резинка, потерявшее начало и конец, и странное движение по тошнотворному обратному кругу. Ощущение ужасной кражи, чувство тьмы...

И это всплывшее воспоминание чувства было верным доказательством того, что это письмо, ужасное даже на вид, сообщает не менее ужасную, но истинную правду: страшная Бекериха — ее мать.

— Не бойся, — великодушно пообещала Виктория. — Никто тебя твоей матери не отдаст.

— Ты, что ли, знала? — ужаснулась еще раз Гаяне. Чужое знание усугубляло весь этот ужас.

Виктория дернула плечом, перекинула косичку и успокоила сестру:

— Да ты не волнуйся так. Конечно, знала. И все знают.

— И Феня? — с глупой надеждой спросила Гаяне.

— Конечно, и Феня. Все, тебе говорю, знают.

Следующий виток злодеяния был чистым экспромтом. Виктория не была особенно плохой девочкой. Дурная мысль овладела ею и, как у талантливых людей бывает, талантливо развивалась.

— А с чего наша мама заболела, как ты думаешь? Тебя бабушка с помойки принесла и говорит ей: вот, корми! Приятно, думаешь?

— И заболела? — переспросила сестру Гаяне.

— А ты думаешь? Она говорит «не хочу», а бабушка ей велит... Вот и заболела...

— А ты? — пыталась наладить треснувший миропорядок Гаяне.

— Что я? Я-то родная дочь, а ты — подкидыш...

— А с какой помойки? — как будто эта подробность была так уж важна, спросила Гаяне.

— С какой? Да с нашей, где ящик зеленый во дворе, — изящно присоединила Виктория географию к биографии и в этот именно миг почувствовала полнейшее удовлетворение художника. Вкус теплой котлеты, ужасной новости и запах мастики, которой натирали коридор, — вот что еще она почувствовала в этот момент.

— А-а-а... — как-то вяло отозвалась Гаяне, и Виктория, почувствовав эту вялость, вдруг усомнилась в успехе своей ловкой шутки: веселой она не получилась, вот что... И она сунула нос в учебник, отыскивая нужный номер задачки и одновременно соображая, как бы оживить ситуацию.

Когда она подняла голову от учебника, сестры в комнате не было. Аккуратно вскрытый конверт и письмо лежали на краю стола.

«Ревет за вешалкой», — предположила Виктория. Она собиралась дать сестре немного пореветь, а потом признаться, что это шутка.

И тут в комнату вошел отец и спросил:

— А где Гаяне?

А Гаяне отошла от дома так далеко, как никогда еще одна не отходила. До самой Пресни. Она стояла у входа в зоопарк, на тощем портале которого выродившиеся боги вымерших народов охраняли плененное звериное племя. Какое-то тоскующее животное, а может, ночная птица, издавало длинные хриплые вопли. Начинался снегопад, и все посветлело. Вокруг фонарей засияли шары золотого рассеянного света, а там, куда не доставало электричество, лунно и серебряно сверкал медлительный крупный снег. Все было новым и неиспытанным в эту минуту: и одиночество, и отдаленность от дома, и эти унылые вопли, и даже запах снега, смешанный с духом конюшни и обезьянника.

Ей казалось, что с тех пор, как она ушла из дому, прошла вечность, и даже не одна. Это была вечность ужаса перед Бекерихой и вечность вины перед матерью. Она

поверила сестре сразу и неколебимо. Все объяснилось: тонкие тревоги ее жизни, беспокойство, темные предчувствия и неопределенные страхи получили полное оправдание. Конечно же, она чужая в семье, а ужасная Бекериха — ее родная мать, и только Вика имеет полное право на бабушку, папу, Феню, на мамин утренний бледный поцелуй, а ее, Гаяне, заберет в подвал ужасная желтозубая Бекериха.

Мысль о сходстве с сестрой, прекрасно известном ей с раннего детства, нисколько не мешала общей картине развернувшейся катастрофы. Соображение это было слишком мелочным, чтобы рассматриваться в столь исключительных обстоятельствах.

Если настоящая мать ее Бекериха, если она, Гаяне, виновата в болезни бедной ненастоящей матери Маргариты, то лучше всего ей будет умереть. Мысль о смерти принесла неожиданное облегчение. Она вовсе не стала размышлять о технических деталях самоубийства, это тоже было бы слишком мелочным. Ей казалось, что достаточно найти укромное место, сжаться там в комочек, и одного ее горячего желания больше не жить достанет, чтобы никогда не проснуться.

Она шла вдоль зоопарка по безлюдной заснеженной улице и заметила издали темную фигуру, протискивающуюся сквозь слегка раздвинутые прутья ограды. Ночной сторож Юков выносил обычной ночной дорогой свою законную порцию второсортной говядины, предназначенной тощим хищникам. Юков шмыгнул мимо девочки и скрылся в проходном дворе. Здесь неподалеку жила его подруга. Мясо, таким образом, оказывалось дважды краденным: у тигра и у юковской семьи.

Гаяне постояла, пока человек не исчез из виду, легко проскользнула между прутьями. Здесь, в зоопарке, было чудесно и совсем не страшно. Тоскливые вопли ночного зверя прекратились, хотя время от времени раздавались какие-то таинственные громкие вздохи, урчания

и стоны. В светлой пустоте прошла она мимо заснеженного пруда и вышла к вольерам, звери из которых были давно переведены в теплые помещения.

В проходе между двух довольно высоких проводочных стен стоял большой деревянный ящик, очень похожий на тот зеленый мусорный, что был у них во дворе. Занесенные снегом брикеты спрессованного сена были свалены кучей у его боковой стенки. Гаяне разгребла варежкой снег, вытащила один брикет и разворошила его. Печально запахло летом, дачей и всей ушедшей жизнью. Она села на брикет, как на низкую скамеечку возле бабушкиных ног, сеном из разворошенного брикета покрыла колени, зажмурилась и крепко уснула, совершенно уверенная, что никогда больше не проснется в этот мир злой и неисправимой справедливости...

Письмо вместе с надписанным красными чернилами конвертом Виктория засунула в штаны. В уборной она порвала его на мелкие кусочки и спустила в коммунальную Лету. Недоверие к помойному ведру висело в воздухе эпохи.

В перерывах между звонками в морг и в милицию Эмма Ашотовна допросила Викторию. Вика смотрела честными глазами: врать ей не пришлось. Она действительно не знала, куда подевалась сестра.

Эмма Ашотовна не была Шерлоком Холмсом, она не заметила ни подозрительного красного пятнышка на безымянном пальце внучки, ни брошенной на полуслове тетрадки Гаяне, свидетельствующей о внезапности ее исчезновения. Впрочем, индуктивные методы доктора Ватсона были тогда не в моде, а другие, более модные, были совершенно неприемлемы для Эммы Ашотовны.

В результате стечения этих двух обстоятельств Виктория была отправлена в постель, а домашнее следствие — на доследование в районное отделение милиции, куда был для этого послан Серго с чугунным гипертони-

ческим затылком и буро-красным от прилившей крови лицом.

Несчастливая Виктория легла в постель сестры, оплакивая ужасную судьбу исчезнувшей Гайки и одновременно обдумывая хитрый план мести Бекерихе, которая была во всем виновата.

...Во втором часу ночи довольный и сытый Юков, удовлетворивший физические и в некотором роде духовные потребности за счет голодающего тигра, снова просунул между прутьями свое умиротворенное тело. Он намерен был обойти участок, а потом заглянуть в дирекцию, где дежурил сегодня его приятель Васин. Меж двух пустых вольтер, возле большого деревянного ларя он нашел спящую девочку. Куполком торчал на ее голове занесенный снегом помпон, нетающий снег лежал на ее ресницах. Но была она не мерзлая — теплая и дышала. Он удивился, что не заметил ее прежде, пошлепал по щекам, но она не проснулась. Тогда он смахнул с нее снег, взял на руки и отнес в дирекцию.

Васин удивился, увидев его с такой неожиданной ношей. Ее посадили на стул — она продолжала спать.

— Вишь, спящая царевна! И как ее сюда занесло, — ворчал Юков.

— Со дня осталась, что ли, — высказал предположение Васин.

— Нет, кажись, не было ее тут, когда я заступал. В милицию, что ли, позвонить... Или подождать, как сама проснется... — рассуждал Юков.

— Да они только приезжали. Стоят, поди, у ворот, — заметил Васин.

И правда, милицейская машина еще не отъехала. Васин привел дежурного лейтенанта. Дежурный тоже безуспешно пытался разбудить девочку. Ставил ее на ноги, но ноги были согнуты в коленях и не разгибались.

— Что-то не то, — решил дежурный и отвез спящего ребенка в приемное отделение Филатовской больни-

цы. Пока в приемном отделении оформили получение странной больной, пока дежурный лейтенант, совершив объезд по своему околотку, добрался до своего отделения и сделал донесение о спящей находке, пошел уже шестой час утра.

В доме на Мерзляковском спать не ложились. На кушетке, обвязав голову розовым платком, лежал Серго, в кресле окаменела бледная Эмма Ашотовна. Из комнаты время от времени раздавалось жалобное восклицание Маргариты:

— А где Гаяне?

Ей не отвечали.

Одна только Виктория спала. В сестриной кровати, обняв промокшую чуть ли не насквозь сестрину подушку и подтянув к животу колени, в той самой позе, в которой спала Гаяне в изоляторе приемного отделения, куда ее поместили для выяснения личности и диагноза.

...Когда зазвонил телефон и Эмме Ашотовне сообщили, чтобы она ехала в Филатовскую больницу, где, судя по всему, находится ее пропавшая внучка, Серго бурно, в голос, зарыдал, и Эмме Ашотовне пришлось дать ему хорошую дозу валерьянки, прежде чем он впялился в толстое ватное пальто. Впервые в жизни Серго взял под руку тещу и, увязая в ночном снегу, не сбитом еще ранними дворниками в кучи, повел ее, в гордой шубе, в меховой шляпке с шелковым пропеллером на затылке, через Никитскую на Спиридоновку, перевел через Садовую, и вскоре они вошли в приемный покой Филатовской больницы.

Через стеклянную дверь Эмме Ашотовне показали спящую девочку, в бокс, однако, не впустили, сказав, что хоть она цела и невредима, но что-то с ней не в порядке и утром ее посмотрят невропатологи и прочие специалисты, поскольку она спит не просыпаясь, и даже в теплой ванне, куда ее поместили, она не изменила той позы, в которой ее нашли: колени согнуты и ручки

скрещены на груди. Впрочем, спит она спокойно и температуры нет.

Здесь Серго окончательно стало дурно, он побледнел и повалился на случайно подвернувшийся стул. Понюхав нашатыря, он пришел в себя, и тут уж Эмма Ашотовна взяла своего зятя под руку и повела через Садовую, по Спиридоновке, через Никитскую к дому, в Мерзляковский переулок. Дворники уже расчистили тротуары, было светло; служащие спешили по своим дребезжащим трамваям...

Оба молчали. Они почти не разговаривали с тех самых пор, как он пришел с фронта. Да, собственно говоря, в этой семье разговаривали только девочки либо с девочками. Взрослые же люди — Маргарита, Серго, Эмма Ашотовна — произносили постоянно лишь внутренние монологи. Это была печальная музыка семейного безумия, женского неразрешимого укора и мужского столь же неразрешимого упрямства.

Но сегодняшнее их общее молчание не было начинено раздором, они оба не понимали, что же произошло с их ребенком, и это общее непонимание, пережитая чудовищная ночь сблизили их.

«Ах, дурак, дурак, — сочувственно и мимолетно подумала она о Серго, которого вела под руку. — Да и сама я дура, как просмотрела...» — трезво оценила ситуацию Эмма Ашотовна. И она позволила себе небывалое, обратилась к нему с вопросом:

— Сережа, что же это такое с ней случилось, а?

— Бог знает, мама. Совсем ничего не понимаю: все есть у девочки, — сказал он с более сильным, чем обычно, акцентом. Они давно уже выглядели ровесниками, пятидесятилетний Серго и шестидесятилетняя Эмма Ашотовна...

Когда они подошли к дому, увидели у подъезда жиденькую толпу и санитарную машину. Она словно материализовалась из всех ночных страхов сегодняшней

ночи, но душевные силы были истрачены дотла, и потому Эмма Ашотовна даже не поинтересовалась, к кому приехала «Скорая».

А машина приехала за Бекерихой. Рано утром ее соседка, дворничиха Ковалева, не слыша из комнаты привычных звуков утренних сборов и не видя соседки возле кухонного крана, толкнула ее дверь, окликнула и, не слыша отклика, двинула плечом. Крючок отлетел, и Ковалева обнаружила Бекериху уткнувшейся в тощую подушку лицом и с опущенными на пол ногами. Она как будто сидела, а потом упала лицом в казенную печать больничной наволочки. Так неожиданно настигла Бекериху острая сердечная недостаточность, и на два пальца красное вино так и осталось недопитым.

Феня сказала «по грехам». Но таких грехов не бывает. И никто не исчислит, зачем Танина злая судьба послала ее на каторгу за немецкую фамилию прадеда, петровского набора судостроителя, потом со скучной методичностью забрала мужа, мать, сестру и трехлетнюю дочку, а напоследок еще сделала ее ужасным пугалом десятилетней девочки, которую она и в глаза не видела...

Виктория, не поднятая бабушкой в школу, безмятежно спала. Зато Маргарита встала. Причесанная и одетая, она стояла на стуле, установленном на середине обеденного стола, и вытирала влажной тряпкой хрустальные сосульки люстры.

— Ну что с Гаяне? — спросила она сверху. Стекланные палочки еще продолжали звенеть.

— Все в порядке. Она спит, — осторожно ответила Эмма Ашотовна.

— Я чуть с ума не сошла, — тихо сказала Маргарита. — Мамочка, сделай на обед плов.

Тут потрясенная Эмма Ашотовна плавно опустилась на тахту. Потом Маргарита подняла глаза на вошедшего в комнату мужа и обратилась к нему впервые за много лет:

— Серго, помоги мне слезть. Я посмотрела, люстра такая пыльная...

Виктория, проснувшись к этому времени, все отлично слышала из своей комнаты. Она зевнула, вытянула ноги и потянулась.

«Какая все же Гайка дурочка... Подарю ей мою американскую собачку», — великодушно решила она. Вылезла из постели, отыскала ленд-лизовскую собачку и посадила сестре на подушку — плюшевого свидетеля беспокойной совести.

В это же самое время проснулась и Гаяне. Она выпрямила затекшие ноги. Никакой каталепсии, предполагаемой врачами, у нее не было. Она посмотрела по сторонам. Сон с белыми, замазанными краской окнами ей не понравился, и она снова закрыла глаза.

Когда она проснулась в следующий раз, бабушка сидела возле нее на стуле, сверкая алмазными серьгами, и счастливо улыбалась красно покрашенными губами, а оттого, что на желтоватых передних зубах был виден следок губной помады, Гаяне поняла, что это не сон. К тому же из-за бабушкиной спины, треща наброшенным на плечи халатом, выглядывал Юлий Соломонович. Ему, известному врачу, под расписку выдавали пациентку, и он потирал свои розовые пересушенные руки, чтобы уличным холодом, пробившим его старые перчатки, не обжечь теплого детского тела...

АНДРЕЙ
ГЕЛАСИМОВ



ЧУЖАЯ БАБУШКА



А насчет работы мне все равно. Скажут прийти — я приду. Раз говорят — значит, надо. Могу в ночную прийти, могу днем. Нас так воспитали. Партия сказала: надо, комсомол ответил: есть. А как еще? Иначе бы меня уже давно на пенсию турнули.

А так им всегда кто-нибудь нужен. Кому все равно, когда приходить. Но мне, по правде, не все равно. По ночам стало тяжело.

Просто так будет лучше.

Начальник смены говорит: «Ну, ты как, Ивановна?»

А я говорю: «Все нормально, Николай Григорьевич. Когда выходить?»

Он улыбается и говорит: «Ты у меня молодец».

А Николаю Григорьевичу всего-то двадцать два года. Только что окончил свой институт.

Моей старшей уже тридцать. Но внуков ездить в Москву навещать никаких денег не хватит. Смотрю фотокарточки. Цветные, красивые, и сзади прозрачные буквы «Kodak». Голубые, как татуировка.

У Валерки на левой руке была такая. И на плече. Он говорил — на флоте были у всех. Якорь, а вокруг него переплетается толстый канат. Но на плече был не якорь. Там было написано «Лена». Потом пытался сводить, но через шрамы все равно было видно.

Красивый вернулся и тут же пошел курсантом в авиационно-техническое. Девки говорили — похож на Алена Делона. А я отвечала — какой Делон? Валерка — подводник. И летчик.

И еще пьяница.

Покупал водочку, становился еще красивее и рассказывал про кризис в Карибском бассейне. Как его подводная лодка лежала на самом дне, а над головой плавали злые американцы. И как командир чуть не застрелил кого-то, когда тот уронил чайную ложечку. А я слушала эту историю в сотый раз и думала: зачем чайные ложечки на подводной лодке?

Но было весело. Бабы к нему липли всю жизнь, а я прощала. Любила сильно.

И дети от него получались красивые.

А потом он сгинул. Сел однажды на поезд и уехал к родителям. Но до них не доехал. Растворился в воздухе вместе с татуировками. Может, до сих пор кому-нибудь рассказывает про подводные лодки.

А я сижу по ночам в аппаратной и рассматриваю внуков на фотокарточках. Такие красивые. Но Николай Григорьевич все время просит, чтобы я не отвлекалась. Он говорит: «Мы обеспечиваем правительственную связь, Ивановна. А ты со своими фотками, знаешь, каких можешь дел натворить? Ты понимаешь?»

Я понимаю. Потому что я обеспечиваю эту связь уже тридцать два года. С тех пор, как бросила ДОСААФ.

Девки говорили: «Ну ты и дура! Ты же прыгаешь лучше всех. Чемпионка Сибири по парашютному спорту». А я говорила: «Что мне с вашего парашюта? Валерка успеет двадцать раз всех баб обежать, пока я из вашего кукурузника прыгну».

А теперь мне пятьдесят шесть. И это мне больше всего непонятно. То есть как это так бывает? Вот вроде бы ты живешь — все нормально, и вдруг тебе пятьдесят. А потом еще — пятьдесят шесть.

Правда, уставать к вечеру больше стала. Но все равно не пойму. Неужели это мне столько лет? Мне?

Чепуха какая-то.

Я ведь помню даже, когда маме не было столько. Красила губы, уходила в магазин на работу, а нас оставляла одних. И мы сидели дома голодные. А Валька говорила: «Хотите, девки, блинчиков испеку?» И мы, дурочки, отвечали: «Хотим!» А Валька садилась на широкую фанерную скамью у стола и громко пердела. Машка начинала плакать, потому что ей было всего пять лет. А я дралась с Валькой, потому что мне было жалко Машку. Ей, правда, очень хотелось блинчиков.

Потом у меня у самой девки пошли. Пацанов ни одного не рожалось. Друзья смеялись над Валеркой, но ему было все равно. Улыбался в ответ и пожимал плечами. Может, где-нибудь и были у него пацаны.

Но девчонок он сильно любил. Возился с ними. Животики им щекотал. А они визжали.

Говорили: «Когда папа с работы придет?» Как будто меня одной им было мало.

Больше всего любили его, когда он был пьяненький. Становился такой забавный — делай с ним что хочешь. Вот они и старались. Визг стоял на весь дом. А он лежал на полу под ними и повторял: «Холеськи мои, где мои холеськи?»

Его самого так младшая моя называла. Танечка. Плохо еще говорила тогда. Хотела сказать: «Хороший», а сказала: «Холеська». А он потом подхватил.

Мне даже приходилось иногда их растаскивать. Потому что они плохо спали, если он долго с ними дурел. Взбрасывались во сне. Ручки тянули и плакали. А мне утром надо было на работу. Ночью он к ним никогда не вставал. Сны смотрел про свою подводную лодку. Или про Лену, которая на плече.

А потом подросли, и Танечка мне однажды вдруг заявила: «Ты с нами никогда не играла в детстве. С нами только папа играл».

И я подумала: «Ну да, конечно, а кто же еще?»

Но потом все равно немного поплакала.

А когда он уехал, совсем не ревела. Подумала: «Баба с возу — кобыле легче». Хотя — какая он баба?

Но вместо одного мужика скоро появилось два.

Первого привела Маринка. Вернее, он сам пришел. Я дверь открыла, а он говорит: «Здрасьте, я к вам жениться». Стоит такой махонький, в курсантской шинели, на меня смотрит. Я говорю: «Господи, на ком?» А он говорит: «На Марине». Я говорю: «Ты из авиационно-технического, что ли?» Он говорит: «Но». Я говорю: «Чего ты нокаешь-то?» А сама думаю: «Глупая ты, Марина. От этих летунов только головная боль».

Но поженились. Нарожали внуков и увезли их с собой в Москву. Зайчиков моих.

К тому времени я этого курсанта уже чуть-чуть подкормила. Даже больше немного стал. Но все равно не солидный. Маленький.

А Мишка-медвежонок любил всякую ерунду в рот толкать. Однажды уселся на кресло, сопит, что-то пережевывает. Я говорю: «Что там у тебя?» А у него изо рта слюна бежит темно-зеленого цвета. Я говорю: «Что у тебя?» Он смотрит на меня хитро и говорит: «Детям нельзя».

Оказалось, что карандаш. В мелкую щепку его разжевал. И улыбался.

Потом прилетел второй. Как будто им медом намазали. Это уже после того, как Марина с Анатолием увезли внуков в Москву.

Намного старше моей Татьяны. Она только в институт тогда экзамены сдала. А этому было уже двадцать восемь.

Самостоятельный. Какие-то машины перегонял. Ремонтировал. Жалко, что на дороге где-нибудь бандиты его не убили. Прости меня, Господи. До того как он на Татьяну мою глаз положил.

А той тоже будто шлея под хвост: «Мама, хочу за него замуж».

Я говорю: «От него бензином несет». А она: «Ты про отца тоже всегда так говорила».

Ну да, у них ведь все должно быть по-другому. Не так, как у матери. Потому что у матери все было плохо, а у них все будет хорошо. Потому что они знают, как надо. Им уже все известно. И про кофточки, и про моду, и про мужиков. А мать у них — дура. Потому что любит слушать пластинки Валерия Ободзинского.

«Эти глаза напротив».

Когда первый раз услышала, вообще чуть не умерла. Целую ночь танцевали. На всю жизнь тогда поняла, что лучше флотских никто не танцует. И не целуется.

Смотрю на нее и говорю: «Да мне-то какое дело? Выходи хоть за папу римского».

В общем, на свадьбе было ровно полтора человека. Даже соседка отказалась прийти.

«Извини, — говорит, — Ивановна. Но я на свадьбы уже не ходок. Нечего мне подарить твоим молодоженам. Все раздарила».

И не пошла. Я ей потом занесла кусочек тортика.

Так и сидели без криков «Горько!». Потому что жених наш оказался не местный. А кого попало приглашать не хотел.

«Вы знаете, мама, лучше мы на этом деле сэкономим чуть-чуть, а я потом куплю новую машину. Мне надо молодую жену к родителям в деревню свозить».

Я говорю: «Да мне-то какое дело? Ваша свадьба — вам виднее, как веселиться».

Но Татьяна моя сидела мрачная. Смотрит через фату. Ничего не ест. А я наготовила на целую роту.

Потому что на Маринкиной свадьбе гулеванила половина училища. В каждом углу по курсанту лежало. Напились, как цуцки. Летуны — что с них возьмешь?

Потом неделю по всей квартире пуговицы с крыльями подбирали. Кто-то даже ботинки забыл. Запросто можно было военторг открывать. Но зато было весело. Я на полжизни наплясалась. Хохоту было — под утро никто уже нормально говорить не мог. Кто смеялся, кто заикался, а кто мычал.

И Татьяна, конечно, все это помнила. Сколько там прошло-то — всего три года.

А у нас на свадьбе с Валеркой вообще было человек сто. Бражки выпили, наверное, ведер двадцать. Со всего Забайкалья слетелись тогда летуны. Высокие, стройные. В красивых фуражках. Крылышки на рукавах. У меня мама говорит: «Ох, девки, пойду, наверное, опять за кого-нибудь замуж. Вертолетчики у них есть?»

Мне тогда первый раз в городском ателье платье шили. Настоящий шифон. Белый-белый. Как туман за окном.

А когда Татьяна с зятем уехали в деревню, у нас начались дожди. И по утрам был густой туман. Я проснусь, посмотрю на туман, у окна немного поплачу — и на работу иду. А Николай Григорьевич стал довольный, потому что я фотографии наконец все убрала.

«Вот видишь, Ивановна, как хорошо теперь в аппаратной. Никто не отвлекается на твою малышню».

А я ему говорю: «Да, да, конечно, Николай Григорьевич».

А он говорит: «Ты же сама знаешь — у нас не положено».

Я говорю: «Я убрала ведь уже».

А потом как-то вечером с работы иду, смотрю — у подъезда зятева машина стоит. Я быстрее пошла. В подъезде чуть не упала. Ступеньки эти дурацкие. Дверь ключом открываю и говорю: «Могли бы хоть позвонить». А из Таниной спальни выходит вдруг маленькая девочка. Остановилась посреди коридора и смотрит на меня. Худая, как скелет. Глаза большие, темные.

Я говорю ей: «Ты кто?»

А она протягивает мне старую Танину куклу. И говорит: «Нога отлетела».

В это время из кухни появилась моя Татьяна.

«Ой, мама, а я не услышала, как ты вошла. Мы не знали, что ты сегодня работаешь. Я почему-то думала, что у тебя выходной».

А я говорю: «Николай Григорьевич попросил вместо Степанцова прийти. У него сына в армию забирают».

Она говорит: «А-а, ну проходи. Дима сейчас вернется. Он в магазин побежал».

Я говорю: «Подожди, а чья это девочка? Соседи, что ли, оставили? Только я не помню такой девочки ни у кого».

А Татьяна говорит: «Ты раздевайся. Я картошки сварила. Сейчас будем есть».

Я говорю: «Нет, ты постой. Чья это девочка? Я же тебя русским языком спросила».

А Татьяна смотрит на меня и говорит: «Это Димина дочь. От первой жены. Он, когда ушел в армию, она сильно начала пить. Совсем ему туда не писала. А потом у нее вот эта девочка родилась. Она назвала ее Оля. Даже с Димой не посоветовалась, как ребенка назвать. А теперь его мама попросила нас забрать ее к себе, потому что кормить ее нечем. Там у них в деревне совсем ничего нет. Совхоз развалился. Только с огорода живут».

А я говорю: «Подожди, подожди, что-то я не совсем понимаю. Этот твой Дима, он что, выходит, уже был женат? У него уже была жена, у этого твоего Димы?»

В общем, так моя Татьяна превратилась в мачеху в двенадцать лет. Нормально. Что тут еще скажешь?

И мы стали жить вчетвером.

Зять надолго уезжал за своими машинами, поэтому в жизни нашей почти ничего не переменилось. За исключением девочки, разумеется. А кого же еще? Потому что у меня лично маленьких девочек не было уже

давно. У Маринки с Анатолием рождались одни пацаны. А девочка — это совсем другая история.

Она все время молчала, сидела тихонько где-нибудь в углу и среди всех старых Танькиных игрушек выбрала почему-то ту самую куклу, которую нашла в первый день. У нас еще оставались два плюшевых медвежонка и китайская Барби, но она не обращала на них никакого внимания. Таскала везде эту одноногую Мальвину.

Приходит ко мне на кухню и смотрит, как я чищу плиту.

«Ну что? — говорю. — Интересно?»

Она кивает головой и прижимает к себе куклу.

Я говорю: «Любишь ее?»

Она снова кивает.

Я говорю: «А почему?»

Она молчит, гладит ее по голубым волосам и наконец отвечает: «Хорошая».

Я говорю: «Ну конечно».

И тогда она говорит: «Откуда она взялась?»

Я говорю: «Откуда?» Потом подумала немного и все-таки сказала: «Ее Валерка купил».

Она говорит: «А кто это?»

Я говорю: «Был тут один. Ты его не знаешь».

Она говорит: «Куклы покупал?»

Я говорю: «Много чего покупал. Иногда покупал куклы».

Она говорит: «И эту купил?»

Я говорю: «Ну да. Я же тебе сказала».

Она постояла молча, а потом говорит: «Хороший».

Я даже плиту перестала скрести: «А ты-то откуда знаешь?»

Она снова говорит: «Хороший».

Потом повернулась и из кухни ушла.

Но больше всего ей нравилось, когда я садилась шить. Ну и мне, в общем-то, тоже. Люблю возиться с машинкой. Соседки иногда просят что-нибудь для них сварга-

нить. Денег я не беру. Все равно их ни у кого нету. Просто так — что-нибудь.

Она один раз долго рядом со мной стояла и потом говорит: «Дай мне тряпочку».

Я говорю: «На. А тебе зачем?»

Она говорит: «Для куклы. Она платье хочет. Ей холодно».

Я смотрю на ее Мальвину, а у той вместо оторванной ноги торчит синий карандаш.

Я говорю: «Сама придумала?»

Она кивает головой.

Я говорю: «Молодец. Только ты слишком большую тряпочку взяла. Это будет не платье, а какой-то парашют».

Она говорит: «Что такое парашют?»

Я говорю: «Ты не знаешь, что это такое?»

Она говорит: «Нет».

И улыбается. Ей смешно, что я так удивляюсь.

А я говорю: «Давай лучше сделаем парашют твоей кукле. У нее теперь две ноги, так что до прыжков ее вроде допустят».

Она говорит: «Что такое парашют?» И смеется.

Через час из института приходит Татьяна и молча смотрит на нас.

Я говорю ей: «Отвяжись. Мы тренируемся. Знаешь, как трудно научиться правильно приземляться?»

Мы сидим с девочкой под столом, прижимая к груди колени. Руки подняты вверх, глаза широко открыты.

Татьяна говорит: «А стол-то при чем?»

Я говорю: «А почувствовать купол?»

Ну, и с зятем, в общем-то, повезло. Тихий, серьезный. Водки совсем не пил.

Жадноватый немного. Но по нынешним временам это вроде бы хорошо. Все в дом. Не то что летуны или флотские.

Тем только дай волю.

А у этого все было на счету. Приходил на обед, усаживался с газетой на диване. Шоколадки импортные очень любил. Придет, сядет и зашуршит своим «Сникерсом». А девочка тут как тут. Стоит рядом с ним, через газету на него смотрит. Шейку вытягивает, чтобы лучше видно было. А он читает — ему-то какое дело? Потом говорит ей — отнеси эти бумажки в ведро. Нельзя, чтобы мусор везде валялся. Она берет его фантики и тащит их на кухню ко мне. Стоит возле ведра и не сразу их туда бросает. Смотрит на них.

Я говорю: «Хочешь, я куплю тебе шоколадку?»

Она поднимает голову и потом очень тихо говорит: «Нет».

С характером оказалась девочка. Но понятливая. Скоро уже перестала смотреть, как он ест свои шоколадки. К двери, правда, еще бегала, когда он приходил. Выскочит в коридор и стоит с этой куклой, смотрит на него. А он кричит: «Татьяна, я есть хочу». И, в общем, не очень эту девочку замечает. Но ей, видимо, было все равно. Для нее было важно, что он приходил.

В общем, понятливая оказалась на удивление.

Один раз подошла ко мне и говорит: «Почему папа меня не любит?»

Я повернулась от плиты, чтобы на нее посмотреть, и полотенцем полную солонку смахнула на пол.

«Надо же, — говорю. — Какая ерунда получилась. Теперь обязательно все поссоримся. Плохая примета».

Она смотрит на меня и ждет, что я отвечу. А пол на кухне как будто снегом усыпан. Даже под холодильником.

«Понимаешь, — говорю. — Жизнь очень сложно устроена. Ты еще слишком маленькая для того, чтобы все понять».

Она говорит: «Я все понимаю».

Я говорю: «Нет, ты не можешь все понимать. Потому что даже у взрослых не всегда получается».

Она говорит: «Почему?»

Я вдруг задумалась, а потом говорю: «Наверное, потому что они не хотят».

Она разгребла ножкой горку соли и говорит: «Я хочу».

Тогда я взяла тряпку и начала вытирать пол.

Она посмотрела на меня и принесла веник. Когда закончили, она села в уголок и стала смотреть на меня. Я минут десять, наверное, возилась с капустой, но потом не выдержала:

«Что ты хочешь от меня? Иди играй со своей куклой».

Она говорит: «Я не хочу играть. Я хочу, чтобы ты рассказала».

Я говорю: «Слушай, ну ты упрямая. Вылитый папа. Вы оба друг друга стоите».

Она говорит: «Расскажи мне».

И тогда я говорю: «Хочешь узнать? Хочешь узнать — почему так получается? Ну, слушай. А если не поймешь, то я не виновата. Я тебя предупредила. Поняла меня?»

Она кивнула головой. Глаза большие. Куклу к себе прижала.

А я говорю: «Все дело в том, что у каждого человека свои интересы. Твой папа любит мою Татьяну. Поэтому он женился на ней. Моя Татьяна любит твоего папу. Поэтому она вышла за него замуж. Твоему папе надо зарабатывать деньги, чтобы кормить Татьяну. Поэтому он занят своей работой. Но это еще не все. Потому что есть я. И я не очень люблю твоего папу. Потому что, когда я вижу, как он с тобой обращается, мне хочется подойти к нему и треснуть его по башке его же газетой. Но я не могу этого сделать. Потому что я люблю свою Татьяну. А она любит твоего папу. И значит, мне придется терпеть и не бить твоего папу газетой по голове. Потому что я не хочу потерять свою дочь. Но, ты знаешь, и это еще не все. Потому что есть ты. И ты любишь

своего папу. Но он не обращает на тебя внимания. Видишь, как все сложно тут перепуталось?»

Она снова кивнула мне головой.

«Так что, когда захочешь шоколадку — беги лучше ко мне. Денег не очень много, но на «Сникерс» найдем. Поняла?»

Она говорит: «Поняла. А мама?»

Я говорю: «О, ну тут вообще запутанная история. Давай об этом поговорим в другой раз».

Она помолчала и потом говорит: «Папу любят два человека?»

Я говорю: «Да».

«Татьяну любят два человека?»

Я говорю: «Да».

«Тебя любит один человек».

Я говорю: «Ну, в общем, правильно все посчитала».

И тогда она говорит: «А кто любит меня?»

После этого на работе тоже стали происходить какие-то странные вещи. Николай Григорьевич неожиданно изменился. Притих, потускнел, меньше стал нами командовать. Я даже подумала, что он заболел. Язва там, или, не дай бог, еще чего-нибудь, может, похуже. В общем, с лица спал. Я уже видела такое у мужиков. Они все от этого сильно страдают. Мучаются, ночей не спят. Им, дуракам, кажется, что раз у них это не получается, то они больше ни на что не годятся. Как будто мы только про это и думаем. Да если б так было, то самым счастливым на свете считался бы наш дворовый кобель по кличке Дружок. У него это получается и днем и ночью. Но я что-то особого счастья у него в глазах не заметила. Жрать без конца хочет, вот и все.

А в нашем мужском коллективе они все в конце концов приходят ко мне. С женами им на эту тему разговаривать трудно. Тем более что я старая.

По их мнению.

Николай Григорьевич в итоге тоже пришел.

«Ивановна, — говорит. — Я с тобой на одну тему поговорить серьезно хочу».

Я говорю: «Знаю я ваши темы. Говорите, чего уж там. Что с вами еще приключилось?»

Он говорит: «Понимаешь, я с тобой решил посоветоваться, потому что ты опытная. У тебя у самой две дочери взрослые уже. Обе замужем».

Я говорю: «Да вы не стесняйтесь, Николай Григорьевич. Говорите скорей, без предисловий. Мне еще надо до конца смены кое-что успеть».

Он говорит: «Да ладно, куда ты торопишься? Я другой смене скажу, чтобы они за тебя доделали. Разговор-то у меня правда серьезный».

Я думаю: «Куда уж серьезней. Для вас, козлов, только это имеет значение».

Он помолчал немного, потом откашлялся и говорит: «Ты ведь, наверное, понимаешь — что такое жизнь в браке?»

Я говорю: «Понимаю. Как же не понимать?»

Он говорит: «Вот видишь. Я поэтому к тебе и пришел. У тебя у самой сколько внуков?»

Тут я его не поняла и говорю: «Внуков? А внуки-то здесь при чем?»

Он говорит: «При том, Ивановна. Ты мне скажи — сколько у тебя внуков?»

Я говорю: «Два вроде бы... Ну, и там еще... Одна девочка».

Он говорит: «Вот я насчет этого как раз и хотел с тобой посоветоваться».

Я тут совсем запуталась и говорю: «Насчет чего? Насчет простатита?»

Он на меня уставился как идиот и говорит: «Какого простатита?»

Я говорю: «А вы насчет чего хотели посоветоваться-то? Разве не насчет простатита?»

Он говорит: «Нет. А что это такое?»

Я тогда как давай там смеяться, а он на меня смотрит своими глупыми глазами и ничего не понимает.

Потом говорит: «Странная ты, Ивановна. Я же с тобой серьезно поговорить хотел».

Я успокоилась и говорю: «Простите, Николай Григорьевич. У меня нечаянно получилось. Так о чем вы хотели со мной посоветоваться?»

Он нахмурился еще немного, но потом все равно рассказал.

«Понимаешь, — говорит. — Я тут жениться решил. Но у невесты моей вроде как уже есть ребенок. От другого мужика. Понимаешь?»

Я говорю: «Понимаю».

Он говорит: «Вот. Ну, и я подумал, что, может, ты что-нибудь посоветуешь».

Я говорю: «Насчет чего?»

Он говорит: «Насчет — мне жениться или не жениться».

Я говорю: «А я-то при чем?»

Он смотрит на меня и говорит: «Ну, ты же сама сказала, что у тебя еще одна внучка есть... Ну, как бы от другого брака. Чужая. Ты же ее к себе в дом взяла. В управлении все об этом знают давно».

Я говорю: «Вот вы мужики. Хуже вас сплетников нету».

Он моргает своими глазами и на меня смотрит.

«Ну, так как? — говорит. — Ты что посоветуешь?»

Я вздохнула и говорю: «Нет тут советчиков. Хочешь — женись. Не хочешь — не женись».

И тогда он говорит: «У нее отец — депутат Госдумы. Ты представляешь — какие перспективы там открываются?»

Я говорю: «Я представляю. Трудно вам будет выбрать. И хочется — и колется».

Он в сторону посмотрел, а потом так задумчиво отве-

чает: «И не говори, Ивановна. Чужой ведь мальчишка. Совсем чужой».

А моя девочка на следующий день пришла на кухню, и я ей все рассказала про Николая Григорьевича. Исключая, разумеется, простатит. А кому мне еще рассказывать? Татьяна теперь своего автомобилиста одного слушала. А до Москвы письмо целую неделю идет. Так что мне разговаривать больше было не с кем. К тому же девочка в самом деле оказалась понятливая. Слушала меня, вертела свою куклу, молчала-молчала, а потом говорит: «Пусть он женится».

Я говорю: «Почему?»

И она отвечает: «Ты же сказала — дедушка все равно богатый. Он будет мальчику подарки хорошие покупать».

Я говорю: «Так он ему и сейчас их покупает».

А она говорит: «Но папы-то у него сейчас нет».

И как-то так повелось у нас с ней, что мы все больше стали разговаривать на взрослые темы. Я возилась у себя на кухне, а она приходила с куклой, усаживалась на табурет и слушала истории про мою жизнь — про дочерей, про Валерку, про то, куда он пропал, и про то, что с тобой случается, когда ты больше никому не нужен. Она слушала очень серьезно, а я, сама не знаю зачем, всегда говорила ей чистую правду. Стряпала ее любимые блинчики и говорила ей правду. Кому-то, наверное, надо было это все рассказать. Тем более что, кроме нее, так и так никто бы не стал слушать.

А у этой Оли на все было свое мнение.

Когда я рассказала ей, как однажды прилетела с соревнований в Новосибирске и застучала Валерку со своей тренершей по прыжкам, она повертела куклу и сказала, что он все равно был хороший. И на то, что я бросила институт, когда родилась Маринка, она сказала, что это тоже было хорошо. А на то, что я так и не

стала начальником смены, она сказала, что это было не надо. Выходило, что жизнь у меня получилась просто на зависть. Зря только бросила ДОСААФ.

Она закрывала глаза, жмурилась, поднимала свою куклу над головой и говорила: «Я бы хотела прыгать. А что ты чувствуешь, когда летишь?»

Я отвечала: «Что чувствуешь? Ну, понимаешь, когда впереди открывается люк, а ты видишь, что перед тобой еще человек десять, то вроде бы все нормально...»

Через некоторое время даже зять привык к подгоревшей картошке. Перестал ворчать и просто сидел с кислой рожей.

А мне-то какое дело? Не нравится — ищи себе другую кухарку.

Но однажды она меня вообще здорово удивила. Мне захотелось показать ей одну книжку, от которой я ревели много лет назад целые ночи напролет, и я попросила ее сходить ко мне в комнату. Никогда не выбрасываю такие вещи.

«Она у меня на полке лежит. Синенькая. Называется «Когда приходит печаль». Ты ее сразу увидишь. На ней такими большими буквами написано».

Она не возвращалась довольно долго. Я даже подумала, что она забыла про меня. Потом тихо зашла в кухню и встала возле двери. В руках у нее было штук пять книжек. Все синие.

Я смотрю на нее и говорю: «Зачем нам так много? Ты где их столько взяла?»

А она улыбается как-то странно и молчит.

Я говорю: «Мне же только одну надо».

А она все равно молчит. Стоит с этими книжками молча.

И тут я догадалась: «Ты что, не умеешь читать?»

Она помолчала еще немного и отвечает: «Нет».

Я говорю: «Тебе же в школу в этом году. Тебя что, никто не учил буквам?»

Она говорит: «Нет, не учил».

Я посмотрела на нее, потом выключила плиту и говорю: «Давай-ка убирай все со стола. Ужин подождет. Будем играть в школу».

Развитие у нее оказалось как у четырехлетней. Букв она и вправду не знала почти ни одной. Даже ручку правильно держать не умела.

Я говорю: «Между вот этими пальцами ее зажимай. Вот так. Видишь? Ну-ка, сама попробуй».

Она говорит: «Я не могу. Неудобная ручка. Дай мне другую».

Я говорю: «Не будет тебе другой. Они все одинаковые».

Она говорит: «Эта толстая».

Я говорю: «Подожди, тебе волосы мешают».

Взяла заколку и убрала ее волосики в хвост. Чтобы перед глазами у нее не болтались.

Она говорит: «Теперь хорошо».

Я посмотрела на ее шейку и замерла.

Она говорит: «Вот так? Правильно вот так держать ручку?»

Я говорю: «Откуда у тебя это на шее?»

Она замолчала и голову опустила к столу.

Я говорю: «Откуда? Говори. Я в своем доме все равно все узнаю».

Она еще ниже голову опустила.

Тогда я говорю: «Хорошо. Значит, не буду больше с тобой заниматься».

Она съезжилась вся и прошептала: «Папа стукнул резинкой. Я ему телевизор мешала смотреть».

Я задержала дыхание и говорю: «Какой резинкой?»

А она еще тише мне отвечает: «Которую он с работы принес. От машины».

И тогда я говорю: «Посиди-ка пока здесь. Не выходи никуда из кухни».

Пошла в комнату, встала напротив него и говорю: «Ну что, засранец, любишь телевизор смотреть?»

Татьяна вскочила со своего кресла: «Мама, ты чего?»

Я говорю: «Я ничего. Только у меня в доме детей еще никто не бил. Я девок, пока растила, пальцем ни одну не тронула. А этот засранец приперся из своей деревни, чтобы детишек тут обижать».

Он смотрит на меня и молчит.

Я говорю: «Чего ты молчишь? Чего ты на меня уставился? Дай-ка мне сюда эту резинку. Я тебя самого так по спине резинкой тресну! Надолго запомнишь — кого бить, а кого не бить».

Он молча встает с дивана и подходит к шкафчику, где у него лежат документы.

Я говорю: «Ты слышал меня? Давай сюда эту резинку!»

Он открывает шкафчик, вытаскивает оттуда какие-то бумаги и отдает их мне.

Я говорю: «Ты что мне даешь? Зачем ты мне это толкаешь?»

Он говорит: «Прочитайте».

Я говорю: «Ты что, совсем сдурел?»

Он смотрит на меня и говорит: «Прочитайте».

Я опускаю глаза на эти бумажки и все равно ничего не могу понять. Какие-то цифры, какие-то там статьи.

Я говорю: «Зачем ты мне это дал? Зачем ты ударил девочку?»

А он опять говорит: «Прочитайте».

И тогда я начинаю читать. И постепенно мне становится ясно, что эти бумаги все про нее. И там написано, что у нее мать алкоголичка и ей нужен нормальный уход. И по закону она не может быть ее мамой. И значит, за ней должен присматривать кто-то другой. А у ее отца нет этой возможности, потому что он — безработный.

Я говорю: «Подожди, подожди. Ты что, от нее отказаться решил?»

А он смотрит на меня и говорит: «Зато проблем больше не будет. Ну какая из вашей Татьяны мачеха?»

Я говорю: «Подожди, подожди. В детский дом?»

Он говорит: «Татьяне еще самой в куклы играть надо».

Я смотрю на него и опять говорю: «В детский дом?»

А он молча берет у меня документы и кладет их обратно в шкаф.

Я говорю: «Ах, вот так, значит?»

Потом иду к телефону и звоню своему сменщику.

«Слушай, Степанцов. Помнишь, я тебя выручила, когда у тебя сына в армию забирали?»

Он говорит: «Помню».

Я говорю: «Теперь ты меня выручай. Мне надо сейчас подмениться».

А он говорит: «Конечно, Ивановна. Только сегодня так и так я должен дежурить. Я ведь сегодня в ночь. Ты чего-то напутала».

Я ему говорю: «Ничего я не напутала. Мне надо сегодня в ночь вместо тебя выйти».

Он говорит: «Да?»

И замолчал. Потому что удивился очень.

Я говорю: «Ну, так как? Ты согласен?»

Он говорит: «Ну ладно. Только зачем?»

Я говорю: «Некогда объяснять. Потом расскажу».

Он говорит: «Ну хорошо. Тогда до послезавтра. У тебя ничего не случилось?»

Я говорю ему: «Пока, Степанцов».

И положила трубку.

Потому что нечего мне было ему объяснять. Что я могла сказать ему? Что я сама не знаю — что делать?

Потом пошла к девочке и стала ее собирать.

Она говорит: «На улице темно. Гулять уже поздно».

Я говорю: «А мы не гулять. Помнишь, ты спрашивала про мою работу? Хочешь сама ее посмотреть?»

Она говорит: «Хочу».

Я говорю: «Ну, тогда быстрее одевайся».

Тут появилась Татьяна.

«Мама, что ты задумала?»

Я говорю: «Это вы что задумали?»

Она говорит: «Мама, перестань вести себя как ребенок».

Я говорю: «Как ребенок? Значит, меня тоже куда-нибудь решили упечь?»

Она говорит: «Мама, давай все нормально обсудим».

Я посмотрела на нее и говорю: «Валерка с тобой никогда бы так не поступил».

А девочка стоит рядом со мной, уже вся одетая, и говорит: «Можно, я куклу с собой возьму?»

И я говорю Татьяне: «Видишь, ребенок уже собрался. Отойди, не мешай».

Раскладушку я ей поставила за аппаратами. Так, чтобы не было видно, если кто войдет. Она походила немного, посмотрела на разные лампочки и сказала, что хочет спать. А я сижу сама не своя, не знаю — что буду завтра делать.

Она говорит: «А зачем мы сюда пришли?»

Я говорю: «Ты знаешь, я не могу тебе пока объяснить. Это очень сложно. Давай я тебя спать положу. А завтра мы с тобой во всем разберемся».

Она говорит: «А почему ты плачешь?»

Я говорю: «Я не плачу. Это у меня просто глаза блещут. На работе всегда так».

Она говорит: «А у других, когда блещут глаза — они плачут».

Я говорю: «У всех по-разному».

Она улеглась на раскладушку и говорит: «Я домой хочу».

Я говорю: «Завтра пойдем».

Она говорит: «Кукле здесь неудобно».

Я говорю: «Давай мы ее вот сюда на кресло положим. Здесь мягко».

Она говорит: «Нет. Ей там плохо будет одной».

И тут в аппаратную входит Николай Григорьевич. Я еле успела к нему выскочить из-за шкафа.

Он меня увидел и говорит: «О, Ивановна. А я думал — сегодня Степанцов должен работать в ночь».

Я говорю: «Он попросил его подменить. Что-то у него опять с сыном».

Николай Григорьевич говорит: «На побывку уже приехал? Надо же, как время летит».

Я говорю: «Да».

Он присел на стул и улыбнулся.

«А ты знаешь, я ведь решил не жениться».

Я говорю: «Да?»

Он говорит: «Ну. Посидел так, знаешь, подумал, и решил — да ну этого депутата вместе с его дочками. Он ведь не один депутат. Там их целая Дума. Найдем кого-нибудь другого, без выблядков».

Я говорю: «Вам видней».

И вот тут из-за шкафа выходит моя девочка. В трусиках, в маечке и босиком. А пол ужасно холодный.

Она смотрит на нас и говорит: «Я писать хочу».

Николай Григорьевич молчал, наверное, полминуты. Я успела ей платице и колготки надеть — он только тогда очнулся.

«Ну ты, Ивановна, блядь, даешь».

Я говорю: «Не матерись. Не видишь — здесь дети».

А он как будто меня не слышит: «Ну, ты даешь. Ты что, совсем охуела? У нас же секретность. У нас режимное предприятие. Какого хера ты притащила ее сюда?»

Я говорю: «Ты почему матерись? Я же тебе сказала — здесь дети».

А он говорит: «Ты охуела».

И тут я ему говорю: «А почему это ты все время мне «тыкаешь»? Я старше тебя в два раза. Если бы у моего Валерки получались пацаны, то у меня бы сын был сейчас — твой ровесник. Вот он бы пришел и за такие слова

так бы тебе набил твою морду, что ты навсегда забыл бы и думать про депутатов, про их дочек и про то, с какой стороны у тебя этот самый хер. Не слушай меня, Оля. Давай собирайся. Мы уходим домой».

Он смотрит на меня и наконец начинает понимать.

«Подожди, Ивановна. Как это, ты уходишь домой? Куда ты уходишь? А связь? Нас через полчаса Москва ведь начнет долбить. Кто будет следить за аппаратурой?»

Я говорю: «Ты же остаешься. Вот ты и будешь следить».

А он говорит: «Ивановна, перестань. Я же не умею. Ты двадцать лет здесь работаешь».

Я говорю: «Тридцать. А ты попробуй, вспомни — чему тебя в твоём институте учили. Ты же сам говорил — кнопки нетрудно нажимать».

И застегнула на девочке на моей пальто. Сама одевалась уже в коридоре. А он рядом со мной до самого первого этажа вприпрыжку бежал.

«Ивановна! Ивановна! Ну ведь косяк же будет. Меня повесят».

Я говорю: «Ничего. У тебя вся жизнь еще впереди. Привыкнешь».

Потом приехала домой, оставила девочку у себя в комнате, разбудила зятя и говорю — так, мол, и так, переоформляй ее на меня. А не нравится — выметайся из моего дома.

Татьяна тоже проснулась. Говорит: «Мама, ты чего?»

А я опять говорю: «Не нравится — выметайся из моего дома. Я что, специально горбатилась тридцать лет, чтобы ты тут, такой красивый, на моем диване лежал? Тоже мне, дуру нашли. Выметайся из моего дома».

Он наконец проснулся и говорит: «А до утра нельзя подождать?»

Я говорю: «У меня теперь нет времени ждать, когда ты проснешься. Я на пенсию вышла. А пенсионерам на-

до спешить. У них как на фронте — год за два. Так что мне некогда с тобой разговаривать. Время идет. Переоформляй или выметайся. Рядом с подъездом стоит такси. Я попросила шофера, чтобы он тебя подождал».

Через полчаса я наконец уложила мою девочку в постель. На кухне сидел заспанный зять со своими бумагами, а в коридоре из угла в угол ходила Татьяна.

Как Наполеон перед битвой при Ватерлоо.

«А почему они не спят?» — спросила девочка, открывая глаза.

«Уснут, — сказала я. — Просто им чего-то не спится. У взрослых бывает. А тебе уже давно пора спать. Давай закрывай глазки. Завтра утром проснешься — и пойдем в «Детский мир». Куплю тебе новую куклу. Таковую же, но с ногой».

Она снова открыла глаза и зевнула.

«Мне не надо другую. Я эту люблю».

«Хорошо, — сказала я. — Значит, будет эта».

ОЛЕГ
РОЙ



ЧИСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Ненаписанный роман



Кто-то из великих утверждал, что наша жизнь — не что иное, как череда случайностей. И, похоже, был во многом прав. Действительно, нет такой судьбы, в которой хоть раз не сыграл бы свою роль, счастливую или роковую, Его Величество Случай. У кого-то такое приключается раз или два в жизни, но, как говорится, редко, да метко, а на кого-то случайности сыплются как из рога изобилия, определяя каждую перемену, каждую вежу, каждый малейший эпизод его биографии. Именно так и происходило в жизни Вани Кулешова. Первое время он изумлялся подобному стечению обстоятельств, но вскоре привык. И в самом деле — стоит ли удивляться роли случайности в твоей судьбе, если даже само твое появление на свет оказалось чистой случайностью?

Ваня родился только из-за того, что двадцать четыре года назад его мама Тата, тогда еще восемнадцатилетняя студентка института легкой промышленности, поссорилась со своим молодым человеком Мишей Ивановым. Миша учился в архитектурном, был художником по призванию и все свое свободное время уделял изготовлению статуэток в стиле «гжель». Надо отдать Мише должное — его бело-синие фарфоровые поделки были настоящими произведениями искусства, они выходили не то что не хуже, а даже лучше многих работ профессиональных гжельских мастеров. Даже крупные специалисты и те восхищались фантазией автора, оригинально-

стью его творческих решений и тонкостью прорисовки каждой детали. Миша и сам был без ума от своих изделий и относился к каждому из них с истинным душевным трепетом. Будь на его месте другой человек, тот давно бы уже заработал кучу денег своим ремеслом — но не Миша, только не Миша Иванов! Тому было отчаянно жаль расставаться со своими творениями, продавать их и уж тем более дарить кому-то. Несколько раз бывало, что родные или знакомые совсем уж уговаривали его, и Миша почти решался на сделку, сулившую немалую прибыль... Но всегда в последний момент шел на попятную. То он приходил к мысли, что с изготовлением вот этого подсвечника у него связано слишком много дорогих сердцу воспоминаний; то решал: вот этот корабль настолько уникален по своей задумке и исполнению, что достоин более лучшей участи, чем пылиться на комодике у маминой сослуживицы; то ему вдруг казалось, что вон та милая свинка вдруг посмотрела на него совершенно человеческими глазами, в которых он прочитал мольбу не продавать ее... Словом, так или иначе, Миша никак не мог расстаться со своими творениями, которые все увеличивались и увеличивались в числе, постепенно заполняя собой родительскую квартиру. Когда нигде в доме, включая ванную и туалет, не осталось уже ни одной поверхности, не заставленной синими белыми фигурками, Миша вдруг влюбился. Тоненькая и изящная, как статуэтка, красавица Тата покорила его сердце настолько, что творец даже решил отказаться от своих принципов. В день ее рождения, удачно пришедшийся на первую же субботу после окончания летней сессии, Миша преподнес Тате вазочку собственной росписи, над которой работал на целую неделю дольше обычного. Все гости Таты были в восторге от такого подарка, но больше всех восхищалась подруга именинницы Марина, которая даже не знала, что ей понравилось больше — вазочка или ее автор, поскольку с Мишей

они на этой вечеринке увиделись впервые. Но так как создатель шедевра был парнем ее подруги, а отбивать у приятельниц кавалеров было не в правилах Марины, то она взяла себя в руки и волевым усилием загнала новорожденную влюбленность на самое дно своего сердца. И почти убедила себя в том, что рада счастью подруги — вон как Татка прямо светится вся, любуясь вазочкой!

Тата и впрямь была очень довольна презентом. Однако вечером, когда все гости, включая Мишу, разошлись, она, к своему удивлению, не обнаружила гжельской вазы на журнальном столике, на который весь вечер складывала свои подарки. Именинница искала вазочку везде, напридумывала себе всяких ужасов, что, наверное, кто-то из гостей случайно разбил ее и втихоря выкинул осколки, и в итоге так испереживалась, что решила, несмотря на позднее время, позвонить Мише и рассказать о своем горе. И каково же было ее удивление, когда кавалер абсолютно честно, на голубом глазу, признался, что это он забрал вазочку назад! Просто, как сказал Миша, не смог с ней расстаться, она ему слишком дорога. Оскорбленная Тата бросила трубку. Давно она так не злилась! Когда на следующее утро Миша перезвонил ей, Тата заявила, что между ними все кончено, что вместо запланированного ими совместного отдыха в Ялте она отправится на все лето к своим родным в Питер, которые давно зовут ее в гости, и что она просит Мишу навсегда забыть ее телефон.

Так вышло, что горе Миши было недолгим. Вскоре он абсолютно случайно столкнулся на улице с Мариной (да-да, той самой!), начал с ней встречаться и меньше чем через год женился на ней. С Татой он больше не виделся, поскольку оба были обижены друг на друга — он не простил ей нового романа, она ему — сначала вазочки, а потом скорой свадьбы с подругой. С женой Мише очень повезло. И не только потому, что Марина оказа-

лась славным человеком и отличной хозяйкой. В придачу ко всем этим достоинствам ей досталась в наследство от бабушки большая квартира в старом доме с высоченными потолками — и любящая жена пошла на то, чтобы выделить самую большую комнату под склад-выставку творений своего мужа, который по-прежнему берег их с тщательностью Кощея, чахнувшего над своим златом.

Помимо внушительной коллекции гжели, Марина и Миша Ивановы за двадцать с лишком лет нажили еще и двоих детей, сына Антона и дочь Ольгу. И несмотря на то что у брата с сестрой была разница в возрасте менее года, а внешне они были так похожи, что их часто принимали за близнецов, в их характерах не оказалось вообще ничего общего. Можно сказать, просто диаметрально противоположности. Антон рос скромным, замкнутым, застенчивым и мечтательным и даже с возрастом не растерял всех этих качеств. Он работал помощником вице-президента крупной компании и втайне был влюблен в свою начальницу, Татьяну Владимировну, которая была намного старше его. Своей тайной он не делился ни с кем. Антон вообще был очень скрытен по натуре, даже дома ничего о себе не рассказывал. Совершенно случайно попав на работу в эту фирму, он из обычного клерка, ради того, чтобы быть рядом с возлюбленной, дослужился до ее помощника — поставил себе цель и всеми усилиями ее добивался. Он старался изо всех сил, работал, чтобы она заметила его усердие, но она ни о чем не догадывалась, воспринимая все как должное, и Антону только оставалось молча страдать, наблюдая за тем, как женщина его мечты меняет любовников как перчатки. Ну чем он хуже их всех? Взять хотя бы последнего — безмозглого волосатого байкера! Как она могла опуститься до такого убожества?! Тоже мне, Ночная пантера — ужас, летящий на крыльях ночи!..

Пока Антон витал в облаках с мечтами о своей начальнице, его сестра Оля времени даром не теряла. Со-

здавалось впечатление, что Оля — самая прагматичная и расчетливая девушка на планете. Вся ее жизнь была просчитана и распланирована на годы и годы вперед. В первом классе она случайно узнала о существовании золотых медалей за успеваемость и запланировала, что через десять лет у нее такая обязательно будет. Школу она окончила круглой отличницей. Вуз она выбрала еще в седьмом классе и с успехом туда поступила, уже начиная строить планы по поводу своего дальнейшего будущего прямо на первом курсе: после окончания института она даст себе месяц отдыха, после чего отстрижет челку, покрасится в брюнетку и устроится на хорошую работу... И не будет в таком сложном деле полагаться, как ее рохля-братик, на случай, а воспользуется связями родителей и их знакомых.

Оля жить не могла без планеров, ежедневников и записок-напоминалок на холодильник. Например, она не могла позволить себе такой роскоши, чтобы, ничего не обговорив накануне, сорваться с друзьями на дачу или сходить в кино. Никаких сумасбродств и внезапностей она себе не разрешала: жизнь — это слишком серьезная штука, она требует внимательного и тщательного подхода.

Когда в двадцать один год Оля познакомилась со Славой и он проводил ее домой после дня рождения общей подруги, Оля запланировала, что они со Славой обязательно поженятся, поскольку он подходит ей по всем параметрам. Слава действительно скоро стал ее молодым человеком, но, увы, когда до свадьбы оставалось меньше месяца, влюбленные расстались — Слава просто не выдержал прагматичности своей избранницы. Он почувствовал, что еще слишком молод, чтобы воспринимать жизнь так серьезно, как она, и строить планы не только на годы вперед, но и на каждый свой будущий шаг. А ведь Марина чувствовала, что этим кончится, и много раз уговаривала дочь, чтобы та изменила

свои принципы в жизни, чтобы хоть раз пустила все на самотек и позволила судьбе повести ее за руку... Но Оля и слышать ее не хотела. Ее разрыв со Славой произошел в конце февраля, а шестого марта в почтовом ящике Ивановых вдруг обнаружилось письмо, адресованное Оле: красочная открытка с поздравлениями, словами любви, приглашением на свидание в Международный женский день в модном ресторане «Russian Style». И без подписи. Совершенно непонятно, кто мог быть отправителем такого письма. Может, конечно, Слава, но как-то сомнительно...

— Пойдешь? — спросила Марина, когда дочь пересказала ей содержание письма.

— Вот еще! — фыркнула Оля, но голос ее звучал как-то не очень уверенно.

— Ну и зря! — проговорила мать. — Я бы на твоём месте пошла. Да не то чтобы пошла — просто побежала бы! Сколько можно жить по строгому графику, точно ты не человек, а компьютер? Иногда надо позволить себе хоть маленькое сумасбродство. А то так пройдет молодость, а за ней и вся жизнь, а тебе и вспомнить будет нечего!

Поглядела на дочь — и с изумлением увидела, что та внимательно прислушивается к ее словам. Обычно для Оли мнение родителей было не слишком значимо, но сегодня, похоже, все обернулось иначе...

Впрочем, оставим пока в покое семейство Ивановых и вернемся к другим персонажам этой истории, а именно к Ване Кулешову и его маме. Как читатели, надеюсь, еще помнят, за девять месяцев до рождения сына Тата отправилась на каникулы к родным в город, тогда еще звавшийся Ленинградом, где в одну из белых ночей и познакомилась по чистой случайности с мужественного вида загорелым блондином лет сорока. У блондина были пронзительно-синие глаза, внешность киногогероя и киношная же профессия — сценарист. Во всяком случае, так он утверждал, тут же добавляя при

этом, что ни один из его сценариев пока не был снят, поскольку раньше их не пропускала цензура. Но теперь, когда наконец-то подул ветер перемен, он уже вот-вот, буквально завтра, станет необычайно знаменит. Эти слова, ночная прогулка по сказочно-прекрасным набережным и весь прочий романтический ореол нового знакомства так подействовали на Тату, что, когда белая ночь сменилась серым рассветом, она уже влюбилась настолько, что согласилась провести следующее свидание дома у блондина. Блондин обитал в одной из печально знаменитых питерских коммуналки, и в его комнате почему-то постоянно обнаруживались женские вещи, хотя он и утверждал, что холост и одинок... Состоялось несколько пылких свиданий, после чего блондин отчего-то перестал ей звонить. Тата, как водится, сначала поплакала, а потом успокоилась. Вернувшись в конце лета домой, она столкнулась с новыми неприятностями. Во-первых, узнала, что Миша встречается с Мариной. И хотя Тата сама утверждала, что на Мишу ей глубоко и полностью наплевать, однако восприняла известие об их романе как вероломство и прекратила всяческое общение не только с бывшим парнем, но и с подругой.

Впрочем, это были еще цветочки. Уже в августе Тата заподозрила, что беременна, а в сентябре ее опасения полностью подтвердились. Совершенно растерявшись, девушка рассказала обо всем родителям — и те дружно отговорили единственную обожаемую дочурку от аборта. Мама с папой у Таты были людьми обеспеченными, прокормить не одного ребенка, а двоих (и прокормить не хлебом с водой, а икрой и балыком) для них не составляло особой проблемы. А первый аборт, как известно, не только вреден, но и опасен...

И восемнадцатилетняя Тата решила оставить ребенка. Родители сдували с нее пылинки, устроили, используя свои связи, в лучшую по тем временам клинику, оснащенную суперсовременным оборудованием, где

имелось даже такое новейшее слово техники, как ультразвук. Диагностика показала, что будет девочка. Ася, мечтавшая именно о дочке, очень обрадовалась. Малышку решено было назвать Маргаритой — в честь Татиной бабушки, и вся семья Кулешовых с энтузиазмом принялась за подготовку к рождению Риточки. Время было непростое, суеверие не покупать ничего заранее считалось непозволительной роскошью, да и понятия «купить» тогда не было, было понятие «достать». И потому в доме Кулешовых задолго до Татиных родов появились розовая коляска, кровать с кружевным балдахином, множество кукол, включая дефицитнейшую Барби, и целая гора платиц, туфель, кофточек, розовых распашонок, чепчиков и ползунков — все новенькое, хорошенькое, в большинстве своем заграничное.

Врачи назначили предполагаемой датой родов двадцатые числа марта. И так, наверное, и получилось бы, если б не очередная случайность. Седьмого марта Тата под руку с мамой вышла на улицу прогуляться и подышать свежим воздухом — и вдруг во дворе на них бросилась злющая собака бойцовой породы, которые как раз в то время начали входить у нас в моду. Бедная Тата так перепугалась этого монстра, что в тот же вечер ее отвезли в больницу с преждевременными схватками. К счастью, все обошлось, Тата не пострадала, ребенок, появившийся на свет рано утром восьмого марта, родился живым и здоровым.

— Поздравляем, у вас мальчик! — радостно сообщили врачи измученной, но счастливой юной матери.

— Как мальчик? — ахнула Тата. — Не может быть! У меня девочка была! Вы что-то путаете!

— Да вот же смотрите сами!

Ей предъявили малыша в таком ракурсе, который не вызывал никаких сомнений в половой принадлежности. Но Тата все равно не успокаивалась.

— Но как же так? У меня ведь и УЗИ показало, что девочка...

— Такое иногда бывает, — утешила опытная врач. — Плод в животе повернулся как-то не так — вот вам и ошибка. Случайность...

В итоге новорожденный мальчик при выписке мамы из роддома вынужден был довольствоваться розовым конвертиком и розовыми пеленками. А Кулешовы тем временем спешно подбирали ему имя. Папе хотелось, чтобы внука звали Сергеем, бабушка была без ума от имени Артур, Тате же нравились модные имена, такие как Денис, Егор или Никита. После долгих споров договорились все-таки до Сергея. Тата пошла в загс регистрировать ребенка и по дороге случайно встретила молодую маму, кричавшую бутузу лет трех: «Ваня! Ванечка, не беги!»

«А какое хорошее имя — Ваня! — подумала, услышав, Тата. — Ваня, Ванечка, Иван... Пожалуй, я тоже так сына назову». И назвала.

Так, с цепи случайностей, началась Ванина жизнь. И чем дальше, тем этих случайностей происходило все больше и больше. Бывало, конечно, что обстоятельства складывались не в его пользу — например, в школе вызывали к доске именно в тот раз, когда он абсолютно не был готов. Зато на экзаменах везло необыкновенно. То достался вопрос, который только накануне однокашники подробно обсудили в коридоре, то билет упал со стола экзаменатора и перевернулся номером вверх, а Ваня запомнил место, на которое его вернули, то (это уже на вступительных испытаниях в вуз) соседкой по столу оказалась добрая отличница, которая помогла с решением всех задач.

Кстати о вступительных экзаменах — в институт Ваня тоже поступил по чистой случайности. Он стоял на остановке, с твердым намерением ехать в приемную

комиссию Бауманского университета, но тут его окликнули двое бывших одноклассников. Они, оказывается, тоже ехали подавать документы, только в Плешку. Позвали Ваню с собой за компанию, он и поехал. Самое интересное, что оба приятеля экзамены провалили, а Ваня совершенно случайно поступил, волею судеб набрав необходимое число баллов.

Для его мамы поступление сына в Плехановскую академию стало настоящим подарком. Она давно мечтала, чтобы он окончил именно этот вуз, но сын, страстно увлеченный, как и многие его сверстники, компьютерами, грезил о карьере программиста, и она с ним не спорила. За те годы, пока рос Ванечка, жизнь его мамы сильно изменилась. Она так и не вышла замуж — но, как утверждала, совсем не потому, что не было желающих взять ее в супруги, а потому, что сама не желала «надевать хомут на шею». Семейная жизнь, с ее обыденностью и размеренностью, скучным ведением хозяйства и неизбежными скандалами, совсем не привлекала Тату. С годами она еще больше похорошела, из тоненькой наивной девочки превратилась в стройную, уверенную в себе, стильную женщину. Вскоре после рождения Вани Тата, используя родительские связи и деньги, решила открыть собственное дело и в результате к тридцати пяти годам стала владелицей крупной торговой компании, прочно удерживающей в своем сегменте рынка одно из первых мест. Естественно, у такой женщины не было недостатка в поклонниках. Но сорокалетние красавцы ее больше не интересовали — раз ожегшись, Тата переключилась на мужчин более молодых. С ними ей было проще — и встречаться, и расставаться.

Дороже всех мужчин на свете для Таты был и оставался сын. Осознавая, что мальчик давно вырос и вышел из нежного возраста, она все равно продолжала баловать его и закрывала глаза на все его «художества». Прилежным студентом Ваня не был, и то, что он все-та-

ки получил диплом, тоже было чистой случайностью — несколько раз он чуть не вылетел из своего вуза, но все время вмешивалась судьба. После окончания Плехановской академии мама хотела устроить его экономистом в компанию своих партнеров, но накануне собеседования Ваня наткнулся в Интернете на объявление о вакансиях в компьютерной фирме, отправил свое резюме по указанному адресу и неожиданно получил предложение работы. Зарплата на этом месте была ниже той, которую обещали знакомые Таты, но зато не требовалось присутствие от звонка до звонка, а для Вани это было гораздо важнее. Деньги — что? С деньгами и мама может помочь. А вот то, что не надо каждое утро, высунув язык, мчаться к десяти ноль-ноль на службу, а можно поспать до одиннадцати, а то и до полудня, — это огромный плюс. Поспать Ваня всегда любил, ложился чем позже, тем лучше, и рано вставал с огромным трудом, подъем до десяти часов был для него равносителен подвигу.

Именно по дороге на работу, таким вот «утром», которое для большинства трудящегося народа считается уже серединой дня, Ваня познакомился с Лелей, невысокой, но очень складной девушкой с толстой русой кожей. Леля опаздывала в институт и голосовала около метро, он проезжал мимо на своей «Инфинити», остановился, подхватил ее и вместо денег за проезд взял лишь номер ее мобильного. Леля потом не раз говорила, что они встретились по чистой случайности — если бы она накануне не засиделась в кафе после концерта любимой группы, не осталась бы ночевать у подружки и не проспала бы утром все на свете, они с Ваней никогда бы не познакомились. Но так или иначе встреча состоялась, за ней последовала другая, уже не случайная, потом третья... Вскоре молодые люди поняли, что влюблены друг в друга. Вернее, это поняла Леля. Ваня же воспринимал происходящее как само собой разумеющееся и особенно ни о чем не задумывался, поскольку был уверен —

судьба все равно все знает за него и в нужный момент сама приведет туда, куда надо.

Однажды вечером влюбленные гуляли по красиво освещенным улицам центра Москвы. Леля была оживлена и болтала, не умолкая, Ваня, напротив, выглядел задумчивым, но размышлял он, признаться, не о судьбах мироздания и даже не об отношениях с любимой девушкой, а о новой компьютерной игре, которая ждала его дома. Прикидывая про себя, как лучше пройти очередную сложную миссию, он вполуха слушал Лелю, кивая и иногда поддакивая ей, но толком не вникая в то, что она говорит.

В какой-то момент пара оказалась рядом с витриной магазина свадебных платьев. Леля замедлила шаг, любуясь выставленными за стеклом белоснежными нарядами.

— Красиво, правда? — спросила она.

— Угу, — на автомате согласился Ваня.

— Как думаешь, вон то, с пышной юбкой, мне пойдет? Или лучше вот это, с вырезом на спине, да?

— Да.

— Скажи, — Леля лукаво покосилась на своего спутника, — а у меня когда-нибудь будет повод купить какое-нибудь из этих платьев?

— Конечно! — бодро заверил Ваня, даже не вслушиваясь в ее слова.

— И скоро?

— Угу...

— Неужели? — Леля взвизгнула от радости и повисла у него на шее. — Ты делаешь мне предложение?!

Только после этого Ваня опомнился и теперь, как он сам выражался в подобных случаях, медленно втекал в происходящее. Но было уже поздно. Сказать девушке в такой момент: «Нет, извини, я не буду на тебе жениться!» показалось ему неудобным. Так что, видимо, получалось, что Леля — это его судьба. Ну что ж, оче-

редная случайность, наверное, привела его туда, куда нужно...

Подготовка к свадьбе, как обычно, вышла очень суматошной. И, как нередко это бывает, львиную долю хлопот взяли на себя невеста и ее родители. Ванина мама, которой не слишком нравилась будущая сноха, как-то не горела желанием что-либо организовывать, да и от самого Вани в этом деле было не слишком много толку. Он даже мальчишник не сумел отпраздновать как следует. Хотелось собрать всех друзей, но в тот день не мог один, в этот — другой... И в результате проводы холостяцкой жизни пришлось на пятницу, то есть на вечер накануне свадьбы. Гуляли допоздна и очень весело, даже слишком. В субботу утром, с огромным трудом продрав глаза после настойчивого звона будильника, Ваня запоздало сообразил, что опаздывает — расписывать их должны были в одиннадцать тридцать, а на часах уже больше десяти. Наспех одевшись в заранее подготовленный мамой нарядный костюм (самой Таты не было дома, она должна была приехать позже, с какой-то деловой встречи уже прямо в ресторан), Ваня выбежал из дома, перевалился через сугроб на дорогу и тормознул первую попавшуюся тачку — о том, чтобы самому вести машину в состоянии такого похмелья, не могло быть и речи.

— Адмирала бы-бы-ва-ба, сорок пять, второй подъезд... — кое-как выговорил он, с трудом ворочая языком. — Скорее! Штуку даю.

— Какого-какого адмирала? — не понял водитель.

— Бы-бы-ва-ба, — так же нечленораздельно произнес Ваня.

— Макарова, что ли?

— Угу, — машинально кивнул Ваня.

— Ну садись, погнали...

В машине вовсю жарила печка, было душно, жених, так и не пришедший в себя, уснул и благополучно про-

спал всю дорогу. Доехав до места, водитель растолкал его, Иван, толком не успев проснуться, расплатился, вышел из автомобиля... И только через некоторое время осознал, что находится совсем не там, где надо. Перед ним действительно был дом номер сорок пять — но не по бульвару Адмирала Ушакова, где жила его невеста Леля, а по улице Адмирала Макарова. Вот черт! Ваня полез в карман за мобильником, но карман был пуст. Собираясь впопыхах, он забыл сотовый дома. Ваня попытался восстановить в памяти номер телефона Лели, но это было совершенно бесполезно, не получилось даже вспомнить первых цифр кода оператора. У него всегда была плохая память на цифры, а Лелин номер он видел всего единственный раз, когда вводил его в память своего мобильного.

К тому времени, как Ваня все-таки добрался с «Водного стадиона» в Южное Бутово, все сроки уже давно прошли. Бедная невеста, не находившая себе места от волнения, каждую минуту пыталась ему дозвониться, в конце концов отправилась в загс без жениха, напрасно прождала его там и ни с чем вернулась домой. Можно ли представить себе что-то более ужасное для юной девушки? Неудивительно, что, когда Ваня все-таки появился и принялся сбивчиво рассказывать, что с ним произошло, Леля его даже не дослушала и захлопнула дверь перед самым его носом. И сколько Ваня ни звонил ей потом, трубку она не брала.

Незадачливый жених огорчился, но не слишком. Кончался февраль, в воздухе запахло весной, весело зачирикали воробьи, ярче засияло и пригрело солнышко, выросли и зазвенели капелью сосульки... Все это означало, что скоро придет тепло, а вместе с весной — и день рождения Вани. Мама давно интересовалась, что подарить любимому сыночку, и тот в конце концов оставил свой выбор на ружье. Осенью Ваня, случайно, разумеется, попал вместе со знакомыми на охоту и так

заинтересовался этим занятием, что даже получил разрешение на приобретение оружия. Мама немного поволновалась: «А не опасно ли это?», но все-таки вручила сыну шестьдесят тысяч рублей. Накануне праздника Ваня отправился покупать себе подарок — и через час вернулся домой с чехлом. Однако внутри оказалась совсем не двустовка. Развернув покупку, сын продемонстрировал маме роскошную электрогитару.

Казалось бы, Тата должна была обрадоваться, что ее мальчик отказался от опасной игрушки. Но вместо этого, увидев инструмент, она побледнела. Потому что именно эту самую гитару, эксклюзивную, существующую в единственном экземпляре, она сама приглядела в подарок, но не сыну, а своему последнему увлечению, длинноволосому фанату рока и мотоциклов, у которого по чистой случайности день рождения был через неделю после ее сына. На вопрос, как Ваню угораздило перепутать ружье с гитарой, тот честно ответил, что шел в оружейный салон, но случайно услышал по дороге, как какой-то парень очень здорово наяривает на электрогитаре в музыкальном магазине по соседству. Ваня зашел послушать, и ему вдруг тоже страстно захотелось иметь музыкальный инструмент. Он выбрал «самую клевую» из гитар и вот купил. Тата не смогла сдержаться и накинулась на сына, мол, так жить нельзя: нельзя пускать все на самотек и существовать только благодаря подаркам судьбы! Ване нужно хоть что-то сделать самому! Хоть раз продумать все от начала до конца и сделать!

В ответ Ваня принялся защищаться классическим методом «samdurak». Он припомнил маме, что и сама она частенько живет по такому же принципу случайности. Более всего Ваня намекал на встречу с ее новым молодым любовником Андреем по прозвищу Ночная пантера, в мотоцикл которого Тата врезалась на перекрестке на своем «БМВ», и это столкновение обернулось нежданной страстью. Но на все упреки взрослого

сына у Таты был один очень веский аргумент: она, какая бы она ни была, является главой крупной компании, а он, Ваня, несмотря на свои двадцать три года, ничего из себя не представляет, зарабатывает копейки и продолжает сидеть на ее шее, надеясь на авось. Этот наезд стал последней каплей. Ваня заявил, что заработанных им копеек хватит на то, чтобы снимать квартиру, а не жить в доме, где его попрекают куском хлеба, хлопнул дверью и ушел.

И даже снимать квартиру ему не пришлось. Первый же приятель, которому Ваня позвонил, чтобы пожаловаться на свою горькую судьбу, сообщил, что они с его девушкой решили начать жить вместе, а так как у девушки тоже есть квартира, то друг вполне может на какое-то время пустить Ивана в свою. Ваня перебрался к нему, но одинокая жизнь вдали от маминой заботы и материальной поддержки совсем не пришлась ему по душе. Питаться он был вынужден кое-как, денег на рестораны не хватало, на помощницу по хозяйству, такую, как у них дома, тем более. За какую-то неделю Ваня отощал, зарос грязью и окончательно загрустил. В голову стали лезть разные неведомые ранее мысли. Например, о Леле. Правильно ли он сделал, что перестал звонить ей? Ведь он очень и очень виноват перед своей невестой, наверное, все-таки следует если не помириться с ней, то хотя бы добиться прощения. Вот только как это сделать? Трубку она не берет, на эсэмэски не отвечает, из аськи и из друзей в «Живом Журнале» она его удалила...

Решение пришло, как всегда, спонтанно. В один из вечеров показывали какой-то фильм из старинной жизни, и, наблюдая за тем, как героиня, вся из себя в душевном трепете, читает письмо от возлюбленного, Ваня подумал: а почему бы и ему не воспользоваться почтой? Не электронной, а обычной? Сказано — сделано. На следующее же утро он купил самую красивую открытку, написал на ней нежные слова (без тени намека на досадный

инцидент, просто объяснение в любви) и добавил, что будет ждать Лелю восьмого марта в ресторане «Russian Style», где уже заказал для них столик. И подписываться не стал — зачем, она и так все поймет.

«Только бы не ошибиться с адресом, как в прошлый раз», — подумал он. Аккуратно вывел на конверте «Ольге Ивановой» — это было полное имя Лели, и машинально написал вместо «Адмирала Ушакова» «Адмирала Макарова». Не заметив своей ошибки, бросил по дороге на работу письмо в ящик и с легким сердцем стал ждать восьмого марта.

Ресторан «Russian Style» Ваня выбрал не случайно — это было любимое заведение его мамы. Начав жить один, Ваня часто думал о ней — вот и вспомнил по ассоциации про местечко, где Тата часто встречалась с кем-то в неформальной обстановке. Неудивительно, что такая мысль пришла в ее голову и накануне Международного женского дня. К тому моменту они стали редко видаться с Ночной пантерой, их пылкие отношения как-то слегка поостыли, и Тата решила добавить в них нотку разнообразия и романтики. Она просила секретаря заказать столик в «Russian Style» на вечер восьмого числа и накануне, расслабившись на массажном столе в салоне красоты, взяла в руки мобильный и стала набирать текст электронного сообщения.

«Не сомневаюсь, что ты хочешь поздравить меня с праздником. Можешь сделать это завтра в семь в ресторане «Russian Style», где заказан столик для нас двоих. Мне кажется, нам давно пора встретиться и поговорить по душам».

— Татьяна Владимировна, поверните, пожалуйста, на спину, — попросила в этот момент массажистка.

— Сейчас, только эсэмэску отправлю, — отвечала Тата. Нажала кнопку, включила на дисплее записную книжку, но заторопилась и вместо записи «Андрей Ночная пантера» по ошибке выбрала другую — «Антон

Иванов». И сообщение улетело к ее преданному помощнику...

Можно представить себе изумление Татьяны, когда за заказанным столиком она вместо своего длинноволосого приятеля, круглый год не вылезавшего из кожаной косухи, увидела Антона — в лучшем костюме, в белоснежной рубашке, с огромным роскошным букетом роз.

— Ты? — ахнула она. — Но как ты тут оказался?

— Вы же сами меня пригласили! — отвечал сияющий от счастья Антон. — Чтобы я мог поздравить вас с праздником. Вот, это вам!

И он вручил ей розы.

Ошеломленная Татьяна растерянно приняла букет, когда рядом вдруг прозвучало:

— Антошка, и ты тут? Какими судьбами?

К соседнему столику, на котором тоже стояла табличка «Стол заказан», подходили Миша и Марина Ивановы. После того как их дочь получила открытку с приглашением в ресторан, Марина вдруг задумалась о том, как давно они с мужем никуда не выбирались вместе, вдвоем. Пока дети были маленькие, ходили повсюду всей семьей. Потом дочь и сын подросли, у них началась собственная жизнь, но родителям все равно было как-то некогда сходить в ресторан, в театр или хотя бы на прогулку, вечера проводили в основном у телевизора да изредка в гостях или приглашая кого-то к себе.

«Нет, так дальше жить нельзя! — решительно сказала себе Марина. — Так вся жизнь мимо пройдет. Надо срочно что-то менять! Сейчас же закажу и для нас с Мишей столик на восьмое в каком-нибудь хорошем ресторане!» Открыла телефонный справочник в категории «Рестораны», ткнула наугад и по чистой случайности попала на название «Russian Style»...

— Мама и папа! — воскликнул Антон, когда прошел первый шок от удивления и прозвучали все объясне-

ния. — Познакомьтесь, пожалуйста, — это женщина, которую я давно люблю, Татьяна Вла... Татьяна.

— Да мы знакомы... — несколько растерянно проговорил Миша, рассмотрев наконец спутницу сына.

А Марина вскрикнула:

— Татка! Сколько лет, сколько зим! Чудесно выглядишь!

И расцеловала подругу юности в обе щеки.

А тем временем в другом углу ресторана произошла еще одна странная встреча. Оля, все-таки явившаяся на свидание с таинственным незнакомцем, сильно недоумевала по поводу того, что тот и впрямь оказался незнакомцем — ведь она никогда в своей жизни не видела Вани. Да и Иван, конечно, был немало удивлен, увидев вместо Лели за столиком другую девушку. Которая, впрочем, была не менее симпатична, чем Леля. И носила, как позже выяснилось, ту же самую фамилию. (А чему тут удивляться? В Москве больше ста тысяч Ивановых.) И жила так же в доме номер сорок пять и так же в пятьдесят седьмой квартире, только не в Южном Бутове, на бульваре Адмирала Ушакова, а на «Водном стадионе», на улице Адмирала Макарова. Вот такая получилась случайность. Это недоразумение разрешалось дольше всех других, но зато к финалу выяснений Оля и Ваня уже окончательно убедились, что все, что ни делается, происходит к лучшему. Даже если это происходит совершенно случайно.

Думаете, это конец истории? А вот и нет! Почему? Да потому, что однажды весенним вечером на шоссе в районе Воробьевых гор голосовала невысокая стройная девушка с толстой русой косой. Водители отчего-то не хотели брать попугачицу, машины одна за другой проезжали мимо, как вдруг около девушки остановился... нет, не автомобиль, а мотоцикл.

— Вас подбросить? — спросил длинноволосый молодой человек в черной косухе. — Или побоитесь?

— Не побоюсь! — задорно отвечала девушка. — Если, конечно, у вас есть второй шлем.

— Обижаете, — возмутился байкер, протягивая ей шлем. — Разве я могу подвергать риску такую прелестную девушку? Кстати, меня зовут Андрей, но друзья зовут меня Ночная пантера.

— А я Леля, — отвечала его случайная знакомая. — Можете застегнуть ремень?

Осенью Леля и Андрей поженились. Хотя это, конечно, тоже была чистая случайность.

МАША
ТРАУБ



СЧАСТЛИВЫЙ БРАК



Настя возвращалась с работы домой. Солнце припекло. Было так хорошо, как бывает только весной. Хотелось романтики, счастья, прилива жизненных сил, смеяться по пустякам и сделать сразу тысячу дел. Насте даже показалось, что птицы начали петь, а прохожие — улыбаться.

Ее обогнала пара — юноша и девушка. Они явно были влюблены так, как можно любить в восемнадцать. Чтобы сердце колотилось, руки тряслись, голод не чувствовался. Чтобы подскакивать в шесть утра, бежать, ехать, сходить с ума от того, что прошло уже десять минут, а любимый еще не позвонил. Умирать от разлуки, ждать, дергаться, рваться. Девушка смотрела на юношу влажными глазами лани и боялась лишний раз вздохнуть. Он крепко держал ее за руку и чувствовал себя мужчиной — совсем взрослым, опытным и сильным. Они побежали дальше по тропинке, куда-то торопясь, не замечая луж и всех вокруг. Насте на минуту стало жаль, что она уже никогда так не будет бежать, ныряя по щиколотку в лужи, с задранной на спине футболкой, и уже никогда не будет так смотреть на мужчину — покорно и доверчиво.

Через пятьдесят метров на тропинке между домами перед ней появилась еще одна пара — пожилые мужчина и женщина. Обоим было далеко за семьдесят. Они шли, крепко вцепившись друг в друга, склонившись головами и прильнув телами. Женщина то и дело прижималась к мужчине, а он бережно держал ее за локоть и забот-

ливо вел мимо луж. Они медленно шли, явно в парк на прогулку. Шли так, как ходят каждый день люди, давно и хорошо знающие друг друга, чувствующие каждый шаг другого. Прикипевшие, прильнувшие друг к другу душами и телами.

Настя смотрела на эти спины, и слезы наворачивались на глаза. «Вот она, настоящая любовь. Одна и на всю жизнь. Такое бывает. Бывает! — думала она. — Вот мое будущее, я буду точно так же идти рядом с мужем. Счастливые браки бывают!»

Поскольку Настя шла быстрее, чем эта прекрасная пара, то скоро оказалась за их спинами.

— Что ты говоришь? — почти кричала женщина. Видимо, она плохо слышала.

— Я говорю, что мне опостылел твой голос! — ответил тихо мужчина.

— Что? — прокричала женщина, не расслышав.

— Я говорю, опостылел! — закричал в ответ мужчина.

— Что? Суп остыл?

— Голос мне твой о-пос-ты-лел!

— Что ты кричишь? Говоришь в сторону, а я тебя должна слышать! Что я, по губам должна читать? Ты же знаешь, что я свой слуховой аппарат дома забыла!

— Ты и с аппаратом ничего не слышишь, — тихо ответил мужчина.

— Что?!

Настя обошла пару и пошла дальше. Не знала, то ли ей плакать, то ли смеяться. Птички перестали петь, а солнце выключили. Лужи стали просто лужами, а весна — промозглой слякотью.

«С другой стороны, это как посмотреть. Все зависит от ракурса. Лучше бы не подходила к ним на близкое расстояние», — оборвала она себя.

ПЬЯНАЯ СТЕРЛЯДЬ



Аня сделала то, что давно хотела, — вышла замуж. Так уж случилось, что мужа она нашла в Петербурге, куда приехала в компании друзей. То есть она ехала с подругой, подруга ехала с бойфрендом и со своей коллегой, которую сопровождал муж, причем явно чужой, что сути дела не меняло. Зачем Аня вообще согласилась на эту поездку, она плохо понимала.

Среди Аниных знакомых были те, которые обожали Питер, и те, кто его уважал, но не любил. Сама она относилась ко вторым. Наверное, сказала еще студенческая поездка на выходные с любимым на тот момент мужчиной, который как раз был из первых. Он мечтал показать Ане белые ночи, мосты, фонтаны, дворы-колодцы и музеи. Он мог подолгу стоять около каждой таблички на доме, каждой завитушки на фасаде. Аня в первую же белую ночь, промерзнув до костей, начала страдать циститом и ни о чем, кроме туалета, думать не могла. Частые позывы к мочеиспусканию разрушили любовь, и она сразу по приезде в Москву с любимым рассталась, впрочем, без всякого сожаления. Тот, кстати, так и не понял, что случилось, — ведь все было так прекрасно: удивительный город, пронизывающий ветер с Невы и сама Нева... Аня запомнила Питер по кафешкам, в которых был отвратительный кофе, зато были туалеты. И если молодого человека Аня спустя некоторое время вспоминала с некоторой теплотой, то Питеру свой цистит она простить так и не смогла.

И вот подруга предложила съездить на выходные. Аня рассказала подруге про цистит. Та долго хохотала и сказала, что за эти годы изменился не только Питер, но и сама Аня. В общем, Аня согласилась.

В туалет она захотела сразу же после прибытия поезда на вокзал. В ту же минуту Аня поняла, что Питер ее тоже не простил — обещали солнечный и почти безветренный день, но Аню встретил моросящий дождь и рекордное понижение температуры. Пока знакомые раскладывали вещи в снятой на выходные квартире и планировали культурную программу, Аня курила рядом с магазином, ожидая открытия. Она мечтала только об одном — купить свитер. И теплые колготки.

Купив все это, она переоделась прямо в примерочной, но ситуация уже была безнадежной — Аня хотела в туалет. Все время. Добежав до аптеки, купила лекарство, выпила таблетку и стала ждать результата.

Компания между тем стояла в очереди в музей, потом собиралась ехать в Петродворец и обедать в каком-то прекрасном ресторане. Они все время целовались, обнимались, смеялись и восторгались всем на свете. Аня, выпив еще одну таблетку, страдала. Ей хотелось залезть в горячую ванну, а потом под одеяло.

Все повторялось, как тогда, — Аня мерзла, в музеях и в кафе первым делом бежала в туалет. При этом ее ужасно раздражали целующиеся парочки, беспричинно хохочущие и тискающиеся, как подростки.

Правда, к обеду таблетки подействовали. Компания в это время сидела в ресторане с видом на Неву, и Аня впервые за все утро посмотрела вокруг себя не мутным, а вполне осмысленным взглядом.

Коллега ее подруги как раз в это время закричала и кинулась обниматься к мужчине, сидевшему за соседним столиком и оказавшемуся ее однокурсником. Мужчина, которого звали Сергей, пересел за их столик, рядом с Аней. Ему нельзя было отказать в обаянии. Выпив

водки и закусив солянкой, Аня начала оттаивать. Она даже почти согрелась и стала улыбаться.

Сергей вызвался показать те достопримечательности, которые может показать только местный житель, но тут у Ани опять случился приступ цистита, и она убежала в туалет. Когда она вернулась, за столиком остался только Сергей — подруга и коллега испарились. Аня была обречена на общество малознакомого мужчины. Она выпила еще таблетку, еще одну стопку водки и решила, что терять ей нечего.

— Ну что, еще посидим или погуляем? — спросил Сергей.

— Я хочу в горячий душ и под одеяло, — ответила Аня.

— Понял, — сказал Сергей и привез ее в свою квартиру, поскольку ключи от той, где остановилась Аня, были то ли у подруги, то ли у коллеги.

Аня отогрелась в душе и сидела на кухне, завернувшись в теплый плед. Может, таблетки подействовали, может, вино, которое они пили с Сергеем, но Аня осталась у него на ночь и на следующий день, едва успев к поезду. Сергей не звал ее гулять по городу и не требовал, чтобы она вылезала из постели. Так что Анина мечта, можно сказать, сбылась.

Однако осталось неясным, что на нее нашло, когда она согласилась выйти за Сергея замуж. Какое-то затмение.

Свадьбу сыграли сначала в Москве, а потом в Питере. Аня переехала к мужу. Но ненадолго — через три месяца супружеской жизни она вернулась в Москву. Нет, они не развелись, не поругались. Просто Аня физически не могла жить в Питере и рассудила, что Сергею не нужна вечно мерзнувшая и все время писающая жена. Тем более в Москве ее ждала любимая работа, а в Питере она так и не нашла себе применения. Сергей же отказывался переезжать в Москву по тем же соображениям — в Питере у него была работа, и ему там «хорошо дышалось».

Они решили жить на два города. Идея была странной с самого начала, но Аня решила, что гостевые браки бывают гораздо крепче, чем союзы под одной крышей. Они люди современные, без предрассудков. К тому же быть замужней женщиной уже было пора по возрасту, и ее история любви и жизни на два города со стороны выглядела очень романтичной. Ей даже завидовали, особенно подруга и ее коллега, которые считали, что именно они поспособствовали Анину счастью.

Сначала Сергей чаще приезжал в Москву, потом чаще стала ездить Аня. И ни разу она не приезжала с пустыми руками. Сергей заказывал ей по списку, что привезти из Москвы — начиная с книжных новинок и заканчивая едой, которую по каким-то причинам нельзя было купить в Питере.

Собственно, с этого и начинается история.

Сергей оказался гурманом. Он любил вкусно поесть. Домашненького. Аня приезжала и готовила, убеждая себя в том, что раз в две недели, а то и раз в месяц можно постоять у плиты. Еще один плюс такого брака — а то бы каждый день варила, жарила и парила.

— Анют, а привези мне стерлядки... — попросил по телефону Сергей перед очередной встречей.

— Из Москвы? А в Питере нельзя купить? — удивилась Аня.

— Здесь такой нет. А ты выберешь лучшую. Так хочется, просто умираю.

— Стерлядь и в Африке стерлядь, — сказала Аня.

— В Африке нет стерляди, — ответил Сергей. — Ну привези, пожалуйста. И приготовишь мне с лучком и лимончиком.

Аня все-таки была самоотверженной барышней. Она понимала, что статус замужней женщины накладывает на нее определенные обязательства, и приготовление стерляди — одно из них.

— Как я довезу стерлядь в поезде? — спросила Аня, обдумывая, в какой таре везти рыбину.

— А ты на самолете. Два часа, и ты уже у меня, — предложил Сергей. — Только чтобы живая была!

— Я или стерлядь? — пошутила Аня.

— Стерлядь, конечно, — не понял шутки Сергей.

Аня вздохнула и поехала в подмосковный рыбсовхоз вылавливать рыбину. Она выбрала не самую большую, но самую красивую, как ей показалось.

— А как мне ее живую довезти? — спросила Аня у продавца.

— Так мы ее тукнем слегка, и довезете! — радостно ответил тот.

— А в чем ее везти? В пакете? Не знаете? — уточнила Аня. — Мне только до Питера. В самолете.

— Так это вообще не проблема! — еще больше обрадовался продавец. — Вы сейчас как выйдете, пройдете прямо метров сто, потом направо, там палатка будет. Купите чекушку водки.

— Зачем? Я не пью, — испугалась Аня.

— Да не вам, а рыбе! — захохотал продавец.

— Рыбе? Зачем?

— Лучший способ. Дайте ей водки — и все. Она весь полет у вас проспит и будет свеженькая. Только перед самым вылетом дайте! Так все рыбу возят. Не вы первая.

— Хорошо, поняла, — сказала Аня, хотя, если честно, ничего не поняла. Но она взяла оглушенную рыбину, которую продавец аккуратно «тукнул» по голове, и пошла искать палатку. Там она купила чекушку водки, как было велено, и поехала в аэропорт, прижимая рыбину к груди.

В аэропорту рыба не подавала признаков жизни, и Аня уже надеялась, что ее не придется поить водкой. Сама она выпила коньяк — для храбрости и просто потому, что очень захотелось выпить.

До посадки в самолет оставалось еще полчаса. Аня сидела и пыталась сосредоточиться на книге. Тут пакет с рыбой на ее коленях зашевелился. Аня подскочила от испуга. Рыба проснулась. Аня кинулась в туалет, доставая из сумки чекушку. В туалете она положила пакет рядом с раковиной и начала открывать водку. Крышка никак не поддавалась. Наконец Аня дернула посильнее, выплеснув половину в раковину. Она бережно развернула пакет — стерлядь смотрела на нее мутным, несчастным взглядом.

— Сейчас, потерпи, сейчас, — приговаривала Аня. — И как тебя поить? — Она осторожно открыла стерляди рот и принялась вливать водку. Рыбина заелозила и начала бить хвостом.

— Ну что тебе надо? Пей давай! — Аня настойчиво продолжала реанимировать рыбину.

В душе она была против убийства животных и уж тем более против их мучительной смерти. Ей было очень жалко стерлядь, тем более что она впервые держала в руках живую рыбу — с жабрами и внутренностями. Контуженую, но живую. А теперь по ее вине эта рыба должна быть еще и пьяной.

— Ну прости, — попросила рыбину Аня.

— Куда ж ты льешь? Все в раковину! — вышла из туалета дородная тетка. — На жабры ей лить надо! На жабры! Давай сюда! — Тетка захватила стерлядь и точным движением вылила ей остатки водки на жабры.

— А вы откуда знаете? — спросила Аня тетку.

— Так все знают, — пожала плечами та. — Все так воят. Тоже мне, секрет! Только мало водки. Надо еще. А то не довезешь. Беги за водкой, я за ней прослежу.

— Нет; не надо, спасибо, я сама, — быстро сказала Аня, понимая, что оставить стерлядь посторонней женщине не сможет ни за что.

Аня побежала к кафе, купила еще водки и бегом вер-

нулась в туалет. До посадки оставалось пять минут. В туалете она опять развернула рыбину и аккуратно полила водкой на жабры, как делала тетка.

Аня шла на посадку, чувствуя себя полной дурой и преступницей — с пьяной рыбиной в руках и с сознанием того, что жизнь прожита впустую. Все знают про водку, которую надо лить на жабры, а она не знает. И эта несчастная стерлядь открыла ей глаза на то, во что она ввязалась, — на ее «гостевой» брак, на то, что она мотается туда-сюда, понимая, что это не так уж и нормально, как она себя убеждала и почти убедила. Она не знала, чем занимается Сергей в ее отсутствие, но их жизнь нельзя было назвать совместной. И брак был каким-то фиктивным, не настоящим. И в Питер Аня лететь не хотела совсем. Тем более с живой рыбой на руках. Еще в туалете она допила остатки водки, чтобы рыбине было не так одиноко, и теперь почувствовала, как к горлу подступают слезы.

В самолете она положила пакет на верхнюю полку. Начали взлетать. Вдруг сверху началось шевеление и хлопки, которые становились все чаще и все звонче. Сидевшие рядом пассажиры нервно оглядывались. Аня молчала, как партизан, боясь признаться, что там у нее рыба. Кто-то из пассажиров вызвал проводницу:

— Там звуки странные.

Бортпроводница прислушалась.

— Господа, кто везет рыбу? — спросила она.

— Я. — Аня покрылась красными пятнами.

— Доставайте, — велела проводница.

— Понимаете, муж попросил привезти свежую рыбу... — начала объяснять Аня. — Он живет в Питере, я в Москве. В Питере не могу, у меня там цистит все время. Вот и езжу... А он попросил рыбу...

— Тамар, у нас водка есть? — крикнула проводница своей коллеге, прервав Анин монолог.

— Да!

— Так давайте я заберу вашу рыбу, а когда прилетим — отдам, — предложила бортпроводница.

— Я ее водкой уже поила, — промямлила Аня.

— Это бывает от перемены давления. Рыбы реагируют и просыпаются. — Стюардесса говорила совершенно серьезно.

— Хорошо, — кивнула Аня и отдала трепыхавшуюся в пьяной агонии стерлядь. После этого заплакала.

— Ну что вы так расстраиваетесь? Довезем мы вашу рыбу. В лучшем виде. Мы и не такое довозили. Плакать не надо. Виски будете?

Аня кивнула.

Бортпроводница принесла ей виски в маленькой бутылочке и унесла стерлядь.

— Ну вот, долетели, — сказала проводница после приземления, отдавая Ане рыбу. — Она еще поспит чуток, но через часик очнется.

— Скажите, а вы случайно не знаете, — вдруг спросила Аня, — алкоголь в рыбе чувствоваться не будет? Вроде как она мариновалась в нем...

— Ну, помойте ее хорошо, и все, лучку зеленого добавьте, не репчатого, а зеленого, лимончика, и отлично все получится, — посоветовала бортпроводница.

— Спасибо, — еще раз поблагодарила Аня и прижала стерлядь к груди.

Сергей ее встречал на выходе.

— Привет! — обрадовался он. — Как долетела?

— Долете-ли, — поправила его Аня и шмыгнула носом. — Плохо мы долетели.

— Кто это — мы? — не понял Сергей.

— Я и рыба. Вот держи. Ты хоть представляешь, что мне пришлось пережить? — Аня не выдержала и заплакала.

— Ты пила, что ли? — спросил Сергей, при поцелуе почувствовав запах.

— Пи-ли, — опять уточнила Аня. — Мы со стерлядью. Она водку, а я виски.

— Так, ты что-то совсем у меня того... — серьезно и даже испуганно проговорил Сергей.

— Это не я того, а ты — извращенец. Рыбы ему свежей, видите ли, захотелось. А то, что она страдает и мучается, ему все равно. — Аня уже кричала, не сдерживаясь.

— Кто мучается? — уточнил Сергей.

— Стерлядь! Я ей в туалете водку в рот вливала!

— Зачем?

— Чтобы ее живую довезти. Пьяную, но живую. Мне посоветовали. И главное, все, ну все знали, как возить рыбу, кроме меня! Представляешь?

— Угу, — осторожно ответил Сергей. — Ты ж моя золотая!

— Я или стерлядь? — уточнила Аня

— Ты, конечно, — уверил ее Сергей, хотя в это время разглядывал стерлядь.

— Только учти — я в нее влила чекушку, а сколько в нее влили проводницы — не знаю. Готовить я ее не буду. Не могу.

— Ань, ты чего? Это же просто рыба!

— Это тебе просто рыба! А мне она как родная стала. Пьяная, несчастная, замученная... — Аня уже обливалась горячими слезами. — Слушай, а давай ее выпустим, а?

— Куда? — Сергей уже смотрел на жену с опаской.

— В Неву! — радостно воскликнула Аня.

— Ты понимаешь, есть одна проблема. В Неве стерлядь не водится. Твоя будет первой. И вряд ли она выживет.

— А вдруг? Она крепкая, она столько перенесла!

— Ань, это просто рыба. Сейчас домой приедем и приготовим — с лучком, лимончиком...

Аня продолжала горько рыдать, оплакивая и судьбу стерляди, и свою заодно.

Надо сказать, что рыба стала последней каплей. Аня не смогла жить с мужем. Впрочем, стерлядь была ни при чем. Сергей в то время, когда жена находилась в Москве, столовался у другой женщины. Аня окрестила ее Жареной Курицей. Она завлекла Сергея банальными куриными окорочками под пошлым майонезом, запеченными в духовке. Сергей наелся окорочков и изменил жене. Или сначала изменил, а потом наелся, что дела не меняло.

**МАРИЯ
МЕТЛИЦКАЯ**



ПРОЩЕНИЕ



— Готовьте документы в хоспис, — резко сказала Лина и отвернулась к окну.

Врач тяжело вздохнул и покачал головой.

— Осуждаете? — зло усмехнулась Лина.

Врач пожал плечами:

— Просто каждый человек имеет право умереть в своей постели.

— Вы в этом уверены? — спросила она. — Впрочем, что вы знаете о моей жизни? Хотя осуждать и быть абсолютно уверенным — это привилегия юности. Вы еще слишком молоды.

— Слишком для чего? — Этот молодой парень был не промах.

Лина устало махнула рукой и не прощаясь вышла. Погода заставила застегнуть куртку и надеть капюшон. На асфальте лежали тяжелые от дождя бурые листья. Октябрь.

Лина посмотрела на часы и заторопилась к остановке.

Надо было заехать на работу, забрать документы, заскочить в магазин — в холодильнике пусто. Она вспомнила, что на четыре записана в парикмахерскую, и решила, что обязательно туда пойдет. Гори все огнем! Впрочем, и так вся ее жизнь сейчас занялась колючим, злым, с синими языками пламенем.

«Опять я по уши вляпалась в чужие проблемы», — раздраженно подумала она.

В том, что проблемы были чужими, она была твердо уверена. Только надо сделать так, чтобы это все прошло

по касательной. Надо постараться. Иначе не выдержит. И потом, это все справедливо: каждому по делам его, по заслугам. Как свойственно человеку, считающему себя бескомпромиссным, Лина свято верила в торжество справедливости. Хотя какое уж тут торжество?

В парикмахерской она сильно нервничала и смотрела на часы. В который раз отругала себя за это.

В доме пахло болезнью. Нет, не так. В доме отчетливо пахло смертью. Это был неуловимый запах, который невозможно объяснить, — запах беды и страданий, запах безнадежности и отчаяния.

Она бросила на стул куртку, сняла сапоги и пошла в ванную мыть руки. Потом зашла в его комнату. Он лежал с открытыми глазами и смотрел прямо перед собой. В стену.

— Есть будешь? — спросила Лина.

Он не ответил. Она вышла из комнаты и закрыла дверь. «Обида сильнее жалости», — подумала она. В семь должна приехать Марина.

Лина сварила кофе, села с ногами на диван и закрыла глаза.

Поженились они тридцать лет назад. Ему — двадцать пять, ей — двадцать. Встретились в одной компании — и Лина сразу потеряла голову. В нем была харизма. Впрочем, тогда этих слов не знали, тогда это называлось «клевым парень». Он и вправду был клевый — высокий, поджарый, длинноногий. Светлые волосы, серые глаза. В глазах усмешка: «все я про вас знаю». Девицы не давали ему покоя.

Она сидела в кресле и смотрела на то, как он танцует с какой-то красоткой. Красотка положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Он оглядывался по сторонам. Было видно: до красотки ему нет никакого дела. Танец кончился, но девица продолжала стоять, не открывая глаз. Он рассмеялся и взял ее за плечи.

— Эй! — сказал он. — Проснись!

Девушка открыла глаза и с затуманенным взором села на диван.

Он взял гитару и запел.

У него был низкий, чуть с хрипотцой голос. Голос, которым хорошо петь и Высоцкого, и Окуджаву, что он и делал. Было видно, что про себя он знал все.

— Мне надо на кого-нибудь молиться, — пел он и смотрел на Лину.

Лина была тоненькая и напряженная, как струна. Челка по брови, черные глаза, упрямый рот. Ничего особенного. Но почему-то она отличалась от всех остальных. Он это почувствовал. Потом взяла гитару лохматая толстая девочка и дивным голосом запела:

Когда б мы жили без затей,
Я нарожала бы детей,
От всех, кого любила,
Всех видов и мастей.

У Лины выступили на глазах слезы, и она вышла на кухню. Она стояла у окна и смотрела в черную январскую ночь.

— А вы, — услышала она за спиной, — вы бы так смогли?

Она обернулась.

Он стоял в дверном проеме и курил. Он даже курил красиво.

— В каком смысле? — не поняла Лина.

— В смысле того, что от всех, кого любила. Всех видов и мастей, — улыбнулся он.

— Ну, это зависит... — протянула она.

— Смелости хватит? — поинтересовался он.

— Главное, чтобы хватило кандидатов и средств, — в тон ответила Лина.

— Ну, с кандидатами, я думаю, проблем не будет. А что касается средств, то песня не об этом.

Он посмотрел в потолок и выпустил тонкую струйку дыма.

— Хорошо, что объяснили, — кивнула Лина.

— Ну, не сердитесь, — улыбнулся он. — И вообще, я предлагаю вам отсюда сбежать.

У нее екнуло сердце. Ерничать дальше не было смысла. Она кивнула.

На улице началась метель, но почему-то было очень тепло. Они быстро шли по белой мостовой. Он взял ее за руку. Потом, когда куртки и волосы совсем промокли от снега, они зашли в подъезд, и он достал из внутренне-го кармана прихваченную с вечеринки початую бутылку вина. Он сделал глоток и протянул бутылку ей.

— Господи, как романтично! — съязвила Лина.

— Когда-нибудь ты будешь это вспоминать. Вспоминать с удовольствием, даже с радостью, — отозвался он.

Ей показалось, что он знает про эту жизнь гораздо больше, чем она. Она села на подоконник, сняла мокрую куртку и сделала несколько глотков из бутылки. Сразу стало тепло, и немножко закружилась голова. Он взял ее лицо в свои ладони, начал томительно, уверенно и долго целовать, и в эту минуту она поняла, что пропала окончательно.

Потом все произошло довольно быстро. На следующий день днем он приехал к ней — родители были на работе, все и случилось. Ждать и держать «лицо» было невозможно.

Так она влюбилась в первый раз. Ничего подобного Лина не испытывала никогда ранее — и все остальные романы и романчики перечеркнулись сразу и навсегда, как не было.

Он был прекрасен. Он был нежен, тонок, терпелив, он угадывал ее самые потаенные желания, он чувствовал ее самые темные, неведанные прежде ей самой закоулки души и тела, он читал стихи, жарил картошку

и гладил ее гофрированную юбку. У нее не получалось, у него — всегда.

Он нравился ее отцу — они вместе в гараже перебирали карбюратор старенькой отцовской «Волги». На день рождения ее матери он принес белые розы — невиданная роскошь по тем временам. И все же мать с прищуром разглядывала его. Для нее все не было так однозначно.

— Слишком хорошо, — заключила она. И добавила: — Слишком.

Через три месяца Лина залетела.

Она позвонила ему поздно вечером и сообщила новость.

— Ну, и какие мысли? — весело поинтересовался он.

— Ищи врача, — сказала Лина.

— Ты спятила? — удивился он. И твердо добавил: — Будем рожать.

Свадьба была в кафе у метро. Дурацкая, как обычно, пьяная и бестолковая. Лину здорово тошнило.

После свадьбы жить стали у его матери. Это было удобно: мать работала поварихой в экспедициях, на полгода уезжала «в поле» — они были предоставлены сами себе. Лина писала диплом. Он работал в КБ. Родители Лины подкидывали денег. Жить было можно, хватало на киношку и на кафешку, но почему-то было неряшливо.

Уже тогда Лина почувствовала, что что-то не так. Нет, он был по-прежнему нежен и предупредителен. Он по-прежнему жарил картошку, мыл полы и ходил в магазин. Все было как всегда. Кроме одного: он перестал с ней спать.

Она сказала об этом матери. Мать объяснила, что такое бывает.

— Ты изменилась, а мужики — большие эстеты, — с усмешкой сказала мать. — Подожди, родишь, и все наладится. Только не распускайся и следи за собой!

Через пару недель раздался звонок.

Та женщина говорила медленно, с расстановкой. Называла Лину дурочкой и глупышкой. Ласково так называла. Потом смеялась хрустальным смехом:

— Ты думаешь, он ходить ко мне перестал хоть на неделю?

Она предлагала Лине вспомнить его вечерние отлучки по числам. Лина чисел не помнила, но почему-то сразу поняла, что это правда. Все правда.

— Что вы хотите? — тихо спросила она.

— Я? — удивилась женщина и опять рассмеялась. У нее был очень красивый, нежный и звонкий смех. — Я — ничего. А ты готовься. Он не утомится никогда. Такая натура. И потом, он же народное достояние. Почему это должно достаться одной тебе?

Она опять рассмеялась и положила трубку.

Ночью Лине стало плохо, и «Скорая» увезла ее в больницу. Все оставшиеся три месяца до родов ей предстояло лежать, не вставая. Угроза выкидыша.

Он приходил в больницу каждый день. Приносил цветы и соки. Писал нежные и трогательные записки. Придумывал будущему ребенку смешные имена: если будет девочка, то Глаша или Стеша, а мальчик — определенно Акакий или в крайнем случае, если ты не согласна, Порфирий. Она смеялась сквозь слезы, читая эти дурацкие записки, и почти убедила себя, что тот звонок — бред и наговор. Какая-то из прежних баб, брошенная и обиженная.

В августе родилась дочка. Девочку называли Мариной. Дома были вымыты окна, убраны ковры, а посреди комнаты стояла собранная детская кроватка.

«У меня все хорошо! — сказала себе Лина. — Все — бред и наветы. У меня самый красивый ребенок и самый лучший муж».

Вечером в ванной она нашла закатившуюся под баки с грязным бельем чужую губную помаду, а на подоконни-

ке в спальне лежала щетка для волос с двумя длинными белыми волосами.

Потом, спустя много лет, когда ее жизнь бесповоротно превратилась в кромешный ад, а сама она стала вздрагивающей и пугливой неврастеничкой, — тогда она спрашивала себя, почему не ушла сразу. В том августе, после роддома. Почему у нее не хватило на это духа и сил? Почему она позволила ему так распорядиться ее жизнью?

Она, конечно, предъявила тогда и помаду, и расческу. Он удивился и пытался что-то придумать. Все, естественно, выглядело нелепым, смешным и совершенно неубедительным. Но она его тогда оправдала: жена три месяца в больнице, разве нормальный, здоровый молодой мужик выдержит такое испытание?

Она, конечно, без конца плакала, и в результате у нее пропало молоко. Дочке стали давать молочные смеси, и у нее началась экзема. Она корила себя, винила его и бросала ему в лицо жестокие обвинения. Он пожимал плечами и предлагал ей полечить нервы.

К Новому году приехала его мать. Женщина грубоватая, но без второго дна. Такая, какая есть.

— Как у тебя с ним? — спросила она.

Лина пожала плечами.

— Ясно, — сказала свекровь. — Надо было бы тебя раньше предупредить. Но разве я бы тебя остановила? Да и потом, беременность... Кровь не вода, — заключила свекровь. — Папаша его тоже был неугомонный. До самой смерти. Всю душу вынул. Я терпела ради сына.

Свекровь замолчала и закурила.

— Всю жизнь потом жалела. Зачем я с собой так? Ведь могла бы жизнь устроить. Смолоду, конечно. — Она замолчала. — А ты — ты подумай, девочка. Стоит ли? Столько слез выплачешь, ведь с этим смириться невозможно, как себя ни уговаривай. Ты мне поверь. В общем, беги от него, пока есть силы. Это я тебе не как свекровь гово-

рю, а как женщина. Ребенка подынешь, куда денешься. И себя сохранишь, это тоже не пустяки.

Почему она тогда не послушалась свекрови? Ведь та определенно желала ей добра. Наверное, как жены алкоголиков, которые свято верят, что это последний раз. Другие не справлялись, но я-то точно справлюсь! Вера в светлое будущее! Идиотка! Дура! Бросила коту под хвост свою жизнь.

Нет, она, конечно, уходила. Несколько раз. К родителям. Но у родителей было тяжело — старел отец, болела мать. Свекровь вышла на пенсию и окончательно осела в Москве. Очень помогала с дочкой — девочка росла очень болезненной. Лина брала на все лето отпуск за свой счет — отпуск нехотя, но давали, приносила кучу справок от врачей и на все лето уезжала с дочкой в Крым. Но все равно зимой девочка болела — бесконечные ангины, бронхиты, ложные крупы.

О том, как он жил все лето без нее, она старалась не думать. Хотя ясно, кот из дома, мыши в пляс. Были и отвратительные звонки с подробностями, даже письма от доброжелателей... Свекровь не выдержала постоянных скандалов, купила себе однокомнатный кооператив в Беляеве. Без свекрови стало, с одной стороны, тяжелей, а с другой — легче, никто не видел ее позора и унижений. От родителей она все скрывала.

С годами он стал еще лучше, еще интересней: на висках — благородная седина, тот же блеск в глазах, стройная фигура, длинные ноги. Она видела, как бабы провожают его взглядом, как кокетничают с ним продавщицы в магазине, немолодая провизорша в аптеке и совсем пожилая почтальонша, принеся телеграмму. «Народное достояние», — вспомнила она.

— Зачем ты на мне женился? — кричала она.

Он удивлялся.

— Я же тебя люблю, — невозмутимо объяснял он. — И тебя, и дочку!

Отец он и вправду был неплохой. Да что там неплохой, прекрасный! До десяти лет купал Маришку в ванне — она боялась мыть голову (шампунь попадал в глаза) и доверяла только ему.

— Папа это делает нежно! — говорила дочь.

— Папа твой все делает нежно, — усмехалась Лина. — И душу из меня вынимает тоже нежно. С чувством, с расстановкой.

Он уезжал в командировки — и она металась ночью, как в бреду, сходя с ума от ревности и отчаяния. Мечтала, чтобы все это кончилось, и больше всего на свете боялась, что однажды он скажет, что уходит. Ненавидела всех его баб, посылала проклятия на их голову.

Однажды, отчаявшись, пошла к гадалке, старой цыганке. Все ей рассказала. Та объяснила, что может сделать сильнейший приворот, но это большой грех, как аукнется — неизвестно, может и на ребенке. Еще сказала, что он будет кобелировать всю жизнь, но ее не бросит. Мужики вообще на это идут неохотно. Сила привычки. Еще уверяла, что он очень любит дочку, ценит ее как жену и мать.

— В общем, тебе решать, девка. Подумай! Не спеши. Придешь еще раз — помогу. Больно у тебя глаза больные.

Больше к гадалке Лина не пошла. Разумная женщина должна сама принимать решения и надеяться на свой разум и волю. Только отчаяние загоняет ее в эти бредовые ситуации.

В третьем классе у Марины случился аппендицит — и не было трепетнее отца и мужа, две недели не отходил от дочкиной кровати. А на третью неделю уехал в Ригу — Лина нашла у него два железнодорожных билета.

Потом она решила, что хватит заниматься мазохизмом и надо устраивать жизнь. Завела романчик с коллегой по работе. Но это было противно и низко: женатый любовник, как называла его она, вечно торопился

в семью. Их встречи были похожи на собачьи случки. На чужих простынях, все быстро, все второпях, по минутам. Какая там радость — одно паскудство и разочарование. Чужой запах, чужое тело. Она чувствовала себя воровкой. После этих встреч долго стояла под душем — хотелось смыть с себя эту грязь. Естественно, через пару месяцев все оборвала.

Через пару лет, правда, почти влюбилась. Но мальчик был моложе на двенадцать лет. Лина чувствовала себя рядом с ним старухой, стеснялась своего тела. Этот мальчик, кстати, довольно быстро сбежал. К какой-то девочке, естественно. Она опять страдала, теперь от унижения. Смотрела на себя в зеркало: молодая еще женщина, а уже седина в волосах и такая тоска в глазах... Сгусток нервов и боли.

Дочка обожала отца. Мать всегда не в настроении, а отец, как обычно, весел, остроумен, легок. Всегда потакает ее капризам, балует, делает подарки. В шестнадцать лет — самый жестокий возраст — уже все понимала и кричала матери в лицо, что оправдывает отца: видеть постоянно кислую мину на лице — любой пустится в бега. Правда, к двадцати пришла в себя, поняла мать и пожалела. Это случилось, когда начала набирать обороты та, последняя, история.

Лина тогда почувствовала, что у него все не как обычно, все сложнее. Он стал молчалив и задумчив. Бренчал на гитаре, смотрел слезливые бабские мелодрамы. Уже взрослая Марина начала свое расследование. Узнала, что у отца серьезный роман. Женщина тридцати пяти лет, разведенная, с ребенком. Видела их вместе в парке Горького — отец катал мальчика на каруселях.

— Уходи, я все знаю, — сказала тогда Лина.

Он молчал.

— Что ты молчишь? — кричала она. — Не можешь решиться? Давай я тебе помогу. — И она начала собирать ему чемодан.

Сразу он тогда не ушел. Не спал по ночам, запирался в ванной с телефонной трубкой. Смотрел подолгу в одну точку. А однажды она пришла с работы домой и сразу поняла: ушел. Собрал все вещи и ушел. Только в коридоре одиноко стояли его забытые тапки.

Она сначала хотела их выбросить, но что-то ее остановило — она так и не поняла что. Просто взяла их и убрала в галошницу, с глаз долой.

Потом еще было много чего. Он приходил и уходил шесть раз. Она пыталась его не пускать, стояла в дверях, а он говорил, что прописан и что это квартира его матери, что он имеет право. Она искренне не понимала: раз там любовь, почему же он никак не утомонится? Значит, там ему не очень сладко? А здесь и вовсе колония строгого режима: она с ним не общается, дочка его избегает, едят они на кухне одни — его не зовут.

Приходил, правда, без чемодана — было понятно, что *там* он рвать не готов. В общем, мучил Лину бесконечно. Пять лет. Она его уже почти ненавидела — за предательство, за нерешительность, за слабость характера. И все-таки глубоко-глубоко, на самом дне души, надеялась, хоть и боялась себе признаться, что однажды он вернется и останется насовсем. Все еще любила? Нет, ей точно казалось, что нет. Хотя тосковала по нему, все еще тосковала, это определено.

Последний раз он ушел полтора года назад. Это был самый долгий срок без возвращений. Она уже почти успокоилась. Почти смирилась. Да нет, совсем смирилась, привыкла к своему одиночеству. Марина рано выскочила замуж, на первом курсе. Жить ушла к мужу. Лина теперь жила без хлопот. Закончилась бесконечная колготня на кухне — готовка, стирка, глажка, — она приходила с работы домой, принимала душ, надевала любимую махровую пижаму, наливала себе чай, делала бутерброды и весь вечер валялась с книжкой под тихое

журчание телевизора. И даже стала получать удовольствие от своего одиночества.

Он возник на пороге квартиры под Новый год. Открыл дверь своими ключами. Лина вышла в коридор. В коридоре стоял чемодан.

— Что это? — спросила она его.

Он не ответил. Она зажгла в коридоре свет и ахнула:

— Что с тобой?

Он был худой как щепка, небритый, с ввалившимися щеками. Абсолютно измученный вид. Он сел на чемодан, закрыл глаза.

— Выгнали? — усмехнулась Лина.

Он мотнул головой:

— Я ушел сам. — Он опять замолчал. Потом открыл глаза и тихо произнес: — Я очень болен, Лина. Очень. Вряд ли можно что-то изменить. Поздно спохватился. — Он опять замолчал. — Постели мне, пожалуйста, в маминной комнате.

— Болен? — У Лины от волнения перехватило горло. — Значит, болен!

Хочется посочувствовать, но вряд ли получится. Теперь до нее все дошло.

— Значит, болен, — повторила она. — То есть, пока ты был здоров, был *там* нужен, а когда заболел, отправили обратно?

Он мотнул головой:

— Я ушел сам.

— И как же тебя отпустили такого? С глаз долой, из сердца вон? Сладку ягоду рвали вместе? — продолжала ерничать Лина.

Он молчал.

— Значит, теперь домой? А где твой дом? Ты как-то с этим определись!

— Выгоняешь? — тихо спросил он.

— Ну как же, ты же здесь прописан! Закон на твоей

стороне, любой участковый это подтвердит. А совесть у тебя есть?

Она закрыла лицо руками, опустилась на табуретку и заплакала.

— Мне недолго осталось, Лина. Потерпи. Пожалуйста.

Она резко встала, зашла в комнату, открыла шкаф и бросила на кровать смену белья.

— Располагайся! — бросила она ему.

Она закрыла дверь в свою комнату и начала мерить ее шагами. Так, все ясно. Ту женщину он пожалел, потому что любит. А на нее, Лину, наплевать. Той досталась нежность, и любовь, и жалость, а Лине достанется все остальное — больницы, врачи, страдания, слезы. Уход за тяжелым больным. Судно, уколы. Запах болезни и смерти. За что, господи?

Она заплакала. Нет, так не будет. В конце концов, она тоже человек, и надо считаться с ее чувствами. Она зашла к нему в комнату. Он лежал с закрытыми глазами на кое-как заправленной постели. Спал. Она посмотрела на его измученное лицо, тихо вышла и осторожно прикрыла за собой дверь.

Назавтра она вызвала участкового врача. Врач долго читал бумаги и выписки. Тяжело вздохнул и с сочувствием посмотрел на Лину.

Они вышли из комнаты и прошли на кухню.

— Ну, вы, наверно, все понимаете, — тихо сказал врач. — Надежды практически никакой. Слишком поздно. Сейчас ему нужен только покой и уход. Вы работаете? — спросил врач.

Лина кивнула. Он выписал обезболивающее и у двери коротко бросил:

— Держитесь!

Лина горько усмехнулась.

Она посмотрела на список, оставленный врачом: поильник, судно, памперсы, мазь от пролежней. Врач ска-

зал, что теперь будет ходить районный онколог и что эта история — месяца на три-четыре. Скорее всего.

— Увы, здоровое сердце. Но боли подступают. В общем, готовьтесь. Будет несладко.

Лина позвонила дочери. Та ошарашенно слушала.

— Ну, мам, не на улицу же его гнать!

Лина тогда возмутилась:

— Значит, ты считаешь, что после всего я должна этим всем заниматься?

— А кто? — удивилась дочь. — Тут его дом, и ты все еще его жена.

— Понятно, — сказала Лина и положила трубку.

Она сидела на кухне, не включая света, и пыталась понять, как жить дальше. На следующий день она поехала на работу и оформила отпуск. Он почти все время спал. Почти ничего не ел. Когда она приносила ему чашку бульона или подносила судно, он говорил «спасибо» и отворачивал голову к стене.

Лина совсем перестала спать. Слушала стоны за стеной. Ждала, когда в сердце появится жалость. Пока была одна злость и негодование. «Где справедливость?» — думала она. И еще в голову приходили совсем страшные мысли: господь его покарал за все мои слезы, но при чем тут я?

Дочь заезжала раз в неделю. У нее своя жизнь, свои дела. Сидела у кровати и держала его за руку. Плакала. Он пытался шутить. Потом они плакали оба. Зареванная дочь выходила на кухню и обнимала мать.

— Не могу больше! — говорила Лина.

Дочь осуждала. Потом посоветовала сходить к психологу и дала телефон.

Через пару дней Лина поехала. Психолог принимал дома.

«Кто мне поможет?» — думала Лина, стоя перед дверью, обитой серым дерматином.

Дверь открыла женщина примерно Лениных лет.

Они прошли в квартиру. Лина села на диван, а психолог устроилась за письменным столом напротив.

— Хотите чаю? — предложила она.

Лина думала, что разговор не сложится, но неожиданно для себя долго, в подробностях, рассказывала ей всю свою жизнь, вывалила все свои обиды.

Психолог слушала молча и кивала головой. Потом, когда Лина остановилась, сказала ей:

— Все понятно. Забыть ту боль, что он вам причинил, невозможно, даже не пытайтесь. Все, что вы сейчас делаете, вы делаете для себя, чтобы потом вы могли спокойно жить. Это нужно прежде всего вам, и только вам. Представьте себе, что будет с вами, если вы сейчас откажетесь от него.

— Что будет? — усмехнулась Лина. — Да буду жить спокойно, своей жизнью. Знаете, я все еще верю в справедливость, как это ни смешно.

— Жестоко, — ответила психологиня. — Вот сейчас вы говорите только о своей боли и обиде. А что, разве хорошего ничего не было? Совсем ничего? Ну тогда, в молодости? Любовь, страсть, рождение дочери? Неужели за столько лет — и ничего хорошего? Зачем тогда вы столько терпели?

Лина ответила не сразу.

— Да нет, конечно, было и хорошее. Было. Только потом было столько всего ужасного, что все хорошее как-то забылось.

Психологиня тяжело вздохнула:

— Это вам кажется. В вас говорят злость и обида. Ему сейчас хуже, чем вам. У вас, в конце концов, впереди еще долгая жизнь, и, возможно, счастливая. А он наверняка раскаивается, и ему перед вами стыдно. И еще он благодарен вам — это тоже наверняка.

— Что мне его благодарность? — возмутилась Лина. — Знаете, каждому по заслугам. Просто ту женщину он пожалел, а меня — нет. Как всегда, меня — нет. Ее чувства

он пощадил и не захотел предстать перед ней в неприглядном виде. Он же у нас мачо. А мне, мне можно все. Потому что на меня наплевать с высокой колокольни.

Лина замолчала и вытерла ладонью злые слезы. Она встала с дивана, открыла сумочку и вынула из кошелька деньги.

Перед тем как открыть ей дверь, психологиня сказала:

— Подумайте о себе. Сейчас вам главное — сохранить себя. Не делайте резких движений, это вам мой совет. Будьте великодушны, у всех в этой жизни — свой крест и своя мера страданий и обид.

— Страна советов, — усмехнулась Лина.

Она вышла на улицу и глубоко, до боли в легких, вздохнула. С неба падали мелкие снежинки и ближе к земле кружились в неспешном танце. Лина медленно шла по бульвару и не могла надышаться свежим и мягким морозным воздухом. Зажглись фонари, деревья и скамейки осветились мягким, желтым, почти сливочным светом.

У метро она зашла в уютное, маленькое, на три столика, кафе и заказала чашку кофе с молоком. Она села у окна и смотрела в окно. Мимо окна быстро шли люди, подняв воротники и надвинув капюшоны — метель усиливалась.

«Как все торопливо, — подумала Лина. — Как торопливо мы живем, как торопливо пролетает жизнь. Как надолго в душе остается боль. Как сложно с этим жить. Как сложно мириться с тем, что кажется тебе вопиющей несправедливостью! Как эта чертова жизнь выжигает душу обидой. И почти не остается места для жалости и сострадания».

Она впервые подумала о той женщине. Впервые подумала без неприязни о том, каково сейчас ей. Она достала из сумки мобильный и набрала заученный наизусть номер.

Трубку сняли после первого звонка.

— Это Лина, — сказала она, абсолютно уверенная, что там знают ее имя. — Вы можете приехать. В конце концов, вы тоже имеете на это право.

— Спасибо, — тихо ответили на том конце.

Лина допила кофе, надела пальто и вышла на улицу. Заходить в метро почему-то не хотелось. Она закрыла глаза и подняла лицо. Мягкий снег падал ей на лоб, щеки и ресницы. Она подумала, что великодушной быть совсем не трудно, нет в этом слове ни выпренности, ни высокомерности, если оно составляет сущность человека. Ей стало почему-то легко, и впервые отпустила обида, мучившая ее больше, чем все остальное. И жизнь показалась не такой безнадежной.

«Только бы хватило сил! — думала она. — Только бы хватило сил оставаться самой собой и нести свой крест. Ведь если его бросить, то потеряешь часть себя».

Лина глубоко вздохнула, достала из сумочки проездной и спустилась в метро.

В метро было много людей — впрочем, как всегда в час пик. И каждому из этих людей была отпущена своя мера страданий и обид. Впрочем, так же, как любви, радости и счастья.

УМНАЯ ЖЕНЩИНА ЗОЯ НИКОЛАЕВНА



Зоя Николаевна считала себя умной женщиной. Если говорить начистоту, даже очень умной. Судите сами: всю жизнь проработать в торговле, от продавца до директора магазина, и ни разу не иметь крупных неприятностей. По-настоящему крупных. Тьфу-тьфу. Конечно, всякое бывало — и ночей не спала, от ужаса тряслась, и взятки давала, да по молодости не только взятки. Все было. Но худо-бедно все разруливала. Все потому, что есть масло в голове. И еще потому, что никогда не зарывалась. Всем жить давала. Но и про себя не забывала, что говорить.

А про дочку? Все опять сделала своими руками. Хоть дочка и сама по себе куколка, ничего не скажешь. Но куколок вон сколько, и что, у каждой жизнь сложилась? Да еще так! Как? А вот так: всех Лидусиных кавалеров строго отслеживала. Всех в дом пускала, со всеми чай распивала, про семью выводывала, про планы на жизнь.

Один раз, правда, испугалась всерьез — Лидуся влюбилась. Да в такого неподходящего — бандана с черепом на голове, косуха черная с заклепками, и все «это» на мотоцикле. Рокер, короче. Или байкер — Зоя Николаевна путалась. Лидуся на заднее сиденье — прыг, а Зоя Николаевна ночи не спит, валокордин литрами глотает. Чует, дело далеко пойдет. Если не вмешаться.

Вмешалась. Старые связи помогли. Все по пунктам объяснили, как надо действовать. Что Лидусе говорить, чем кого припутнуть, ну и так далее. Нелегко было, но чего для родной дочки не сделаешь. В общем, вынуди-

ли того рокера-байкера убраться по месту прописки в город Волжский. Лидуся плакала, убивалась, за ним вдогонку собралась. Но Зоя Николаевна ее быстренько в Сочи отправила, в «Жемчужину», между прочим, а по приезде шубку норковую на плечи накинула — шоколадную, с отливом. И Лидуся собой в зеркало залюбовалась.

— Ты, мамуся, лучше всех!

Рыдать стала пореже. Если в миноре, губки дрожат, Зоя Николаевна после работы — еле живая, ноги гудят, рухнуть бы на диван всеми восьмьюдесятью пятью килограммами — предлагает: Лидуся, хочешь, в ресторанчик пойдем, твой любимый, грузинский? А потом по магазинам прошвырнемся, может, что интересненькое присмотрим. Лидуся минут десять головкой помашет, носиком похлопает — и идет одеваться. А потом и вовсе успокоилась.

Тут Зоя Николаевна взялась ей жениха искать. Была одна клиентка — дочь у той в Германии жила, за немцем. Жила, как царева племянница. И дом в три этажа, и бассейн, и прислуга. На «Мерседесе» рассекает, муж в ней души не чает. А она как пирог непропеченный — белая, рыхлая. Разве с Лидусей сравнить? Если у той, «непропеченной», бассейн, то у Лидуси должно быть как минимум два. Вот с той клиенткой и начала она шуры-муры: вырезка парная, сервелат финский, кофе гранулированный из самой Бразилии. Чайку попить в кабинете, по сигаретке под ля-ля. Так фотографии Лидусины ей и подсунула. Та как раз к дочери в гости собиралась. На фотографиях Лидуся то в шубке, то в купальнике. Как есть куколка. Клиентка женишка подобрала. Правда, вдовца и не первой свежести. И даже не второй. Жаба небось задушила получше что-нибудь Лидусе подобрать. Ну да ладно. И так сойдет.

Женишок собрался быстро, не терпелось на Лидусину красоту поближе посмотреть. Через три недели в Москве нарисовался. Похож он был на румяного резиново-

го пупса. Зоя Николаевна стол накрыла, постаралась. На столе — икра, севрюга, лососина, пироги. У немца глаза на лоб полезли. Из подарков привез то, что в самолете не доел, — печенье, сырок, сливки, все кукольное, игрушечное. У Лидуси от этих подарков началась истерика. К себе ушла, сначала даже за стол садиться не хотела. А потом ничего, пришла в себя. Вечером пошли с ним по Москве гулять.

На следующий день «пупс» пришел с цветами и колечком в сафьяновой коробочке. Предложение сделал. Лидуся долго колечко в руках вертела, колечко-то пустяковое, брильянтик — как комар писнул, слова доброго не скажешь, а потом важно так бросила: «Подумаю».

У Зои Николаевны гора с плеч. Боялась, что дочка этой дешევкой в женишка швырнет. И всю ночь напролет Лидусю увещевала да уговаривала, все объяснила: про дом, про «Мерседес», какая жизнь там и какая здесь. Лидуся все плакала и говорила, что ей и здесь неплохо, а под утро согласилась — очень хотелось спать.

И что теперь? На свою жизнь там не нарадуется. Муж в Лидусе души не чает. Дом новый купили, больше прежнего, бассейн, прислуга и садовник. Лидуся целый день в шезлонге полосатом сидит, ногти полирует. Потом вздохнула, настроилась — и дочку мужу родила. Копия он, тоже как гладкий розовый пупс. Немец от счастья совсем ошалел, нанял няню, а Лидусе подарил новую «БМВ», с открывающейся крышей — кабриолет называется. Вот и мотается Лидуся по городу — массаж, парикмахерская, кофе с яблочным штруделем. Дома прислуга с садовником стараются. Ребенок одет и накормлен, обед готов, везде порядок, газон подстрижен, просто как шелк под ногами, гортензии круглым ровным кустом. Плохая жизнь? А все она, мама, низкий ей поклон.

Теперь муж. Вот здесь сложнее. Полюбила его Зоя Николаевна с первого дня — как увидела. Он и вправду был собою хорош: высокий, длинноногий, пальцы

тонкие, изящные, шевелюра густая, с ранней проседью, глаза голубые, брови у переносья срослись. Не мужчина — снежный барс. Ходил он почти год к Зоиной соседке студентке Маринке. По ней, Маринке, сох. Та — тоненькая, как прутик, глаза черные, зрачков не видно, и коса по пояс. И все зубрит, зубрит. Врачихой хочет стать. А он вечером после работы придет, сидит со стаканом бледного чая, курит на кухне — Маринку дожидается. А Зоя как раз котлеты с картошкой жарит. Он смотрит, слюну сглатывает. Зоя ему — хотите котлетку? Он слюну сглотнул и кивнул. Она на тарелочку разложила — справа картошечка, румяная, с корочкой, слева пышная котлетка, сбоку по кромочке огурчик соленый, тонко так, на просвет, нарезан. Барс ест и от умиления головой качает. Так и стала она его вечерами прикармливать, пока Маринка о науку мозги точила.

Однажды в комнату свою пригласила, телевизор посмотреть, время скоротать. Он в кресле расположился, а она ему на столик под правую руку — чаю свежайшего с чабрецом и лимоном, печенья домашнего, еще теплого (яйцо, маргарин, сметана, мука — все через мясорубку). Он чаек прихлебывает, печенье одно за другим в рот отправляет — во рту тает. И по комнате глазами. А там — чистота, придраться не к чему. Занавески накрахмалены, пол натерт, подушки взбиты. Вот он на эти подушки и прилег.

Утром посмотрел на Зою — лицо длинное, лошадиное. Зубы крупные, желтоватые, задница — с какого боку обойти? Вздохнул, вспомнил талию Маринкину и косу по пояс, а пока вспоминал, Зоя ему омлетик пышный соорудила, оладушек напекла, кофе в турочке — все на жестовском подносе и в постель.

Он опять тяжело вздохнул и позавтракал с аппетитом. А Зоя ему рубашечку с вечера выстиранную, утром выглаженную предложила и носки свежие. Он от удовольствия крикнул и поцеловал ее в щеку. По-дружески

и с благодарностью. И стал теперь к ней на ужины заходить. А там и до завтрака не бог весть сколько. Ночь всего. Соседка Маринка удивилась: «Ну, ты, Зойка, даешь». И опять за свои учебники.

Это уже потом, спустя месяцев семь, Зоя Барсу объявила, что она в положении. И твердо добавила, что рожать будет непременно. Невзирая на его планы на жизнь. Даже если он этого ребеночка и не думает признавать. Барс замолчал и исчез. На три месяца. А когда появился, Зоя была уже с большим животом, опухшая, с коричневыми пятнами на лице. Увидел все это Барс — такую некрасивую, громоздкую и гордую Зою — совесть и жалость поднялись со дна его души и мощным камнем придавили все сомнения, которыми он мучился последние месяцы. Где наша не пропадала! В конце концов, жена из нее будет замечательная, а он при этом останется приличным человеком. А с любовью потом разберемся.

С любовью он начал разбираться сразу после свадьбы, через пару месяцев. С Зоей ему и так все было ясно. Разве он обещал ей любовь? Сначала он вернулся к Маринке-медичке. Зоя быстренько разменяла квартиру. Маринка переехала в Измайлово, а они отправились в Беляево. Разные концы света. Не наездишься. Маринка отпала сама собой. Потом появилась другая, третья — и далее со всеми остановками. Зоя всегда была точно (ну, почти точно) в курсе того, что происходит. Не ленилась съездить на соперницу посмотреть, все про нее в подробностях узнать. Да и кто ей, Зое, соперница? Только у Барса взгляд застывал, она ему хлоп — новые «Жигули». Была третья модель, стала шестая. Так и до «Волги» дошли, а потом и до иномарок. Как начнет по ночам ворочаться, шумно вздыхать — она ему дубленку новую в шуршащем пакете. Шапку ондатровую на норковую поменяет, магнитофон последней модели на стол, видик на телевизор сверху пристроит. Он и притихает.

Все эти хлопоты ее, конечно, не красили, что там говорить. Постарела здорово — морщины, второй подбородок, в бедрах еще больше раздалась. Теперь и во все стала похожа на старую ломовую лошадь. Ни модная стрижка, ни импортные тряпки ее не спасали. А работа? Лошадь, она и есть лошадь. Это барс и в старости остается барсом. Хотя с годами и он пообтрепался. Теперь это был седовласый барс с усталыми глазами и больной простатой. Но всегда найдутся желающие и на такую фактуру. Жизнь у него, прямо скажем, была не самая тяжелая — всю дорогу дурака валял в своем НИИ, о деньгах ни разу не задумался — для этого была она, Зоя. А был ли счастлив? Покой и комфорт на одной чаше, а на другой?

В перестройку она свой магазин выкупила и названа его в честь себя — «Зоя». Заслужила. Стала завозить туда деликатесы и салаты в пластиковых баночках. Дела пошли еще лучше, чем в «застой». Хотя покоя как не было, так и нет.

Купила своему Барсу синее кашемировое пальто в пол, клетчатое кашне и подержанный «Мерседес». Он уже почти успокоился и даже смирился, что жизнь его прошла так, а не иначе. Но однажды вдруг случилось с ним непредвиденное. То, чего и сам он уже перестал ждать. Пришла к нему *любовь*. Вот что случилось. Не увлечение, не влюбленность, а именно *любовь*.

И почувствовала Зоя Николаевна сразу: беда! Глаза у Барса засветились нездешним огнем, и отчетливо обозначились на помолодевшем лице скулы. Теперь он поднимал гантели по утрам, бегал трусцой и перестал есть копченую грудинку с яйцами. Зоя Николаевна быстро стала вычислять «предмет». «Предмет» этот обнаружился довольно быстро и даже слегка Зою Николаевну разочаровал. Это была замужняя школьная учительница английского тридцати восьми лет по имени Татьяна. Худенькая, маленькая, белобрысая — в общем, средне-

статистическая училка. Таких — миллионы. Но Барсу была нужна только одна конкретная эта. Ни тебе фигуры, ни километровых ног, ни волос по плечам. Джинсы, куртешка, кроссовки. С собачкой вечерами гуляла. Зоя Николаевна курила у подъезда, разглядывала ее. Тонким голоском звенит: «Керри! Ко мне!» Пуделька своего зовет. Проходит в подъезд на своих легких ногах, здороваётся, хоть и не знакомы. Воспитанная. Учительница. Это вам не полукопченка и яйцо первой категории, не грузчики пьяные в магазине, не вороватые продавцы, не вымогатели из ОБХСС. Здесь все по-другому. Дети, родители, цветы к Восьмому марта. Тетради и учебники. Рук не замараешь. Стихи ему, наверное, читает. По ней видно. А что Зоя? Старая рабочая лошадь, которой давно пора на списание или на мясокомбинат на переработку. Отойди, подвинься. Не мешай людям красиво жить.

Приехала домой на больных, отекавших ногах, налила себе коньячку в стакан и подумала: «А ведь бросит он меня». Сердцем чуяла. И за что боролась? Всю жизнь ему дорожку ковровую расстилала, забегала вперед — а он по ней в грязных ботинках. Да ладно бы по дорожке, а то ведь по ней, Зоиной душе. Натоптал — не выметешь, столько грязи. Дочку свою единственную, кровиночку, за пузатого немца отдала. В чужую страну. И где теперь она, дочка, в тяжелую минуту? Внучку свою, опять же, единственную, кудрявую и розовую, сколько раз на руках держала? И внучка ее не понимает. По-русски — ни гу-гу. Ни одной колыбельной ей не спела, ни одной сказки не рассказала. Ковры эти, горки, хрустали — для кого старалась? Кому все это надо? Никому. И бороться уже сил не осталось. Вроде бы хлипенькая эта училка, нищая, а вот чувствовала Зоя, что ей с ней не сладить.

Барс пришел в ночи, она не спала.

— Долго шастать будешь? — грубо так спросила.

А он ответил просто, без вступлений:

— Ухожу я, Зоя.

— Ну и вали, — махнула она рукой.

Хватит, гирька до полу дошла.

— В хрущевку пойдешь, с чужим ребенком уроки делать?

Он счастливо кивнул.

Она достала из шкафа чемодан:

— Собирайся, уйдешь сегодня. Хватит. Точка.

— Куда я в ночь? — возмутился Барс. — Да и некуда мне сейчас уйти, у нее там муж.

— Не мои проблемы. Хватит, отрешалась. Теперь сам попробуй. А я одного хочу — покоя.

Барс собрал чемодан и вышел в морозную ночь.

— Вот тебе и умная женщина! — горько усмехнулась Зоя Николаевна.

Утром позвонила Лидусе в Германию. Та взяла трубку и растянула свое «хэллоу».

— Чего хэллокаешь? — зло спросила Зоя.

— А что? — испугалась Лидуся.

— Папаша твой слинял, вот что, — ответила Зоя.

— Куда слинял? — тормозила Лидуся. В Германии была середина дня — Лидуся еще не совсем проснулась.

— К училке, — бросила Зоя.

— Насовсем? — удивилась Лидуся.

— Ага, я ему и вещички собрала.

— Ты что, мать, спятила? — возмутилась Лидуся.

— Да надоело все до смерти, всю жизнь бьюсь, а что толку, как волка ни корми...

— Значит, плохо кормила, — заволновалась Лидуся.

В ее голове уже выстроилась ясная картина: мать одна, всеми брошенная — значит, надо брать к себе, а это в Лидусины планы не входило. Все комнаты в доме распределены — столовая, гостиная, комната няни, прислуги. Последняя без окна. Мать туда не поселишь, обидится. И няню не засунешь — тут же в профсоюз наступит, здесь с этим запросто. Дом большой, а не развернешься — все спланировано.

В общем, нужно самой в Москву лететь, с папашей, старым козлом, разбираться. Лидуся собралась быстро. Два чемодана своих плюс один — для матери подарки. Хоть порадуется. И дочку с собой взяла — все для бабки утешение. И через три дня в Москве нарисовалась.

Зоя даже не обрадовалась — видеть никого не хотелось, так и лежала бы на диване лицом к стене. А тут — лишние хлопоты. Но деваться некуда. Поднялась, поехала на рынок, притащила неподъемные сумки, встала к плите. Два дня варила, жарила, пекла. На третий поехала в Шереметьево. Лидусю сразу не узнала. Та поправилась и коротко постриглась. Как-то опростилась. Типичная немка. Внучка стояла не мигая и жевала резинку. В глазах ни одной мысли. Круглая, толстая. Ребенок, а живот торчит. В машине Лидуся тарахтела, отца поносила на чем свет. Да и матери досталось.

— Всю жизнь его, козла, поила-кормила, по курортам возила, а теперь, на старости лет, стакан воды подать некому? — Себя Лидуся из этой конструкции исключила заранее.

Зоя отмахивалась — сил не было.

Дома дочь начала метать из чемодана матери тряпки. Зоя покорно мерила, но ничему не радовалась. Не человек — автомат. Снимет, другое наденет и стопочкой на стул кладет.

Зоя накрыла стол в столовой. Лидуся ела за обе щеки, постанывала — соскучилась по холодцам и пирогам. А внучка ничего даже не попробовала. На все Лидусины уговоры отвечала одно — «найн». Лидуся откинулась в кресле, закурила и сказала:

— Надо было ей макарон сварить.

— Какие еще макароны, когда столько еды? — удивилась Зоя.

— А она только их и жрет, — спокойно ответила Лидуся.

К чаю Зоя Николаевна подала торт-суфле с ягода-

ми и взбитыми сливками. Девочка слегка оживилась, деловито взяла ложку и стала снимать с торта верхний слой — суфле, ягоды и взбитые сливки. Лидуся не обратила на это никакого внимания, а Зоя Николаевна поперхнулась и впала в ступор. Потом Лидуся с дочкой пошли спать. А Зоя долго убирала со стола, мыла посуду, потом села на стул на кухне, налила себе чаю и посмотрела на торт — от него остался пустой песочный корж. «Вот это и есть моя жизнь, — подумала Зоя, — кому-то сливки и ягоды, а мне, как всегда, пустой сухой корж». Она горько заплакала, вспоминая Барса и нелегкую свою жизнь. Жизнь прошла, прошелестела, от забот огрубели руки, да что там руки, загрубела душа, сплошные рубцы, с чем осталась? А потом зло разобрало: пусть помучится в хрущобе, на зарплату проживет, почует наконец, что почем в этой жизни.

Утром дом перевернулся вверх дном. Лидуся моталась по квартире с сигаретой и телефонной трубкой — отдавала приказы прислуге, развесила везде свои тряпки, орала на дочку. Немецкая внучка сидела перед телевизором с непроницаемым лицом. Зоя сварила манную кашу, накрошила туда банан и натерла яблоко. Поставила тарелку перед внучкой, а та посмотрела на бабушку, как смотрят на сумасшедших. Утром девочка ела чипсы, в обед — макароны, а на ужин — чипсы с макаронами. Зоя была в ужасе, а Лидуся беспечно махнула рукой: «Не бери в голову, мам, они там все такие». Потом Лидуся начала обзванивать московских знакомых — надо же было кому-то продемонстрировать два чемодана нарядов. О своей миротворческой миссии она явно забыла.

Барс позвонил своей любимой и сообщил, что он ушел из дома. Она удивилась и спросила, что теперь будет дальше. Этого он не знал. Он вообще-то не очень умел принимать решения. Этим всегда занималась его бывшая жена Зоя. Вообще-то, надо было бы сказать: «Не волнуйся, любимая, я все устрою и придумаю».

А что тут придумаешь с его зарплатой? Предложить временно пожить в машине? Устроиться на другую работу? Да кому он нужен в свои пятьдесят шесть? Панельная хрущевка его возлюбленной с мужем в придачу на две квартиры никак не делилась. Неделю он жил у старого приятеля, но тот предупредил — только неделя, через семь дней приезжает из санатория жена, и жилплощадь нужно освободить.

Хрупкая, но сильная духом учительница в тот же день объяснилась с мужем — жить во лжи ей было невыносимо. Муж, человек интеллигентный, все понял и принял без скандала, полки в холодильнике и в кухонном шкафу поделили. Это — твои, это — мои. Культурные люди. Теперь она спала в комнате с дочкой, а муж занял детскую. Все чинно-благородно.

Подали на развод. Барс теперь жил у другого приятеля, там жена была на месте, но с удовольствием Барса приняла, торжествуя, что тот бросил наконец-то эту наглую торгашку Зойку, которой она в душе всю жизнь завидовала. Встречались Барс и его возлюбленная каждый день, теперь их домом стала машина. Ездили гулять на Воробьевы горы, целовались, как подростки, и он грел своим дыханием тоненькие озябшие пальчики любимой. Все это было мило и очень романтично, но надо было еще и как-то выживать. А этого он делать не умел. Учительница смотрела на него печальными глазами и каждый раз спрашивала: что же дальше?

— Что-нибудь придумаем, — отчаянно врал Барс.

Сколько так могло продолжаться?

Просто Чехов в чистом виде.

Учительница развелась и поделила лицевые счета. Теперь они с бывшим мужем назывались соседями. Можно было позвать Барса жить к себе. Неэтично и неэстетично, но жить-то человеку где-то надо. О размене квартиры Барса с бывшей женой она не упоминала — была благородна. За это он ее и полюбил. Здесь — неж-

ная фиалка, там — ломовая лошадь. Почувствуйте разницу.

Барс собрал чемодан и пришел в ее дом. С бывшим мужем договорились — в семь завтракает он, в восемь — они. Так же с ужином. Установили расписание в ванной. С туалетом расписания не составил. Хуже всего было в субботу и в воскресенье, когда все терлись друг о дружку задницами. На работе Барса сократили, и любимая устроила его в школу преподавать ОБЖ (основы безопасности жизнедеятельности). Звучит красиво, но предмет самый идиотский — как себя вести в случае атомной войны.

Лидуся в Москве задержалась. В доме общих знакомых встретила своего рокера — и совсем пропала. Теперь он был никакой не рокер, а вполне успешный и респектабельный бизнесмен в строгом костюме и галстуке от Армани. Закрутился сумасшедший роман — они яростно наверстывали упущенное. Возвращаться в Германию Лидуся не собиралась. Написала своему адвокату письмо, чтобы он там все поделил чин-чинарем без нее, Лидуси.

Зоя Николаевна ушла с работы и сидела дома со своей молчаливой внучкой. Отдирала ее от телевизора и читала русские народные сказки. Постепенно у девочки появилось осмысленное выражение лица, и она начала улыбаться. Когда внучка заплакала над «Мертвой царевной», Зоя Николаевна поняла: вот где ее ягоды и взбитые сливки. Ездили в зоопарк, катались на пони, гуляли по Кремлю, а на ночь она ей пела про серенького волчка и подтыкала под ноги одеяло. А однажды утром девочка попросила испечь ей оладьи с яблоками. Так у Зои Николаевны появились внучка, родная душа, и вполне счастливая, помолодевшая, влюбленная дочь.

Барс ушел от учительницы через год после того, как двадцать минут бился в дверь коммунального туалета. Собрался за пятнадцать минут. Учительница стояла ли-

цом к окну и не говорила ни слова. Ей и так все было ясно. Барс завел машину и поехал к Зое. Дверь открыла толстененькая кудрявая девочка в джинсовых шортах и крикнула в глубь квартиры: «Ба, к тебе тут какой-то господин».

Зоя вышла в прихожую в переднике и с поварешкой в руке. Она посмотрела на потрепанного Барса, глубоко вздохнула и сказала внучке:

— Подай деду тапки.

Растерянный Барс стоял в прихожей и глупо и счастливо улыбался.

— Иди мой руки, — сказала ему Зоя, — блины еще горячие.

Барс надел свои клетчатые тапки и сразу почувствовал себя дома.

А летом поехали все вместе на море, в Турцию. Барс с Зоей и внучкой и счастливая Лидуся с бывшим рокером. Большая и счастливая семья. Где все, в общем-то, любили друг друга. Пусть каждый по-своему, кто как умел, но все же любили.

В общем, звание свое — умная женщина — Зоя Николаевна полностью оправдала. С этим не поспоришь.

**ИРИНА
МУРАВЬЕВА**



КУДРЯВЫЙ ЛЕЙТЕНАНТ

Памяти В. В. Левика



«Ты на меня давишь, давишь, давишь! Не нужна мне эта любовь, эта забота! Я свободный человек, я художник, ты понимаешь? Ничего ты, черт побери, не понимаешь!»

Она сидела в темно-вишневом, протертом до белых залысин кресле и плакала. Лицо ее было обращено к свету, и крупные слезы летели из широко раскрытых глаз, словно бы не реагирующих на эту яркую лампу. Его и прежде поражало, как она плачет. Никогда не закрываясь руками, не съеживаясь, как это делают все плачущие, она поднимала руки, откидывала мешающие ей волосы — рыжие, спирально закрученные пряди, и так, с поднятым потрясенным лицом, безжизненно уронив руки, заливалась слезами, от которых огненно краснели ее щеки, а все вокруг становилось мокрым. Когда-то это восхищало его: рыжий, блестящий даже в самых густых сумерках нимб ее боттичеллиевских волос, круглая белая рука, бессильно упавшая на колено, шепот, влажными сгустками вырывающийся вместе со слезами, и то, как все это: волосы, рука, колено, кусок освещенного волосами лба, мокрая белизна шеи — просилось на холст. Со временем восхищение прошло, и сейчас он с раздражением ждал, когда она перестанет. Больше всего хотелось хлопнуть дверью и уйти. Но уйти было некуда. Здесь был его дом, женщина, называвшая

себя его женой, натянутые холсты, кисти и подрамники. Запах красок смешивался с приторным запахом увядших ландышей, пожелтевших без воды. Она всегда забывала налить в цветы воду. «Хорошо, — произнес он устало. — Выговори мне все, что у тебя там накипело. И завершим. Поставим точку». — «Что значит — точку?» — голос ее стал испуганным. О господи! И ко всему эта страсть к выяснению отношений! В первый год их знакомства ему приходилось признаваться в любви шесть раз на дню. «Ты меня любишь?» А если они три дня не виделись: «Ты очень скучал?» Каждый раз, когда она это спрашивала, хотелось отрезать: «Не люблю и не скучал!» Но это было бы неправдой, потому что скучал невыносимо и злился на себя, когда во время работы рука вдруг начинала сама выводить мягкий профиль в спирально закрученных прядях. «Что значит — поставим точку? — переспросила она. — Ты хочешь сказать: «расстанемся»?» — «Ничего я не хочу сказать! Ничего я вообще не хочу! Оставь меня с этими глупостями! Ты живешь как мышь и дальше собственного носа ничего не видишь! И хочешь, чтобы я жил так же! А я другой, понимаешь! И не навязывай ты мне эти заботы, эти, чтоб им провалиться, приторные радости!» — «Разве я навязываю?» — спросила она хрипло. «А разве нет? И почему ты все время говоришь о себе? Только и слышу: я, я, я!» — «Подожди, — прошептала она и, видимо, делая над собой усилие, встала с кресла. — Подожди, я, наверное, не права, но я так мучаюсь, что ты живешь какой-то совсем не зависимой от меня жизнью и мне нет в ней места, я ревную, мне горько. Но ведь это пройдет, ведь это уже прошло почти, правда?» Влажный, соленный от слез шепот прервался. Она подошла и положила круглые белые руки на его плечи. Мокрым пылающим лбом прижалась к его подбородку. Несколько секунд он стоял неподвижно. Круглые руки погладили его лицо.

Он поцеловал затылок в перепутавшихся рыжих спиральях. Все это уже было.

«...понимаешь, все это уже было! Было сто раз! Я жил с ощущением пропадающего времени. Мне казалось, что я настоящий художник, из тех, которые рождаются раз в сто лет! А мне мешают, мешают! То, что творилось тогда в живописи, ты представляешь. Идиотизм и газетные травли. А дома была она с этой настойчивой любовью, с этим эгоизмом и одновременно честным желанием угодить мне, предупредить каждое мое желание! Пытка какая-то. Но стоило ей на два дня уехать к матери, я терялся и не находил себе места!» — «Она красивой была?» — «Красивой — очень. Но не в этом дело. Она была — как бы тебе сказать? Разве я могу, например, описать словами себя самого? Разве я вижу себя со стороны? Вот так и она. Когда говорят, что женщина была создана из ребра мужчины, я это чувствую буквально: ребро — мое, а женщина — она». — «Кажется, я понимаю. А потом?» Медленно проплыл троллейбус вдоль Гоголевского бульвара. Было не поздно, но в окнах большого серого дома напротив уже горел свет.

«Потом началась война. Мы прощались на пороге нашей комнаты, я целовал ее и просил не провожать дальше, и тут она сказала, что ждет ребенка. Помню, какое радостное, светлое лицо было у нее, когда она оторвалась от меня и произнесла это. Она произнесла это как-то даже весело, словно и не было тех четырех дней, когда она металась по дому, собирая мои вещи, ждала меня под дверями военкомата, а ночами, во время которых мы почти не спали, все шептала и шептала, и просила прощения, и плакала так, что обе подушки, моя и ее, были насквозь мокрыми. И вдруг, в самый последний момент, подняла лицо, светлое, розовое, в рыжих своих локонах, и сказала мне весело: «Леня, у нас ведь ребенок будет. Ты вернешься домой, и у нас уже бу-

дет ребенок». Я оторопел. Не помню даже, что я сказал ей. Кажется, пробормотал, что сейчас не самое лучшее время. Она помолчала и весело пожала плечами. Потом прошептала: «Не волнуйся, я с тобой». И я ушел. Поцеловал ее ладонь. Это было нашим, особым прощанием. Я всегда целовал ее ладонь, когда мы мирились или расставались на какое-то время. Дверь захлопнулась. Она осталась за ней».

«Слушаю вас сейчас, и мне кажется, что все это кто-то сочинил нарочно!» — «Да. Но в жизни, знаешь, всегда так. Как это говорят? «Нарочно не придумаешь!» Так вот. Шла война. Животного страха перед ней у меня не было. Была только сильная физическая усталость. И навязчивая мысль, что теперь я долго не смогу писать. Ночами мне снились мои холсты, краски, подрамники. Иногда снилась она. Всегда веселая. С этим ее круглым сияющим лицом. Один раз приснилась с ребенком на руках. Тоже круглым, розовым, сияющим. После этого сна на душе у меня было почему-то скверно. Я написал ей очередное, сдержанное, как всегда, письмо, но в конце добавил, что беспокоюсь за ее здоровье. Она ответила, что все в порядке».

Теплый октябрьский вечер, поскрипывая сухой листвой, надвигался на Гоголевский бульвар. За чугунной оградой сумерки размывали кривые переулки с гулками дворами и открытыми, благодаря последнему теплу, форточками. Старуха в стоптанных мужских башмаках и с клочком чудом уцелевшей на шляпке вуали опустилась рядом на лавочку, наострила бескровное ухо. «Пойдем пройдемся немного», — сказал он и встал. Они пошли по направлению к Арбатской площади, и звук их шагов плавно поднимался вверх, застревая в полуголых деревьях.

«Однажды утром, как сейчас помню, шел мелкий слабый дождь и удивительно пахло грибами. Этим утром мне было поручено влезть на дерево и составить план

местности. Я как художник, по мнению начальства, должен был сделать это лучше других... Дерево было высоким, и прямо там, где обрывалась над головой листва, начиналось серенькое небо, которое сочилось эдаким щекочущим дождем, напоминающим слезы. Я прочно сидел на толстой ветке, работал, но чувствовал, что со мной происходит что-то странное. Внизу росли молоденькие елочки со светло-зелеными свечками на концах. Почему-то они вдруг напомнили мне детей, маленьких девочек, растопыривших платица. Кора на соседней сосне треснула так, что четко обрисовался профиль моего умершего брата. Вообще вокруг все как-то обострилось и приобрело почти жутковатый смысл...

Старуха в стоптанных мужских башмаках обогнала их перед самым памятником. На древнем лице ее вспыхнул красный отблеск промчавшейся «Скорой помощи».

«А дальше? Что было дальше?» — «Дальше? Помню, как я страшно тосковал по ней, сидя тогда на дереве. Может быть, первый раз за эти месяцы я тосковал и думал о ней по-настоящему, и чувство было такое, словно у меня оторвали половину тела. Голова кружилась так сильно, что еще немного, и я бы, наверное, упал. Вдруг меня позвали к комбату: «Левин! Машина за тобой! Генерал вызывает!» Комбат был удивлен не меньше меня.

В машине сидел молоденький лейтенант, лет не больше восемнадцати, а то и меньше. Лицо у него было совсем детское, молочно-розовое, как у очень здоровых детей, волосы рыжеватые, кудрявые, слегка напоминающие волосы моей жены. Я, помню, еще подумал тогда, что, если у нас родится сын, у него будет такая же вот золотая кудрявая голова... Когда мы приехали, выяснилось, что произошла путаница и генерал даже не слышал моей фамилии». — «Как?! Он не вызывал вас?» — «Говорю тебе: он обо мне даже не слышал. Поднял брови, почесал в затылке и приказал немедленно доставить меня обратно. Ничего не понимая, я сел в ту же машину,

но с другим уже шофером, лица которого, хоть убей, не помню, и вернулся в часть. Вся история заняла пару часов. Но интересно другое...» Он помолчал, собираясь с силами. Арбатская площадь хрипела гудками. Старуха в мужских ботинках расстелила на лавочке газету, положила на нее матерчатую сумку и осторожно опустилась рядом на краешек. Черный лист упал на ее плечо.

«Интересно другое, — отчетливо повторил он. — Вернувшись в часть, я узнал, что человек, которого вместо меня послали на дерево снимать план местности, убит». — «Господи! Я так и знала!» — «Да... Я, как ты понимаешь, онемел, услышав это. Ведь на месте этого человека должен был быть я! Кто спас меня? Откуда взялся этот кудрявый лейтенант, доставивший меня к ничему не ведавшему генералу?»

Вернувшись в Москву, он понял, что не может идти домой. Ее мать жила в Мытищах. Полупустая электричка с крепким махорочным запахом в тамбурах скрежетала колесами. Память без труда привела его к низенькому бревенчатому домику, заросшему мокрой майской сиренью. Теща, зарыдав, припала к нему на пороге, и через ее затрясшуюся голову он увидел на стене фотографию своей жены. Круглое лицо в спирально закрученных боттичеллиевских прядях. «Так как же это случилось?» — «Я сначала не поверила, что корь. В ее возрасте — корь! Но она действительно не болела корью, весь класс болел, кроме нее. И вот подцепила где-то на шестом месяце беременности. Температура была выше сорока всю неделю, потом осложнение... И все. Все, Лень!»

Не отрываясь, он смотрел на круглое лицо, светлым пятном повисшее на стене. Боттичеллиевские пряди, откиннутые ветром. Корь. Детская болезнь. Как это похоже на нее. Она никогда не была взрослой. Ребенок, унесший с собой в могилу их сына, у которого тоже, наверное, были такие же волосы... Золотые, сияющие... На круглой головке...

«Леня, я хоронила ее почти одна. Соседки только пришли. Она лежала как живая, только что не улыбалась. Такая спокойная, светлая. И дождик шел. Теплый, несмотря на середину октября...»

Арбатская площадь дрожала тусклыми рекламами. Старуха в мужских ботинках неподвижно сидела на лавочке. Черный лист, как птенец, вздрагивал на ее плече. «Подождите! Она еще жива была, когда... Когда вы... Когда появился кудрявый лейтенант?» — «Не знаю. Думаю, что нет. Или это были ее самые последние дни. Она умерла шестнадцатого, а вот какого числа меня вызвали к генералу, не помню. Помню только, что известие о ее смерти я получил через три примерно недели. Но почта так работала, что...»

Не сговариваясь, они повернули обратно, оставив за спиной Арбатскую площадь с неподвижным Гоголем и старухой в мужских ботинках, которая остановившись глазами смотрела вслед, пока чернолиственный сумрак бульвара не поглотил их.

ТАТЬЯНА
БУЛАТОВА



ПРОСТИТЬСЯ ХОЧЕТСЯ



Никто ничего толком не помнил, да и спросить было не у кого. Все умерли, а те, кто остался, родниться не желали и делали вид, что тех самых, дурных провинциальных, родственников в их жизни не было и не могло быть. Да и откуда бы они взялись на Смоленской? В самом, можно сказать, сердце Москвы? А про Старомлыновку-то те, что в Москве жили, и слыхом не слыхивали, и видом не видывали. И не знают, что Старомлыновка и Старый Керменчик — это одно и то же. А уж про то, что «керменчик» в переводе с греческого означает «мельница», тем более.

Стоп! А греки-то тут при чем? Про греков-то они вообще не говорили: какие такие приазовские греки-урумцы?! Ну, были греки, и что? Были и сплыли — все на кладбищах лежат и никого не трогают. Вот и вы нас не трогайте: ничего не знаем, ничего не ведаем и не хотим!

— Не хотите — как хотите! — ответили провинциальные родственники и прекратили любые попытки к сближению. Тем более что все равно им дверь не открывали и на телефонные звонки не отвечали. А зачем? Если разобраться, никакой пользы от этих провинциалов не было, только дурацкие вопросы про какое-то место на кладбище, про то, как случилось. Ну, надо сказать, достаточно их Москва терпела, пока Липа была жива.

Липа — это отдельная история. Очень короткая и знакомая почти каждому. Включаешь передачу «Жди меня» — и, пожалуйста, сколько хотите таких историй.

Ну, например: «Ищу свою настоящую маму, бросившую меня сорок лет назад. Те, кто видел и знает что-нибудь об этой женщине, отзовитесь!» Дальше прилагается старое коллективное фото: мама обведена в кружочек. Вся страна плачет и с нетерпением замирает около телевизоров: покажут мать эту или сгинула-таки?

«Зачем?» — вопит скептически настроенная часть аудитории. — Зачем беречь затаившиеся раны? Чего вам дома-то у экранов телевизоров не сидится?! Чего вы письма пишете и фотографии шлете? Кому это надо?

«Мне!» — заочно отвечают добрые сердцем и верят, что кто-нибудь да откликнется! Но скорее всего — никто, как и в случае с провинциальными родственниками Липы, натыкающимися на один и тот же вопрос:

— Зачем вам знать, где похоронена Олимпиада Семеновна Серафимова?

— Надо, — ответили бы они, но их никто не спрашивает.

— Какого черта?!

— Проститься хочется, — скажут родственники и вздохнут: — А то ведь так и не попрощались!

— Так уж лет сколько?!

— Какая разница?! — удивятся провинциальные твердолобы и подадут записочку в церкви, чтоб поминали рабу божью Олимпиаду, царствие ей небесное.

Если по порядку, то история вообще-то занимательная. Жили-были в Старом Керменчике купцы Серафимовы. И было у Серафимовых пятеро детей: Антон, Георгий, Иван, Мария и Олимпиада. Хорошо Серафимовы жили, богато. Дом каменный. Прислуга. «А-а-ах, прислуга?! — прищурилась советская власть. — Дом каменный? Подать сюда Серафимова-отца, пусть перед судом рабочих и крестьян ответ держит!»

Какой ответ мог услышать самый справедливый суд в мире, одному Господу Богу известно. Сам Серафимов о нужных словах не догадался и показал представителям

закона фигу, за что и был отправлен в места, где греки отродясь не жили и жить не могли, но не добрался — сгинул вместе с женой по дороге.

Стали детей делить керменчковские родственники: девочек — налево, мальчиков — направо. По справедливости поделили, как время того требовало: девчонок — работницами в семью, мальчишек — в детдом. Выйдут и те и другие к забору, смотрят друг на друга и воют тихонько, чтоб никто не видел. Чудно как-то вышло: вроде как разлучили братьев и сестер, а на деле — общим кошмаром связали. Сначала цветной кошмар был, а потом стал черно-белый, но от этого не менее страшный: оставшиеся в живых четверо, за исключением Ивана, помнили, как во время голода с территории детдома даже трупы не вывозили, так вилами в ямы и сталкивали. И Ванечка там же, в одной из этих ям: разве найдешь?

Договорились братья и сестры не вспоминать о том времени, не тревожить спящий кошмар, чтоб не повторился, не обрушился на них вновь, не развел по разные стороны забора! Липа и Маруся всю жизнь вину свою чувствовали перед братьями, а зачем? Не они же детей делили!

— Не вы же выбирали, куда идти?! — поправлял буйные кудри огромный Антоша и обнимал сестер за плечи много лет спустя.

— Не мы, — плакали обе и просили прощения.

Простили братья. Простили и взяли с сестер клятву родниться, чего б ни случилось, в какие бы дали судьба ни разбросала. Между прочим, ни в какие особые дали их судьба и не закинула: Георгий, Мария, Олимпиада в Москве обосновались, а красавец Антон — в небольшом провинциальном городке в тысяче километров от столицы.

— Переезжай к нам! — звали брат и сестры. — А то далеко!

— Ничего не далеко, — успокаивал их брат. — Всего ночь езды.

— Давай переедем! — просила любимая жена Аня и показывала пальцем на большой живот: — Москвич родится.

— Не поеду, — упирался Антон. — Живем и живем. Плохо тебе, что ли?

— Не плохо, — отвечала любимая жена, но в Москву рвалась, как в рай небесный, к Мавзолею поближе...

Рвалась-то она рвалась, да Москва не принимала. А все Олимпиада, больше всех недовольная браком Антоши. Как знала, что не к добру этот брак случился. К ее личному «не к добру». Болтливая жена брату досталась. А болтливая жена, что от дрожжей пена: сколько ни отливай, все равно через край.

Вот через край-то все и полилось. А ведь Липа этот край не просто оберегала, а укрепляла до состояния Великой Китайской стены. Да только для любопытной невестки китайское чудо света помехой не стало: все выяснила, все вызнала и все, кому следует, рассказала.

А рассказывать было о чем, потому что Олимпиада Семеновна Серафимова страшные тайны в себе носила и даже для их сохранности всех подруг изничтожила, чтобы, не дай бог, не проговориться. Только свои и знала. А свои — это Маша, Антоша и Жора. Свои-то свои, да и те ее страшной тайны не уберегли.

Что ж это за тайна за такая, вы спросите? Что ж это за тайна такая, чтоб миру о ней было знать не положено?

Ну, во-первых, замуж Липа вышла не по правилам: за двоюродного брата с неприличным именем Адрастос и не менее странной фамилией Вергопуло. Фамилию свою оставила, чтоб комар носа не подточил. Боялась, но Адик сказал «можно», потому что был по образованию юристом-коммунистом и когда-то занимал секретную должность при самом прокуроре Вышинском.

О занятиях Адрастоса дома знали немного, но жили хорошо, богато, можно сказать. По санаториям ездили, спецпайки получали, квартиру, опять же, новую, на Смоленской, в самом центре. Выйдешь — МИД стоит нерушимой баррикадой и защищает Липочкину жизнь от невзгод и печалей, хранит, так сказать, ее преступную любовь.

Об одном Олимпиада молилась: чтоб от этой преступной любви детей не было. И как-то так получалось, что их и не было. Со стороны Серафимовых думали, что Липа бесплодна, и даже радовались ее женской пустоте, потому что странные истории ходили среди старомлыновских греков об Адрастосе Вергопуло. Такие странные, что мороз по коже. Опасались старомлыновские Адика, а потому и не заезжали в гости из своего Приазовья и вообще делали вид, что не знают они такого Адрастоса. Ну, помнят, конечно, но не так, чтобы очень.

Липу это обижало и радовало одновременно, она даже порой заглядывала к любимому Адику в глаза и жаловалась на забывчивых родственников.

— Дурочка ты моя, — устало говаривал Вергопуло и обнимал жену за плечи до какого-то внутреннего хруста.

— Больно, — отстранялась Олимпиада и легко толкала мужа в грудь.

— Дурочка, — шептал Адрастос, и руки Липочки ослабевали, и прела тонкая шейка под кудрявыми волосами, и кружилась голова от пронзительного желания, подчинявшего себе двоюродных брата с сестрой.

— Пусти-и-и, — кокетливо шептала Олимпиада, но не отходила от мужа ни на шаг.

— Не пущу, — грозился невысокий коренастый Адрастос и своими волосатыми руками умело опрокидывал ослабевшую Липу на что придется.

О том, что так же умело он опрокидывает и других, Олимпиада догадалась не сразу, а только после звонка

в дверь. Открыла и обмерла — на пороге в солнечном сиянии стояла сама Дева Мария с младенцем на руках. И только когда она не очень чисто, с каким-то странным выговором, изрекла свое первое слово, Липа протерла глаза и увидела перед собой потерявшуюся от отчаяния молодую женщину, выгодно отличающуюся от нее, от Липы, прекрасным сложением и цветом губ.

Рот у разлучницы был вызывающе прекрасен: начиная с его формы и заканчивая цветом переспелой вишни. «Как ярко, — отстраненно подумала Липа, вспомнив свое отражение в зеркале. — Как красиво!.. И смело». Почти ничего из того, о чем говорила маленькая молодая женщина, Олимпиада не понимала. Она просто смотрела за тем, как двигается этот живущий отдельной от лица жизнью рот, и даже не ревновала, с легкостью отдав пальму первенства обладательнице такого соблазна. На самом деле через какое-то время Липа поняла, это был рот измученного болезнью человека — обметанный по краю губ четкой бордовой линией, сухой и опухший. Каким недугом страдала разлучница, Олимпиаде было неважно. Важно было лишь то, что в руках у нее кряхтело бесценное сокровище.

Липа протянула к сокровищу руки, разлучница положила сверток к ее ногам и, скривившись, выдохнула: «Адику передайте». — «Надо же, — удивилась Олимпиада. — Она тоже зовет его Адиком». На том и простились.

Останавливать разлучницу Липа не стала. Как замороженная, присела она над запеленутым ребенком и пытливо вгляделась в его сморщенное личико. «Надо же», — только и повторяла Олимпиада, примериваясь к тому, как взять на руки убогий сверток. Как сумела, подняла, внесла в квартиру, положила на кожаный диван и стала разворачивать: оказалось, девочка.

— Ну, здравствуй, девочка, — поприветствовала ее Липа и заплакала, уже не от обиды, а от нечаянного счастья.

Обида пришла позднее, когда вернулся Адрастос. Вергопуло оправдываться не стал, хмуро посмотрел на младенческие смуглые коленки, и в гневе выплюнул:

— Ссу-у-ука! Такая же сучка, как и ее мать.

Олимпиада опешила, но ничего мужу не сказала, просто ходила за ним по квартире, как тень, и, если получится, заглядывала в колючие ледяные глаза.

— Что ты ходишь за мной, как привидение? — взвизгнул Адик и бросился на жену в приступе ярости.

— Она тоже Адиком тебя называет... — спокойно произнесла Олимпиада и встала как вкопанная, покорно опустив руки.

— Меня многие Адиком называют! — завизжал Вергопуло.

— Нет, — не согласилась с ним Липа и продолжала стоять на месте. — Так тебя зову я. И она... — добавила Олимпиада, немного подумав.

— Чего ты от меня хочешь?! — продолжал Адрастос насканивать на жену. — Выкинуть в окно? Сдать в детдом? Подбросить соседям? Говори! — потряс он кулаками.

— Ничего, — убила его наповал ответом Липа. — Пусть будет.

— Кто-о-о-о?! — застонал Адик. — Может, она и не от меня. Просто...

— От тебя, — оборвала его по-прежнему спокойная Олимпиада. — Она на тебя похожа. Я посмотрела.

— Что можно разглядеть в этом куске мяса? — не поверил Адрастос.

— Это не кусок мяса, — поправила его жена. — Это твоя дочь. И... значит, она и моя дочь. Пусть будет!

— Ты сумасшедшая! — запрыгал на месте Адик. — Ты что, будешь принимать всех подкидышей?

— Нет, — успокоила его Липа. — Но это твоя дочь.

В течение недели название «твоя дочь» сменилось полнозвучным греческим именем Ксения, на которое Адрастос отреагировал кривой усмешкой.

— Тебе нравится? — поинтересовалась Липа.

— Мне все равно.

К дочери Вергопуло относился со злобной брезгливостью, по возможности избегая тактильного контакта и стараясь не оставаться с нею наедине. Когда Олимпиада поняла, что происходит, то собралась с духом и задала мужу прямой вопрос:

— Почему?

— А вдруг заразная? — хмуро ответил Адик и вытер вспотевший лоб носовым платком.

— Абсолютно здоровая, нормальная девочка. Не надо бояться. Это же твоя дочь.

В то, что Ксения действительно его дочь, Вергопуло поверил не сразу, а только тогда, когда обнаружил на ее ножках сросшиеся пальчики. Точно такие же, как и у него. «Фамильная черта!» — обрадовался Адрастос и взял дочь на руки, чем вверх Олимпиаду в полную растерянность. Она даже не осмелилась войти в комнату и бесшумно прикрыла тяжелую дверь.

Чем старше становилась Ксения, тем нежнее относился к ней отец, когда-то называвший свое дитя «кусочком мяса». Теперь он называл ее Кесенька и призывно хлопал по коленке, когда та появлялась в его кабинете:

— Пойдешь?

Девочка не отвечала ни слова и тараном шла на отцовские коленки. Забравшись, она заглядывала ему в глаза и пыталась трепать его за уши. Уши почему-то ей нравились больше всего остального. Возможно, потому, что всегда были бархатистые и прохладные на ощупь.

— Нельзя! — строго говорил Адрастос, а потом не выдерживал и начинал щекотать Кесеньке упругое пузо. Та смеялась взмахивая и выгибалась на коленках дугой для того, чтобы увидеть комнату в перевернутом состоянии.

Олимпиада всячески поощряла свидания отца с дочерью, каждый раз отмечая, как же они похожи: срос-

шиеся третий и четвертый пальцы на ногах, круглые животы и короткие рахитичные ноги.

Тем не менее Ксения выросла волоокой красавицей с тонкими дугами бровей. У нее был манящий материнский рот, глядя на который даже изрядно постаревший Адик предавался мучительным воспоминаниям и краснел. От Олимпиады ей досталась способность красиво есть и затейливо сервировать стол. Больше ничего в ней не напоминало ее приемную мать. Вот если только фамилия.

Имени Адрастос Вергопуло Ксения стыдилась, не взирая на заслуги отца перед отечеством, а потому в девятом классе взяла фамилию Серафимова, о чем даже не поставила родителей в известность. Когда тайна оказалась раскрыта, Адик пришел в бешенство и избил дочь португеей, оставшейся на память почетному пенсионеру Советского Союза со времен службы в НКВД. Ксения не проронила ни слова и только попыталась схватить отца за волосатые руки, чтобы приостановить побои.

Олимпиада вмешиваться в генеральное сражение за право носить ее фамилию не стала и плотно закрыла у себя дверь, чтобы не слышать отвратительных звуков хлопающего по телу ремня. Такого предательства Ксения от матери не ожидала и долго не могла простить ту, благодаря которой осталась в живых, да и еще при таком родителе.

— Ты мне не мать! — прошипела она в Липину сторону, вырвавшись из отцовского кабинета. Так близко к истине она еще никогда не была.

Впрочем, Антошина жена эту дистанцию сократила в одночасье, поведав уже замужней Ксении в один из своих приездов в Москву занимательную историю в духе рождественских сказок.

— В общем, если бы не Липа, неизвестно, кем бы ты стала. Может, такой же беспутной, как твоя родная мать.

— Это правда? — сдержанно поинтересовалась беременная Ксения у Олимпиады.

— Нет, — отказалась та, став белой как полотно.

Больше спросить было не у кого: Адрастос Вергопуло к этому времени преспокойно отлеживался на Введенском кладбище среди таких же, как он, почетных покойников СССР. А его место в доме, естественно, перешло к кандидату почвоведческих наук родом из дружественной республики Арчилу Ясидзе, чью фамилию отказалась носить непокорная Ксения Серафимова.

— А что? Очень даже может быть, — обнадежил кандидат почвоведческих наук свою беременную половину, поделившуюся подозрениями по поводу своего происхождения, и даже привел аргумент: — Ты же совсем на нее не похожа.

«И правда, не похожа», — согласилась про себя Ксения и через месяц родила девочку, как две капли воды напоминающую ее саму в детстве: даже сросшиеся пальчики на ножках и те были в наличии, фирменные вергопуловские сросшиеся пальцы. «Вот тут я уверена на все сто!»

О факте рождения Аллы Ясидзе сообщили исключительно грузинским родственникам. Среди старомлыновских остался один Антоша, отношения с которым Липа поддерживала, можно сказать, инкогнито, наотрез, демонстративно отказав от дома болтливой Анне. Ни Георгий, ни Мария порадоваться за нее не могли, ибо ушли давно в ту же сторону, что и Адик, правда, с гораздо меньшими почестями.

Перемирие между семьями наступило спустя семь лет, когда к Олимпиаде пришло понимание настоящего сиротства в собственной квартире. Грешить, конечно, нечего: старость, она к поддержанию связей не располагает, но как-то уж очень странно стала чувствовать себя Липа, передвигающаяся по одному и тому

же маршруту: коридор — кухня — коридор — комната. Олимпиада даже не заметила сразу, что обожаемая ею внучка Аллочка уроки и те готовила на кухне, потому что там было «бабушкино место». Но Липа на жизнь роптать не стала и с удивительной легкостью простилась с возможностью сидеть в бывшем кабинете Адика. Теперь там восседал за дубовым роскошным столом, на котором искрились запертые в стекло минералы, доктор почвоведения, которому категорически запрещалось мешать. А вдруг от внешнего нечаянного шума разлетится вдребезги научная гипотеза? И что же тогда делать господам почвоведом? Землю жрать? Нет уж, увольте! Это уж вы как-нибудь сами. А мы все больше по экспедициям да по экспедициям. Зато вернешься — полон рюкзак драгоценностей: трогать нельзя, смотреть можно.

«Шикарная коллекция!» — поражались коллеги-почвоведы и жутко завидовали обладателю несметных сокровищ. Тут и спрятанный под стеклом бажовский малахит, и золотистый, искрящийся на свету цитрин, и уходящий в чернильную крепость аметист, и еще много-много всякого каменного добра: опал, берилл, хризолит...

— Аллочке приданое, — радовалась Липа, наивно предполагая, что стоит только протянуть руку — и уже можно бежать в ювелирную мастерскую.

«Темнота!» — шипел себе под нос Арчил, раздражаясь только от одного участливого вида тещи. А потом, чтобы не раздражаться, начал закрывать кабинет на ключ изнутри. На вопрос «зачем?» Ксения прямо ответила:

— Он работает. Ты мешаешь.

Чтобы не мешать, Олимпиада пряталась в своей комнате — узком восьмиметровом пенале, в котором стояла целомудренная односпальная кровать со сложенными пагодой четырьмя подушками, огромный, на львиных

лапах, шкаф красного дерева и втиснутый в этажерку маленький телевизор.

Необходимость посещать просторную гостиную отпала сама собой: вечером в гостиной ужинала семья, а «есть на ночь пожилым людям недопустимо». Кроме того, последние два часа перед сном — это период, отпущенный работающим и учащимся для того, чтобы восстановить образовавшийся дефицит общения друг с другом. А бабушка — так она сроду дома и всегда на глазах, может и потерпеть, посидеть в сторонке. Вот Липа и сидела, пока не поняла, что мешает нормальному ходу жизни Ксении, Арчила и Алочки.

Открытие это Олимпиада восприняла со смирением и попросилась в «отпуск» — брата навестить.

— Зачем это? — напугалась Антошина жена Аня, когда-то сыгравшая роль «топора в руках Липиной судьбы».

— Не знаю, — честно признался муж и призадумался.

Да и было по какому поводу! Олимпиада среди братьев и сестер славилась своей принципиальностью и строгостью в суждениях; однажды сказанное больше никогда не повторяла. А тут — на тебе, пожалуйста, зашла про то, что «ноги моей больше у вас не будет».

Когда обеими ногами Липа стояла на пороге невесткиной квартиры, она являла собой пример благочестия и европейского вкуса: габардиновый плащ-пальто бежевого цвета, на голове — фетровая шляпка, на ногах — австрийские туфли пенсионного фасона. Именно так, по разумению Антошиной жены, и должна была выглядеть счастливая московская старость. Впрочем, ко встрече Олимпиады Анна тоже основательно подготовилась, это стало понятно сразу же, как только она открыла дверь. На Анне было надето зеленое бархатное платье с черными гипюровыми рукавами.

Липа по достоинству оценила степень готовности невестки и троекратно расцеловалась с нею, не спуская глаз с разволновавшегося Антоши. Тот чуть ли не

плакал от радости, наблюдая пока формальный, но все-таки процесс воссоединения старомлыновской семьи Серафимовых.

— Прости ты меня, Липа, — всхлипнула Анна и протянула золовку к себе.

— Да что уж там, — отвернулась Олимпиада, пытаясь найти поддержку у брата. — Кто старое помянет...

— Правда, Липа, вина душу-то рвет. Не со зла, по глупости, а вон что вышло — семь лет не видались. Лежу вот ночью и думаю: вот как накажет меня Бог-то за мой язык! Как накажет! Страшно инда мне становится...

— Ну-ну, — снисходительно потрепала невестку по плечу Липа и собралась было пройти в комнату, не разуваясь, как это было принято в доме молодых Ясидзе.

— Ты куда это, не разувшись? — опешила Анна, чем поставила золовку не в очень удобное положение. — Вы же там у себя в Москве, не разуваетесь, что ли?

— Ну... как-то так. Я ведь уж и из дома почти не выхожу, если только в «Гастроном» спущусь за продуктами.

— А что, Ксения не ходит в магазин-то? — тут же проверила Анна московское благополучие.

— Что ты, Аня, какой магазин?! Когда ей — все время в своем обкоме пропадает, без выходных работает, дочь не видит.

— Ну, тогда понятно, почему вы по дому обутые шлындаете, — изрекла невестка. — Разуться некогда!

Олимпиада покорно вернулась в прихожую и сняла с себя дефицитные австрийские туфли.

«Ты смотри, — прошипела про себя ее невестка. — Старуха уже, а еще туфли на каблуках носит!»

— Ты бы уж, Липа, не разувалась бы, — засмутился Антоша. — Полы все-таки прохладные. Да и не убиралась еще Аня-то.

— Чего ты врешь-то?! — возмутилась Анна и бросила перед золовкой кожаные тапки со смятыми задниками. — Сегодня только мыла, пока ты встречать ее ездил.

Давай, может, чаю с дороги? — обратилась она к окончательно растерявшейся золовке.

— Мне б отдохнуть немного после поезда, — взмолилась Олимпиада и с надеждой посмотрела на брата: давай, мол, помогай! Никаких сил не осталось с твоей Анной бороться. До всего ей дело есть.

— Ты, Ань, и вправду не даешь человеку дух перевести, — расшифровал мысленное послание Антон Семенович Серафимов. — Пусть умоется, отдохнет, полежит немного, а потом уж к столу.

— Это как она хочет, — перешла на третье лицо Анна и язвительно добавила: — У нас тут не Москва, все просто, по-свойски. Никто неволить не станет. Захочет жрать — выйдет.

Разумеется, недовольство ее понять можно: когда так сильно чего-то ждешь, обязательно что-нибудь да не заладится.

Сама Анна представляла встречу с Олимпиадой следующим образом:

— Здравствуй, Ань, — должна была сказать Липа и потупить голову.

— Ну, здорово, коли не шутишь, — надлежало ответить Анне.

— Прости ты меня, невестушка, за то, что от дома отлучила, от московского-то своего...

— Да ладно уж, Лип, чего уж, и не обижаюсь я вовсе. У нас ведь с тобой один-то мужчина: Антон Семенович Серафимов, брат твой — муж мой. Куда деваться? Хочешь — не хочешь, а родниться-то надо. Много ли вас, старомлыновских-то, осталось?!

— Нет, не много, — полагалось произнести Олимпиаде и снова попросить прощения: — Простишь?

— Прощу, — готовилась ответить Анна Серафимова, и дальше предполагалось вручение даров. Под дарами Липина невестка предполагала вязаную крючком шаль молочного цвета, две метровых доски с пышными пиро-

гами и, конечно, знаменитые сдобные вертушки, посыпанные сахарной пудрой.

У Олимпиады должны были быть свои подарки, и для того, чтобы их рассмотреть и ощупать, Анне пришлось вернуться в реальность.

— Иди к сестре-то! — приказала она мужу и уселась в кухне лицом к окну, изображая из себя тактичную особу.

Дважды Антоше повторять не пришлось: через секунду он уже сидел у ног постаревшей за эти семь лет сестры и внимательно слушал ее короткую и грустную историю.

— Понимаешь, — жаловалась она, избегая смотреть в глаза брату, — никому не нужна... Нет, они, конечно, меня не обижают... И Ксения, и зять, и Аллочка. Они просто меня как-то не замечают: вроде на меня смотрят, а получается как-то мимо. А спросишь что-нибудь, сердятся: зачем это тебе? Много ты понимаешь! Специально, думаю, уеду. На неделю вот к тебе уеду и посмотрю, а то привыкли, что я все время рядом... А тут, глядишь, и опомнятся...

— Неправильно это, Липа. Они молодые, ушлые, им про нас многое не понять. Да ведь и Ксения-то у тебя не простая. Помнишь, как они, бывало, с Адиком схлестнутся, и все... хоть живых выноси...

— Она и сейчас такая, — улыбается Олимпиада. — В своих партийных боях закалилась.

— А Аллочка что?

— А что Аллочка? — расцвела Липа на глазах. — Милая девочка. Избалованная немного, но это нормально. Для девочек это, можно сказать, хорошо. Музицирует у нас Аллочка. Языки учит, Арчил настоял. Хорошая девочка, одним словом. Грех жаловаться.

— А к тебе как относится?

— Хорошо, Антоша, она ко мне относится. Шагу без меня сделать не может: привыкла за столько лет. Я ведь

ей колготочки-то до школы сама надевала. Жалко все было. А теперь что? «Здравствуй, баба», «пока, баба». Подружки, соседки... не до меня уже. А твои-то как, Антоша? Сколько ведь у тебя внуков? Не помню уже.

Брат закрывает глаза, перебирая в уме свое многочисленное потомство, а потом тихо сообщает:

— Четверо...

— Уже четверо? — удивляется Олимпиада, привалившись к Антошину плечу. — Просить тебя хотела. Умру... приезжай хоронить. Один ты у меня. Сделай все, как положено, честь по чести. И смотри, чтоб не кремировали. Не хочу...

— Чего это ты о смерти заговорила? — пугается брат. — Поживи еще.

— Поживу, — обещает ему Олимпиада, а потом смотрит пустыми глазами в дрожащее от уличного шума окно и беззвучно плачет.

— Липа, — прижимает он к себе ее седую голову. — Ну что ты! Ты еще молодая: правнуков дождешься.

— Глупый ты, Антоша. Я на семь лет старше тебя. И потом — ты в детдоме столько раз смерть видел, что за тобой она сразу и не явится. Так что пойдем в порядке строгой очереди. Сначала — я, потом — ты. Вообще Серафимовых не останется.

— Останется, — успокаивает ее брат. — Мои-то все Серафимовы.

— Это уже не Серафимовы, — качает головой Олимпиада. — Не греки. Полукровки. Серафимовы мы с тобой, остальные — на кладбище.

— Ну, хватит уже, Липа. Скучаешь по Серафимовым, поехали в Старомлыновку, их там — полпоселка.

— Ладно тебе! Полпоселка, — машет на брата рукой Олимпиада. — Настоящих-то никого, поди, не осталось.

— Может, и не осталось, — соглашается Антоша, но ехать в Старомлыновку не хочет. Не может, точнее. Бо-

ится старомлыновских воспоминаний. И Липа их тоже боится. И жить боится, и умирать не хочет.

Вечером Антошин дом шумит, как растревоженный улей: праздник, сама Олимпиада из Москвы приехала. Смотрит строго, губы поджимает и сидит за столом ровно-ровно, как струночка, невзирая на свои семьдесят семь. «Уже семьдесят семь! — поражаются племянники и переглядываются. — Вот это тетка! Всем теткам тетка! Гречанка. Москвичка. Сухая, как вобла. Шаль Анина на плечах. На руках — перстни. Царица! Не тетка никакая».

Каждого опросила, обсмотрела и, как показалось Анне, осталась недовольна. Иначе чем объяснить ее холодность и отрешенность? Все радуются, а она сидит как неживая. Неловко даже. «Чего приехала, спрашивается?» — злится Анна и на всякий случай проверяет, кто где.

Вон Антоша: в руках баян, ворот у рубашки расстегнут, лицо потное, надо лбом чуб кудрявый. Перец с солью — не совсем седой. Радует. Поет. И выпить не промах. Что значит — сестра любимая приехала! «Дети приходят — не так радуется», — отмечает про себя Анна и искоса смотрит на золовку. А та вроде и не видит: взгляд по стенам бродит, чумная словно.

Переводит взор Анна — видит сыновей. Все при параде — красавцы. Хмельные, как обычно, но красавцы. Хотя и от разных отцов, но дружные. Шумят, по плечам друг друга лупят, на тетку косятся, но больше столом заняты: наливай да пей.

И только младший — Николай — вокруг тетки вьется и льнет к ней. Льнет ведь как! Кровь, что ли, чуется! «Э-э-э-х! — вздыхает про себя Анна. — Старомлыновский замес! Греки, мать их!»

От увиденного у Липиной невестки в который раз портится настроение: как знала, добром этот ее приезд не закончится! «Так не случилось же ничего!» — подска-

звал Анне здравый смысл, а сердце по-другому чуяло: «Приехала! Разлучила!» И правда, затосковала Анина душа, заметалась серой птичкой под высоким потолком. Оттуда все видно: стол стоит, во главе муж сидит, а других вроде как через реку развело — она, Аня, с двумя старшими сыновьями по одну сторону, а Николаша с Олимпиадой по другую.

«Не отдам сына!» — заколотилось Анино сердце. Поднялась Липина невестка, обошла стол, под села к золовке, втиснувшись между ней и собственным сыном, и... предложила перемирие:

— Давай, Липа, споем?

Олимпиада от неожиданности аж отшатнулась: не пела она сроду, ни сама, ни в компаниях. Танец вот станцевать, фокстрот или вальс, — это пожалуйста. А петь? Увольте меня. Не пела и не буду, как не просите.

— Да ты что, Ань? Я и песен-то не знаю, — быстро начала отступать Липа. — Ты, может, сама?

Этого ее невестка и добивалась, знала, что нет ей здесь равных, потому и шла в наступление на старомлыновских.

— Ну, коли попросишь, — кокетливо произнесла Аня и посмотрела с вызовом на мужа, похоже, задремавшего над замолкшим баяном. — Спую!

— Спой, мам! — просит ее Николаша и любит ее. Красота неописуемая: профиль тонкий, скулы матовые — холеная барыня с иконописным лицом. А в глазах — черти пляшут и льдинки сверкают. Чего в ней только нет, в этой Анне-то: ни одна другая с ней не сравнится. И собственная жена не сравнится. Нет другой такой матери на свете — всегда верил в это Николай и детям своим говорил: «Она ведь мне не просто мама, она ведь мне — друг». И правда, не было у Аниного сына друга, чтоб такой же надежный, как она.

— Спой, Аня, — очнулся муж.

Олимпиаде все это не нравится. Она морщится, но, по негласному уговору, хлопает в ладоши, хотя хочется хлопнуть по губам нетрезвых мальчиков.

Расходятся поздно. Анна умело укладывает нагрузившегося мужа на диван и тоном, не терпящим возражений, приказывает золовке:

— Со мной спать ляжешь.

Липа молча кивает.

— Только предупреждаю, — строго ставит ее в известность невестка. — Я храплю. Если чего — буди.

— Я тоже храплю, — вдруг признается непогрешимая Олимпиада и с облегчением вздыхает: — А я боялась, думала, усну, захраплю, мешать буду...

— Не будешь, — успокаивает ее Анна и вытаскивает из Антошиного пиджака слуховой аппарат: — Видишь, вот. Снял, чтоб от шума в ушах не трещало.

— И давно это у него? — искренно огорчается Липа.

— Да вот уж как лет семь. Вот как ты на него обиделась, так и купили. Он еще говорил, это, мол, меня Бог наказал. Был болтливым — стал глухим. Вот как! — Анна делает таинственное лицо и начинает собирать грязные тарелки.

— Давай помогу, — предлагает ей Олимпиада и, не дождавшись ответа, принимается за дело.

Во время уборки золовка и невестка почти не разговаривают друг с другом: каждая делает свою работу. Анна моет, Олимпиада вытирает.

— Не терплю, когда не убрано! — пытается перекрыть шум воды Антошина жена. — Ночь спать не буду, а уберу.

Липа в знак согласия качает головой, а потом разглядывает рюмки на свет: чисто ли?

Когда уборка закончена, две пожилые женщины сидят за кухонным столом и смотрят в темные стекла, в которых сами же и отражаются. Складывается ощущение

ние, что их и не двое, а четверо: хочешь — к собеседнику обращайся, хочешь — к его отражению. Какая разница?

— А ты чего, Лип, приехала-то? — вдруг догадалась поинтересоваться Анна, но сделала это тоном крайне миролюбивым.

— Чего приехала-то? — переспросила Олимпиада.

— Ну...

— Думала, что встретиться, а вот сегодня-то поняла — попрощаться. В последний раз, видно.

— Это чего ж ты такого-то сегодня разглядела? — грубовато произнесла Анна, пытаясь отогнать от себя тревогу.

— Да я всегда это видела, — непонятно ответила золовка.

— Чего видела-то? — напугалась Аня.

— Точнее — не видела ничего. Раньше вот думала: родит мне Ксения, буду нянчиться, нужна буду.

— А то ты не нужна? — с сарказмом произнесла невестка.

— Не нужна я никому, Аня, — выдохнула Олимпиада. — У Ксении муж, у них — дочь, а у меня, кроме Антоши-то, ни одного близкого человека. Для чего жила? Зачем небо коптила? Уходить, видно, пора, потому и приехала.

Услышав признание золовки, Анна раздулась от негодования и попыталась ее успокоить, как умела:

— А у меня?! А у меня что? Спроси меня, Липа.

— А что у тебя, Аня? — подчинилась приказу Олимпиада.

— У меня, Липа... ничего хорошего. Видела, поди, ни одной рюмки не пропускают. Все не нажрут... Все им мало. Уж так мы с Антошей измучились с ними, так измучились.

— А Коля? — пугается за племянника Олимпиада.

— И Коля бывает, но не так. Видно, в вашу, старомлыновскую, породу. Греческая кровь! — вдруг с гордостью заявляет Анна.

— Да... — с не меньшей гордостью соглашается с ней Липа. — Похож он на нас. Даже вот ноги, смотрю, такие же, как и у Антоши. Колесом у Коли-то ноги-то.

— И чего хорошего? — вопрошает золовку Анна. — Скажи мне, что в этом хорошего? Утром встаю — об одном молюсь: хоть бы трезвые. Спать ложусь — хоть бы трезвые. Не о себе ведь молюсь, Ли-и-па! О них, проклятуших!

— Зато вы — семья, — жалобно роняет золовка, и глаза ее наполняются слезами.

— Да какая мы семья?! — из суеверных соображений отказывается быть счастливой Анна.

— Какая-никакая, а семья. Все живы. Песни вот поете. В гости друг к другу ходите. А я там одна.

— Так приезжай, — радушно приглашает ее невестка.

— Нет уж, спасибо! — криво усмехается Олимпиада. — Съездила, на вас посмотрела — еще хуже стало. Прямо вот знаешь, Ань, как мне нехорошо-то стало. Вот словно вынули у меня все там, — она показывает рукой на грудь, — а вложить обратно-то забыли. Я ж ведь специально уехала. Думала, напугаются, останавливать будут.

— И?

— Чего «и»? Зять сказал: кухарку найдем, пока бабушка гостить будет.

— Ну так ведь отпустил же в гости — пожалуйста, — как-то неуверенно начинает оправдывать Анна московского зятя.

— Отпустил, — соглашается Олимпиада. — А зачем про кухарку сказал? Про няню, чтоб Аллочку из школы встречала, обедом кормила? Не знаешь?

— Зачем? — задает глупый вопрос невестка.

— А затем, Аня, чтоб показать мне: «Не больно-то ты и нужна нам здесь, старая калоша. Уедешь — обойдемся. Никакой беды не случится. Хоть на год поезжай!»

— А ты? — растерянно спрашивает Анна.

— А что я? Сказала, на неделю. Да не смогу. Душа прям

так и рвется назад. Брата посмотрела. С тобой повидалась. Теперь можно и билет назад брать.

— Да подожди ты! — сердится на золовку Анна. — Пусть помучаются там без тебя. Узнают, каково это дом содержать, хозяйство вести, за Алкой присматривать, еще звонить будут и домой звать.

— Не будут, — не согласилась с ней Липа. — Сама слышала, как Ксения сказала: «Отдохнем хоть».

— Это Ксения-то?! — ахает невестка.

— Ксения, — поджимает губы Олимпиада и смотрит на свое отражение в черном окне.

— Вот видишь, Липа: ты ее подобрала, отмыла, вырастила... И что? За мать тебя не считает.

— Считает, — махнула рукой своему отражению золовка. — Только не за свою. Словно злится она на меня за что-то... Не пойму...

— И не надо! И не надо, — зачастила Анна, имевшая отнюдь не косвенное отношение к разладу между матерью и дочерью, а потом жестоко добавила; — Сколько волка ни корми, он все равно в лес глядит.

Ничего не ответила ей Липа, поправила растрепавшуюся за вечер прическу, обернулась подаренной шалью и буднично заметила:

— Пора уже и спать, Аня. Устала я что-то.

— А то не устала? — поддержала ее невестка, как-то мгновенно превратившаяся в старуху. — Ясное дело, устала. Я вон и то устала, ноги инда ломит.

— Артрит, что ли? — по-деловому уточнила диагноз Олимпиада.

— Он, — призналась Анна и заковыляла вслед за золовкой в спальню.

Уснули быстро. Храпели в унисон, периодически пугая друг друга особо раскатистыми руладами.

Ровно через день Липа уехала обратно. В гости не звала. Да никто больно-то и не рвался. Зачем? Хватало просто знания, что где-то там, в Москве, на Смолен-

ской, живет Олимпиада Семеновна Серафимова, пообещавшая уйти первой, как только подойдет неумолимая очередь.

В ожидании своего часа Липа писала письма и отправляла их в далекий провинциальный город. Впрочем, их и письмами-то было сложно назвать! Открытки по поводу государственных праздников. Причем одной и той же открыткой, на которой были изображены или распустившиеся майские ландыши, или ветка сирени, или краснопузые снегири, она могла поздравлять в течение всего года, пока не заканчивался личный запас почтовой продукции.

Аня так та вообще вскоре перестала удивляться, когда из почтового ящика к 9 Мая доставала открытку новогоднего содержания. На оборотной стороне покрытых снегом еловых лап могло быть написано: «Брата Антошу, невестку Анну, любимого племянника Коленьку и остальных Серафимовых сердечно поздравляю с Великим праздником Победы! Миру — мир! Целую, обнимаю, ваша Олимпиада».

— Смотри-ка! — не давала покоя мужу Анна. — С ума она там, что ли, сошла в своей Москве?! Может, маразм у нее? Ты бы позвонил Ксении, узнал бы, как сестра.

— Чего я буду звонить? — пугался Антоша и даже поговаривал о том, чтобы навестить Липу, пока та жива. Поговаривать-то поговаривал, а не доехал, не решился: уж больно хлопотно. Пока ждал подходящего момента, пролетело время, а вместе с ним — острое чувство нужды в кровном родственнике. Сейчас Аня, Коленька, внуки были для Антоши на порядок важнее, чем та очередь, которую в прошлый свой приезд определила сестра: «Сначала — я, а уж потом ты. Ты моложе».

Как выяснилось, не возраст определяет очередность, а сама смерть делает за нас этот выбор. «Что значит «не хочешь»? — заглядывает она в изумленные

лица напуганных людей. — Пора!» — «Так рано вроде: пожить бы еще!» — просит отсрочки человек, ссылаясь на занятость, молодой возраст, количество детей. «Незачем!» — грозит костлявая косой и страшно смеется пустым ртом. И ей все равно, где смеяться: в больничной палате ли, в детской, в доме престарелых... Абсолютно все равно. Иначе бы не взяла она постаревшего Антошу за руку. И не повела бы дорогами воспоминаний туда, где он когда-то стоял маленьким мальчиком перед заполненным человеческими телами рвом, куда вилами сталкивали его родного брата Ивана. Будь у смерти хоть капля жалости к человеку, она приходила бы за ним во сне и ласково бы уговаривала ничего больше не помнить, особенно из того, что остается здесь, дома, на земле. «Забу-у-удь!» — должна шептать смерть в человеческое ухо, чтобы не было страшно перед неведомым. Потому что у неведомого нет имени, и оно ни на что из известного человеку не похоже...

Узнав о смерти брата, Олимпиада заперлась в комнате: она чувствовала себя обманщицей, посулившей, да не выполнившей. «Как же так?!» — сжимала она руками свою седую голову и больше не могла произнести ни слова. Анне она перезвонила спустя десять дней и тускло сообщила о том, что приехать не сможет и что ей очень жаль, и ей, и Ксении, и Аллочке (та, похоже, и не поняла, что случилось). И еще Липа все время просила невестку не помнить зла, и признавала свою вину, и говорила, что отправила деньги, и что, наверное, больше...

Анна молча выслушала странную золовкину речь и зло поинтересовалась:

— А почему не ты?

— Ты права, — согласилась с ней Олимпиада, чем обезоружила невестку раз и навсегда. — Моя была очередь.

— Много ты понимаешь, — заплакала Аня в трубку, — чья очередь.

— Моя, — еще раз повинулась Липа.

— Нет уж, — собралась с духом Анна. — Живи теперь. Моя, наверное.

Она и вправду пережила мужа всего на полгода. Ушла быстро, в одночасье, и для всех неожиданно. Перед смертью ни с кем не простилась, словно торопилась куда-то. О ее смерти Олимпиаде сообщил Николаша, поседевший в год до бросающейся в глаза белизны.

— Коленька, — только и выговорила Липа и закусилла совсем бесцветные губы.

— Одна ты у меня, — прокричал разом осиротевший Николай. — Не умирай, что ли, тетка!

— Не буду, — пообещала она ему и закрыла глаза ладонью. — Без тебя не умру. До последнего держаться буду, а тебя дождусь.

Ксения вырвала у матери трубку и строго произнесла невидимому Коленьке:

— Я, конечно, все понимаю, Коля. У тебя горе, но мама — пожилой человек, поэтому ты ее не тревожь такими звонками. Мне, знаешь ли, не все равно, как она себя чувствует... Ты ее разбередишь, а мне потом в сиделку превращаться?! Давай впредь договоримся...

— Хорошо. — Он хотел сказать «Ксения», но не смог и повесил трубку.

Умирала Олимпиада, так и не придя в себя после инсульта, но именно так, как мечтают миллионы старух: в абсолютной чистоте. Ни пролежней, ни затхлого запаха — ничего этого не было. Ясидзе ее блюли: сиделку наняли, лекарства самые лучшие, благо Аллочка на врача выучилась и собственноручно бабушку пользовала. Но вот что удивительно: и дочь, и мать почти не говорили о том, что конец один. Они просто его ждали, как ждут освобождения от надоевшего бремени. И когда загляды-

вали в комнату Олимпиады, то задавали сиделке один и тот же вопрос:

— Жива еще?

— Жива-а-а, — отвечала сиделка, думая, что успокаивает родственников. — Что с ней при таком уходе сделается? Еще года два пролежит!

Про два года сиделка, конечно, зря говорила. Аллочка — врач, не хуже других видела, куда дело катится, а потому мать тербила и отцу покоя не давала: в любой день может случиться, потому из дома ни ногой.

— Что ж, на работу нам не ходить? — усмехались родители.

— На работу — пожалуйста. Из города ни ногой.

Боялась очень Аллочка один на один с мертвой старухой оставаться, а так и случилось: отец — на симпозиум, мать — на дачу. Увидев, как к вечеру изменилось дыхание парализованной бабки, Аллочка забила тревогу и вызвонила мать:

— Сегодня, наверное. Может, дяде Коле позвонить?

— Зачем? — поинтересовалась Ксения. — Все равно не успеет.

— А папе?

Мать повесила трубку.

Николая дома не было — только зря жену его переполошили.

— В Москве Коля, — кричала она по-провинциальному громко, словно находилась не в собственной квартире, а на переговорном пункте. — В гостиницу надо звонить, передадут.

— Хорошо, — приняла рапорт Ксения. — Я позвоню.

— Ла-а-адно, — проорала Колина жена. — Вы уж позвоните ему, чтоб простился.

Как чувствовала она — не позвонят, за хлопотами забудут, сама набрала, попросила администратора, продиктовала номер, фамилию, попросила передать. Передали.

Закипела Колина кровь, заметался седовласый мужик по номеру: что делать? Куда бежать? Сразу ехать? Звонить?

Позвонил. Трубку взяла Ксения.

— Как она? — вымолвил Николаша.

— Скоро уже.

— Проститься хочу.

— Не говори ерунды: она никого не узнает.

— Я обещал... Одна ведь она у меня осталась, больше никого нет...

— У меня она тоже одна, — напомнила ему двоюродная сестра.

— Я понимаю. Пусти меня, Ксения. Я только посмотрю на нее, и все, — взмолился Коленька.

— Не надо, Коля, — раздраженно проговорила Ксения. — Не до тебя.

— Я приеду? — предпринял Николай еще одну попытку.

— Даже не думай. Ни к чему. Ей все равно, а у меня гостей нет сил принимать.

— Я не гость, — проорал в трубку Николаша. — Пусти меня к тетке! Не увижу ведь больше.

— И не надо, — жестко ответила Ксения. — Нечего тебе на нее смотреть — все равно не узнаешь.

— А хоронить? Хоронить-то когда? Скажешь? Я задержусь...

— Хоронить будем, когда Арчил с симпозиума вернется.

— А когда? — не поверил своим ушам Николай.

— Через пять дней, вчера только улетел.

— А если она сегодня умрет?

— Ну и что?

— Как ну и что? Лето!

— В морге полежит, потом похороним.

— Ксения! — попытался еще что-то произнести Нико-

лай, но сестра уже повесила трубку. — Тварь! — выдохнул он и оперся о стойку администратора.

— Это вы кому? — поинтересовался портье.

— Пошел на х... — незамедлительно отреагировал седовласый Коленька и поднялся в номер, где долго сидел на кровати, обхватив руками свою большую голову, как когда-то сидела строгая Липа, узнав о смерти брата.

В ту ночь Олимпиада умерла, промывчав напоследок что-то нечленораздельное, которое неведомой силой подняло задремавшего Николашу с постели, и он, самый последний из настоящих Серафимовых, долго и по-детски плакал, всхлипывая громко и жалобно...

Липа пролежала в районном морге еще десять дней. Потом, разумеется, ее похоронили, правда, неизвестно, выполнив при этом ее последнюю волю об отказе от кремирования или нет...

Назойливые провинциальные родственники несколько раз пытались узнать название кладбища и номер могилы, но всякий раз натыкались на демонстративное недоумение:

— Господи, зачем это вам?!

— Проститься хотим, — не уставали объяснять надоедливые Серафимовы и просили по-хорошему, до тех пор, пока Ясидзе не поставили определитель номера и не перестали реагировать на их звонки.

Через год-другой родня успокоилась и перестала интересоваться всякими глупостями: что-о-о да где-е-е? Ясно уже — не наше дело. Не хотите говорить, не надо! Своей дорогой пойдем: все кладбища объедем, все регистрационные книги поднимем — год-то известный. Но нет! Не открывается тайна за семью печатями: то ли еще железные башмаки не изношены, то ли железные посохи не изломаны. А может, пока тикают эти железные сердца, так и останется неизвестным, где же покоится Олимпиада Семеновна урожденная Серафимова,

1907 года рождения, поселок Керменчик, что означает «мельница». О-о-о-очень старая мельница, на которую приазовские греки-переселенцы свозили зерно для помола. Поэтому-то село и переименовали в Старомлыновку, и путаться перестали! Так и пошло: Старомлыновка да Старомлыновка. На все село — пять родов, и один из них — Серафимовы.

МАРИАННА
ГОНЧАРОВА



ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В ОТДЕЛЬНО
ВЗЯТОМ ДВОРЕ

Рассказы

САГА О ГУРАЦКИХ



Соседи их боялись.

Гурацкие жили на третьем этаже, над квартирой моих родителей. Смешная пара. Она — блондинка фальшивая, цветом волос, как дворовая собака Альма, ярко-желтая, тощая, всегда в розовом или голубом в свои далеко не юные годы, всегда на высоких каблуках, ходила, перебирая сегментами ног, точно как фламинго по воде. И нос очень похож. И торговала рыбой на рынке. Все сходится. А он, Гурацкий, — чистый вомбат. Толстенький, прижимистый, плутоватый, вороватый, с мелкими бесовскими заплывшими юркими глазками, переваливается на коротюсеньких ножках. Особенно они хороши были вдвоем, в паре, — когда идут куда-то не спеша, ну чисто «дельфин и русалка — не пара, не пара». Она — неспешно и царственно на каблуках костлявыми ногами, складывая и раскладывая их в суставах: ча-а-ап! ча-а-ап! И он рядом — на две головы ниже, петляя вокруг нее мелко и мелко маленькими ступнями, как копытцами: топ-топ-топ! топ-топ-топ!

И все ничего, но Вомбат как напивался, так терял счет этажам. Притащится ночью, бабахает немалым кулаком в дверь к моим родителям и орет своей жене, надсаживается:

— Лы-ыда! Открой, Лы-ы-ыда! Па-хара-ша-му прошу, Лы-ы-ыда! Старая ты шкапа!

И папа мой всегда выходил и гнал Вомбата Гурацкого на этаж выше, к нему домой. И там уже гастроли про-

должались с участием всех Гурацких с другой стороны двери:

— Лы-ыда, открой, Лы-ыда! Ты — шкапа! Убью! — басом вопил пьяный Гурацкий.

— Сам козел! — дерзко пищала из-за двери Фламинга Гурацкая.

А дальше весь дом закрывал детям уши.

Такая семейка.

И деточки у них под стать.

Мальчик на зайца похож, низкорослый, прыгучий, ходил с подскоком, наверное, думал, что так он выглядит выше. И когда папа Вомбат его лупил, орал, как заяц, вот так:

«Ньга-а-а!!! Н-н-ньга-а-а!!!»

Когда Заяц Гурацкий повзрослел, тут же завел собственное дело: сбил из фанерных ящиков киоск. Переносной. Назвал «Дикая орхидея». Продавал там сигареты, чипсы, пиво. Солидное, словом, дело. Обычно стоял с ним у вокзала. Когда милиция гнала (он ведь нигде не был зарегистрирован, налогов не платил), Гурацкий, который Заяц, переносил киоск в другое бойкое место. А что его было переносить — поднырнул в него, в киоск, надел на себя и понес. Идет директор «Дикой орхидеи» в будке, как в пальто и шляпе, в будке киоска — будка хозяина, а рядом жена семенит — бухгалтер и экспедитор заведения «Дикая орхидея» с клетчатым баулом, где весь товар, и на поводочке неперспективная маленькая криволапая худенькая собачка Дозор, типа охрана. Штат, че! Не просто так.

А дочечка у Гурацких на козу похожа, глупенькая и довольно бодливая. Она как-то в школе еще подписывала тетрадку по английскому языку, грамотная. Написала не Sveta Guratskaya, а Sveta Duratskaya. В классе даже не смеялся никто. Это ж не юмор. Это правда. Так про Козу. Она получилась больше специалисткой по мужчинам. Она мужей меняет. Идет по своей улице с новеньким

и знакомит всех: «Познакомьтесь, это мой муж». А через неделю ведет свежего, демонстрирует, как вновь приобретенное домашнее животное: «Познакомьтесь, это мой муж». И все стесняются спросить, куда те деваются, прежние, может, она их ест?..

Словом, бойкая семейка!

И вот сыночек, который Заяц, аферист, изловчился родительскую квартиру продать — во-первых, без ведома родителей и сестры, во-вторых, дважды. Сменил замок, ключи забрал, а сам в Германию удрал — как-то проворно оформился по турпутевке и остался там непонятно как. Заяц теперь типа бургер. И когда наутро после его побега у входа в проданную квартиру собрались четыре семьи: заячьи родители Гурацкие, которые только из села своего родного приехали, Света Дурацкая, которая Коза, с очередным новым мужем на веревке, семья, купившая квартиру первой, с двумя шумными подростками, близнецами-футболистами, двумя собаками и клеткой с жако-попугаем (а как потом этот жако всех матом крыл! Вежливо кланяется — и матом, опять кланяется и опять посылает мастерски, артист!) и второй покупатель, грозный мужик Миша Чеботарь — далекобойщик, кулак-кувалда, с женой соответствующего ему формата и такой же тещей, лютой, большой и горластой, — ох, тогда дом залихорадило, затрясло и зашатало, прямо как во время землетрясения. Потом в той злополучной квартире за несколько месяцев кто только не был: и участковый, и следователи уголовного розыска, и прокуратура, и понятые, и любопытные, и группы поддержки со всех четырех сторон, все агрессивные, но с разной степенью бесноватости — уже колотили друг друга — крики, лай, плач, визг, свист, выстрелы, топот, грохот... Жители дома все в этом подъезде, как на фронте, — домой и из дому — короткими перебежками, пригибаясь и виляя, чтоб не получить рикошетом или за компанию.

Старый Гурацкий как-то из этого конфликта незаметно выпал, хотя практически всю жизнь в этом доме прожил, он просто ведь был пьющий — и у него из этого безвыходного положения, в отличие от других фигурантов, был свой простой выход. В запой.

И вот они все разобрались, а на самом деле никто ни в чем не разобрался, но как-то наша мэрия подсуетилась и надавала всем сестрам по серьгам за нелегальные сделки купли-продажи. А на младшего Гурацкого, который Заяц, дело не завел разве только очень ленивый, и подали на мошенника в розыск, прямо в Интерпол.

Глава же всего этого зоопарка, старый Вомбат, не стал отказываться от своих привычек, все пил и пил, а что уже теперь — только и пить. Как хряпнет — морда покраснеет сразу, взбодрится, и коротенькие ножки бегом несут его в наш дом. Старый Вомбат себе никогда не изменял и, как старый же конь, перся прямо к моим родителям под дверь кричать:

— Лы-ы-ыда, открой, Лы-ы-ыда! Шкапа ты старая, я тебя счас порешу, открой, Лыда!

И на этот раз его некуда было вести, потому что на третьем этаже вообще жители менялись каждую неделю. То странная молодая семья из трех незаметных туземного вида женщин и одного усатого в халате и тюбетейке. То целая ватага спортсменов с легкими спортивными велосипедами и местными хихикающими девушками ночуют. То три улыбчивые бабушки с гусятами, кроликами, петух на балконе два месяца вопил в полпятого утра, скотина. То вдруг мормоны притащились откуда-то — в белых рубашечках, с чубчиками, уши чистые, прозрачные и розовые. Бодренькие, как будильники, юноши сладкоголосые, строем ходили, спасать нас от чего-то хотели, а сами еле удрали от всего. То вообще какие-то в простынях с веревками на шеях, из-под двери дым вонючий, страшно было в подъезд выйти. Кто вообще всем этим инопланетным людям квартиру сдавал,

кто распоряжался, что так четко, как по графику, одни поселялись, другие съезжали, — не иначе младший Гурацкий, который Заяц, из Германии рулил.

А потом Гурацкий-старший, который Вомбат, вдруг проворовался: забежал в кафе, сунул лапку за барную стойку, цапнул выручку — и бежать. И по лестнице поскакал, пыхтя, сломя голову, ноги уносил, следы заметал. Но его официанты, молодые резвые мальчишки, сразу же высчитали и догнали, вызвали милицию, и Гурацкого немедленно поселили в другом месте.

Долго их не было видно всех. Гурацкая, которая Фламинго, в село свое уехала и потрясала местных жителей розовыми и голубыми нарядами и каблуками. Гурацкая-дочка, которая Коза, уехала куда-то за границу — там полно потенциальных мужей, не пуганных еще. А младший, который Заяц, пропал вообще. Не слышно, не видно, никто не знает, где и как.

И уже почти забыли о них. И квартира пустовала. И ни шороха оттуда, ни звука.

И только вчера вдруг ночью в родительскую дверь кто-то заколотил. И вдруг это кто-то как заорало на весь дом:

— Лы-ы-ыда, открой, Лы-ы-ы-ыда! Шкапа ты старая! Я ж тебе, Лы-ы-ыда!

Гурацкий вернулся.

Теперь все соседи опять боятся.

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОМ ДВОРЕ

Из цикла «Прошлогодний снег»



Когда приходит весна, нас начинает трясти. Это горы. Они стряхивают с себя зимний сон вместе с сухими листьями, обветшалыми городами и нами. Нет, это не каждый год. Карпаты стареют. Они все дольше спят. Но, бывает, вспоминают былые времена, просыпаются, оглядывают все вокруг с недоумением, потягиваются, встряхиваются, и тогда...

— Что-то давно нас не трусило.

— Тьфу! Типун вам!

— Что мне... Розе был сон.

— Оставьте, и вы ей верите?! Розе?! Роза! И ей верить... Я смеюсь вам, Кордонская! Как ей можно верить... Это же вообще! Что вы ей верите?! Зачем?! Вы что, сошли с ума?! Вы заболели? А какой сон?

— Зачем вам?

— Не... не, ну какой?

— Что-то незначительное.

— А что именно, что? что?

— Ну какая-то баба пробегала мимо.

— Пробегала? Куда?

— Бежала куда-то, Роза не сказала.

— Баба и бежала?

— Да, наверное, убегала от кого-то...

- А может, куда-то спешила?
- Наверное.
- И что?
- Пробежала и сказала: «Засиделись».
- Засиделись?
- Засиделись.
- Ну?
- Что?
- И что засиделись?
- Будет трусить. Так Роза считает. Тем более эта ска-
женная жара в мае...
- Да, не говорите, такая жара! Весной! Сразу такая
жара! Паразиты такие! Не дали даже привыкнуть!
- Кто?! Это же природа! При чем тут?..
- Ай, не говорите мне, они все могут. А вы, Кордон-
ская, возражаете, потому что у вас зять — народный
контроль.
- Если бы что, он тогда бы точно знал про землетря-
сение.
- Так он, может, знает, а вы, Кордонская, не дели-
тесь...
- Что?! Вы какая-то ненормальная совсем. То да, то
нет. Прямо верю — не верю.
- Хорошо, если вы такая нормальная, скажите, ког-
да же нас будет трусить?
- Ой, откуда мне знать! Такая жара.
- А если рассуждать?
- Ну, если Розына баба пробежала вчера...
- Ай, я не верю! И что?
- Сегодня-завтра... На днях.
- От, Роза, ну аферистка! Я ей не верю.
- А вдруг? Роза сказала, что приблизительно сегодня
ночью...
- Оставьте. Все она понавывдумывала.
- А еще приблизительно — с двух до четырех.

- Глупости! Вообще совсем.
- С двух до четырех.
- С двух до четырех... Ай...

Ночью в квартирах стали включать свет. Звонили будильники. Два часа. Быстрый топот на лестнице. Жители нашего дома в спешке покидали квартиры.

Когда все выскочили полуодетые, посреди двора в песочнице, молчаливо и спокойно, с чемоданами, шубами и дубленками, перекинутыми через руку, стояли Кордонские, у которых зять — народный контроль.

Все жители во дворе. Кто с ребенком на руках, кто — с кошкой, у Марика — клетка с канарейкой, у Феденовой — попугай Пьетро из Италии, говорит на двух языках, такой дорогой, ужас! Всего боится. Темноты боится. Шума боится. Мух боится — крылом прикрывается, из-за него одним глазом подглядывает. Орет: «Чао, Оля! Ча-а-а-ао!» Гончаровы держат собак на поводках. У Гурина — петух — такая сволочь, в пять утра ежедневно с балкона — ку-ка-ре-ку!!! — орет на весь дом — и два кролика. Тихих. Большая собака Гончаровых от Гурина не отходит, норовит обнюхать, а если удастся, и откусить от гуринского кролика. Дай понюхать, дай! Гав! Ну, да-а-ай! Вот это, пушистое, ароматное, дай кусочек!!!

— Уди! Уди, сказал! Гончаров, заведи пса! Заведи, а то я его сам покусая!!!

— Ты можешь, Гурин, ты можешь! Чак, отойди от него, мальчик! Отойди, родной, отравишься еще... Фу!

В окне на втором этаже мелькнуло лицо Брони Михайловны с огромной, в человеческий рост, керамической вазой.

— Мамаша! — закричал в это окно Кордонский. — Мамаша, не отвлекайтесь. — Хрупкая легкая его теща, косматая, как Эйнштейн, опять промелькнула в окне, но уже в обнимку с большим телевизором. — Положите бы-

стро телевизор на диван, бегите быстро-быстро! Бегите в залу держать стекло, ма-ма-ша-а! Сейчас уже будет! Начнется сейчас! Бегите в за-а-а-алу!!!

Теща проскочила обратно мимо окна уже налегке — обнимать горку с хрусталем.

Заскрипели ржавые качели на детской площадке. Тревожно.

— И-и-и-и!!! — кричит Гурин. — Паларию мою забыли!!! (Палария — это шляпа.) Эляна, иди домой, принеси мне паларию быстро. Я не могу идти, — схитрил трусливый Гурин, — кролики разбегутся. И гончаровская собака их сожрет, скотина. Иди ты.

— Так сейчас же будет трусить, Вася!

— А ничо-ничо... Ты бегом — и назад. Я же не могу без паларии. Мне холодно голове. Я ж абсолютно заледевший стою тут с кроликами.

— Так землетрясение, Вася, будет вот-вот, как же идти? — робко Эляна.

— А ты быстро. Раз-раз! Туда и назад. Кому сказал?! Ну?!

Эляна кинулась за Васиной шляпой, как герой со значком ГТО: «Ищет пожарная, ищет милиция...» Бдительные соседи перехватили Эляну почти у входа в подъезд. Эляна забилась в их руках, как будто горит квартира, а в квартире остался партбилет.

— Эляна, куда?! Вы что?! Что вы его слушаетесь?! Как вам не стыдно, Гурин?! Не бойтесь, Эляна, мы вас в обиду не дадим! — Это соседи.

— Ой, а кто берет? Кто берет?! — пристыженно отворачивается Гурин.

— Вы подумайте, как Гурин плохо к жене относится, вы подумайте. Даже поколачивает. А у нее, между прочим, высшее образование.

— Ну и что, что высшее образование? Может, она училась на одни тройки или, хуже того, на заочном.

Где-то в какой-то квартире что-то громко ухнуло и загремело.

— Ой, кто вышел?! Доктор! Неужели это вы? Какая удача, доктор, что у нас планируется землетрясение. А что вы тут с нами, такой занятой человек? А! У вас тоже собирается быть землетрясение? Ой, доктор, вы же у нас человек-легенда. Так у нас все и говорят: Курицын у нас — человек-легенда. Мы все с вас гордимся, что вы в нашем доме сосед. Какая удача, что объявили землетрясение! Вас же в обычное время не поймашь, доктор. А вы не посмотрите, что у меня тут выскочило? Вот так вот не видно, а если вот так стать и вытянуть шею влево, вот тут, тут... Вот-вот! О! О! Вам не видно? Не видно? От досада. Наверное, нету. Оно то выскакивает и чешется. То обратно заскакивает, и ничего, поэтому не видно. А вас же в обычное время нет... Что? К вам в поликлинику? А, хорошо, хорошо... А сейчас нельзя? А-а-а... Вам не видно... Ну так мы можем зайти к нам домой, я зажгу все лампочки... А-а-а... Ну, да, землетрясение, да...

Громко хлопает входная дверь. Все вздрагивают.

— Милик! Откуда ты взялся, Милик?! Если бы не землетрясение, мы бы и не знали, что ты еще живешь в этом доме, Милик. Слышал, Милик? Розе про это все был сон. Слышь? Что снилось? Ой! Баба бежала, хвостиком махнула... И весь дом ей поверил. А я уже неделю говорю им, что мыши по крыше топчут и цокают лапами, как орлы, что это не к добру, так мне они не верят. А вчера вообще я видела: целая стая мышей, целый косяк висел у нас во дворе на акации, как сливы висели, я так визжала, так визжала рано утром, так меня называли сумасшедшей, слышал, Милик? Значит, Роза, траченная на голову, с ее беглой бабой во сне — нормальная, а я, прямой перепуганный очевидец мышей на дереве, я — чокнутая. И на тебе — вот оно, сейчас будет землетрясение. Так кто прав? Розина баба или мои мыши?

— От этот Кордонский... Посмотрите, какие у него чемоданы. А шубы! Он взятки берет, а поймать не могут.

— Как это, не могут?!

— А никто не верит. Он залезает на дерево в парке, второй залезает на соседнее дерево и с дерева на дерево передает деньги. Тот дотягивается и передает. Тот передает, а этот берет. С дерева на дерево, с ветки на ветку. Представляете себе эту жалобу в милицию: «Кордонский залез на одну березу, я — на вторую березу...» Посмотрите на Кордонского. Кто же в это поверит?

— Лиля, вы заметили, что Манечка уже не живет со своим мужем Геной?

— С чего вы взяли?

— Ой, не смешите меня! Манечка с ребенком выбежала, ее мама-папа вышли, болонку вывели, овчарку вытащили, кошку вынесли, хомяка, черепаху... А Гена где?

— Ну, может, он не захотел выйти... В такой компании...

— Гена? Этот трусливый Гена не захотел?

— Он не только трусливый. Он еще и ленивый...

— Не смешите... Его просто здесь нет, в этом доме. Он просто здесь уже не ночует. Он здесь просто уже не живет.

— Манечка! А что такое? Что, нету Гены? На дежурстве... А-а-а... Слышите, Лиля? Он на дежурстве. Так тяжело работает, бедный мальчик. Знала бы его мама. Тянет всю семью. И Маню с ее ребенком, и Маниных маму-папу. Животных этих всех. Корми, лечи. И все он, Геночка, все он тянет на себе! Уже по ночам работает...

— Гриша, не кури! Не кури ночью, Гриша! Ой, Гришенька, смотри! Люся Мардалевич вышла, а?! Землетрясения боится. И как она тебе, Гришенька? Что же ты сейчас не ставишь мне ее в пример, Гриша? Не бойся, Гриша. Не бойся. Это действительно Люся. Нет, это

косметическая такая маска, зеленая. Она в ней спит, в этой маске. Ой, я умру сейчас! И в бигуди. Ну, как тебе, Гришенька? Теперь она тебе не так сильно нравится, а? Ты смотри-смотри внимательно, из чего красота состоит. Натуральная, природная красота, как ты, Гриша, говоришь...

— Ну что вы, Лиля! Не слушай ее, Гриша, вы знаете, как она за собой следит? Она же лишний раз не улыбнется, чтобы морщин не было. По утрам делает гимнастику цигун, кушает только серебряной ложечкой и только натуральные продукты. Утром стакан воды с медом и лимоном. Контрастный душ. Растительная диета. Одежда только из непальского хлопка, только натуральная. Телевизор не смотрит, газеты не читает. Не курит, не пьет. Спать ложится рано. Встает на рассвете. Проращивает пшеницу... Какая воля! Вы подумайте, какая сила воли! С ума сойти...

— Короче, одна хочет остаться. Одна на всей планете. Все помрут на Земле, сдохнут все, а она останется. Одна. Вот тогда будет жрать, пить что попало, телик смотреть, газеты читать... И курить! Вот тогда уже она накурится!

— Соседи, а где же Роза? Почему нет Розы? Она что, спит? Роза спит?! Так! Спокойно! Все спокойно!!! У-жас!!! Сейчас же будет землетрясение! Она же такая рассеянная! На нее, наверное, что-то упадет! Что-то навалится, наверное. На нее, наверное, упадет шкаф! Ой, люди! Ой!!! Ро-за! Ро-о-за!!! А ну-ка давайте все кричим! Вон туда, в то темное окно на седьмом этаже.

И все, кто во дворе, люди, животные, птицы, насекомые:

— Ро-о-оза! Ро-о-оза!!! Чао, Оля, чао! Ку-ка-реку!!! Гав-гав!!! М-р-р-р-мя-а-ау!!! Ро-о-оза!

— Все, хватит орать! Надо заходить и досыпать. За-

втра всем на работу. Тем более Кордонские уже зашли. Значит, уже нечего ждать. Идемте и мы.

— Доктор, так я завтра зайду, доктор? Может, как раз завтра, если повезет, у меня оно выскочит?

Еще немного постояли во дворе, повозмущались, как можно верить слухам, как можно... Побрели в дом. Опасливо. Уставшие. Пошли досыпать. Навстречу всем, кто входил в дом, по ступенькам в панике во двор бежала сонная Роза. Кто-то все же позвонил ей в двери, позаботился, чтоб она тоже недоспала. Светало...

АЛЕКСАНДР
СНЕГИРЕВ



ЛУКЕ БУКВАРЬ, ЕРЕМЕЮ КРУГИ НА ВОДЕ



— **У**бийственная красота. — Патрикей любит-ся на себя в зеркало. Нижние его конечности обтяну-ты красными лосинами, заправленными в сапожки. Остальное тельце голенькое, бледный животик пульси-рует, сосочки трепетно морщатся. На голове фальши-выми камушками поблескивает корона. Позу он принял балетную, добавив к ней непонятно где подсмотрен-ный, боюсь врожденный, вульгарный изгиб.

— Ну? — снисходит до меня Патрикей, отставив ручку с пластмассовым перстеньком на безымянном.

Не прошло и получаса, как он забежал мне за спи-ну, проникнув в открытую дверь, тотчас из комнаты донесся звук — удар по клетке. Его мать тоже не глухая, отправила мне нежную улыбку, полную извинений и раскаяния за сына. Я эту улыбку принял, как и торо-пливый поцелуй, которым она наградила мою левую щеку. Левша, все время слева чмокает. Приложила ко мне губы, как промокашку к незначительной факсими-ле прикладывали в пору чернил и перьев, а сама была уже не здесь, мысленно скакала вниз по ступенькам, не дождавшись лифта, и рулила нетерпеливо навстречу предсказуемым, многократно пережитым, но не менее от того желанным удовольствиям субботней ночи.

Заперев дверь, я шагнул в одну из двух комнат моего необширного жилища, в ту, где Патрикей колотил по клетке.

— Не надо пугать его, он живой. Вот если бы ты сидел в комнате, а по стенам бил какой-нибудь великан? — Я взял Патрикеев за руку и повел подальше от клетки, от забившегося в угол, моргающего длинными усами, представителя животного царства, шиншиллового семейства, серого меховика Кузи.

Напоследок Патрикеев треснул по клетке еще раз, оглянувшись с неутоленным волнением, с грустью, свойственной увлеченному трибунальному стрелку, когда уже подготовил под себя очередного приговоренного, а тебя снимают с вахты и твоего агнца выпадает прикончить сменщику.

Мягкие волосики на холке Патрикеев приятно скользнули под моей ладонью. Подзатыльник получился в меру крепкий, убедительный, без увечий.

Захныкал. Знал бы, как я себя сдерживаю, чтобы не свернуть его тонкую шейку с позвоночной оси, радовался бы. Маленький мерзавец проделывает с клеткой одно и то же, каждый свой ко мне визит. И что его привлекает в этих ударах? Мое волнение, ужас Кузи или глухой звон десятков накрест спаянных железных соломин?

Она приводит сына ко мне, когда не с кем оставить. Он играет с куклами и наряжается девочкой. Месяц как исполнилось девять. Мальчишка, который ни за что не соглашается в холода поддевать под джинсики обычные колготки, только лосины, да и те либо красные, либо других кабарешных цветов. Ладно бы только в холода, в теплое время он тоже носит только лосины, уже без всяких джинсиков. И как он умудрился корону отыскать. Я же ее спрятал глубоко в шкаф. Весь в мать, привычка рыться в чужих вещах. И вот он, быстро забыв о подзатыльнике, красуется передо мной в красных лосинах, сапожках и короне и едва не протягивает ручку для поцелуя.

— Ты очень хорош собой. Тебя ждет какао.

Заинтересовался. Скинул корону, поспешил на кухню. Корона от падения разломалась. Пластмасса. Я поднял половинки, убрал подальше, иду следом за Патрикем. Пороть его надо. Доктора говорят, при порке выделяются эндорфины.

— Салфетку.

Салфетки трубочкой торчат из вазы на расстоянии руки. Ему лень тянуться. Делаю вид, что не слышу, нахожу себе занятие — перебираю вилки, вглядываюсь, вдруг что новое в этих вилках разгляжу. Начинает громко хлюпать, брызгаться, утираться локтем, все время косясь на меня. Утрется и глянёт. А рядом на столе куколка сидит, которую он с собой притащил. Вся из себя фифа. Небось хочет стать таким, как эта куколка. Точнее, такой.

Немного тревожусь за его будущее. Что, если, когда он вырастет, примут закон, предусматривающий для физлиц за красные лосины посадение на кол при большом стечении мирян в немарком и практичном? И законодатели с исполнителями будут очень возбуждены. Созерцая казнь того, кто позволил себе запретное, непременно испытываешь возбуждение. Они в себе каленым железом, а этот позволяет. И от воплей его они будут спускать в недра своих балахонов, в поддетые под десять рейтуз красные лосины, которые и сами тайно натягивают, стыдясь только одного, высшего, свидетеля, которого, к счастью, не существует. А как еще словить это изысканное, произвольное наслаждение, как не искореняя в других то, что самому не дает покоя.

Начавкавшись досыта, Патрикей, не подозревая о своем отнюдь не безмятежном будущем, спрыгивает со стула и бежит, крутя красной попкой, в комнату, где я поставил для него мультики. К шуму колонок скоро прибавится треск моторчика. Машинка на дистанционном управлении, корябая углы, проедет по моей ноге, за ней с воплями и топаньем явится и сам Патрикей. Его фа-

воритка с телом из ударопрочной термопластической смолы подсакивает на водителском сиденье.

От беготни и бутербродного масла, опять забыл, масло ему ни в коем случае, моего малолетнего гостя вырвет. Его выворачивает на кошачий манер, плюх, и все. Никаких стенаний, изрыганий, испарины на лбу. Оклемается быстро и возьмется за взаправду летающий маленький вертолет, который тут же запутается в люстре, вырвав очередные, основательно после покупки вертолета поредевшие, висюльки. Что и говорить, я не из тех, от кого остается антиквариат. За люстру отругаю, хапну куколку, оказавшуюся в поле зрения, пригрожу отобрать ее до завтра. А может, и вовсе хрумкнуть совсем ее тельце, проверить ударопрочность? Поднимет вопль, схватит вертолет, швырнет о пол, потребует к маме, скажу, что мама только завтра, но куколку верну. Выхватит, бросится с ней, несколько картинно, на белую кроватку и заревет, словно княжна, которую насильно выдали замуж. Пережду острую фазу и предложу в кино, чем снищу прощение. Настроение у него меняется, как дым при переменчивом ветре. Даже продемонстрирует недавно освоенный навык — растянется на шпагате.

Шпагат. Он бы еще с лентами станцевал. С таким сыночком наследников не дождешься. И во что она его превратила.

Из сеансов для детей будет только фильм, который он уже видел с мамой, и потому станет бурчать, но к концу показа увлечется зрелищем настолько, что описается. В машине у меня припасены сменные трусики и лосины. Сиреневые. Переоденемся. Зайдем в его любимое место — один раз платишь и ешь сколько влезет. Влезает в него много. Давно сыт, а жрет. Любит профитроли. Нагребет целую гору. Ему нельзя, но я позволяю, чтобы избежать криков со слезами. На нас и так поглядывают,

особенно на лосины. Ест он эти профитроли брезгливо, с желанием и одновременным отвращением. С профитролями у него, как у взрослых со шлюхами.

На обратном пути обязательно блевает на заднем сиденье. Переел, и укачивает. Я наготове, пакеты в боковом кармане дверцы. Когда подъедем к дому, обязательно забуду в салоне испачканные трусики. Машина забита детскими вещами. Иногда фантазирую, что подумает полицейский, который однажды решит обыскать мое средство передвижения.

Дома мы почистим зубы, и я подоткну одеяло ему под пяточки. Боится, что если ножки торчат наружу, то обязательно кто-нибудь ночью дотронется холодными пальцами. Не успею выйти из комнаты, он уже будет спать и ночник станет ласкать тусклыми пятнами белую кровать. В его летах я заглядывался в витрине на большую белую кровать, пришло время — купил сыну похожую.

Проснется рано, разбудит, потребует завтрак. Когда подам, заявит, что мама дает другое, вкуснее. Скажу, у мамы свои порядки, у меня свои. Надуется. Затушу трагедию разрешением погонять конфискованный накануне вертолет. Но только на улице, после выполнения домашнего задания. Нехотя докажем теорему, помусолим стишок, коряво раскрасим карту перемещений Чингисхана. Потом во двор. Сморщит носик — свежая краска. Подновленные, местами примятые, с подмазанными трещинами, куличики бомбоубежищных вентиляций с решетчатыми иллюминаторами. Веники деревьев в зеленых клоках. Вчера еще были коряги, а сегодня так и дымятся листвой. Колтуны вороньих гнезд со дня на день утонут в распускающихся кронах, и вертолет станет тяжелее оттуда выковыривать. Раньше я хотел волосы в такой вот ярко-зеленый покрасить. А теперь расхотел, да и волосы уже не те.

Мама вернется вечером с опозданием. Таинственная, едва заметно растрепанная, улыбающаяся и хмурая минувшей ночи, набухшая желанием рассказать. Сыпанет на щеки сына горстку поцелуев, а сама будет не здесь, а где-то в прошлом и в будущем одновременно, но не с нами. И я проткну пузырь ее желания вопросом: «Ну как?», и на меня хлынут потоки волнений, счастья, а как ты думаешь, когда мужчина такое говорит, это серьезно? Я стану выслушивать, не перебивая, ей не нужны ответы, не для того спрашивала. После первой волны исповедания спросит попить, предложу чаю, нет, только коньяк, потому что завтра на работу вставать. Разолью, усядемся. Как он себя вел? Не хулиганил? Не тошнило? Опять наряжался? Начнет охать, как бедный мальчик будет жить с такими особенностями и как она иногда думает страшное, хоть ей стыдно, она даже в церковь ходит, Матроне свечки ставила, у экстрасенса была, но все равно нет-нет да юркнет в голову, что лучше бы он тогда, в полгода, от ангины умер.

А недавно, разве она мне не рассказывала? Нет? Так вот, он в дневнике две оценки подделал за четверть. Четверки вместо трояков нарисовал, по русскому и математике. И так аккуратно исправил, ни за что не заметишь. Как будто классная своей рукой писала. Пришлось его всех куколок лишить до каникул. Кроме одной. Сказал, если всех заберет, то он не знает, что сделает.

Недооценил я Патрикея, с его талантами одним посяжением на кол дело не обойдется. У парня наклонности разветвленные. А она закурит, глотнет и вслух придет к выводу, что надо было аборт делать. Посмотрю на нее выразительно. Он же за стеной, все слышит. И вообще хватит пить, прав лишат. А Патрикей в соседней комнате притихнет перед мультиками, будет смотреть так внимательно, как только можно, целиком вникая в экран, чтобы только он и экран, а лучше один экран.

А я возьмусь рассуждать, что склонность к подделке документов дело временное, мало ли что в детстве случается. Если уж серьезно увлечется, тогда надо меры принимать. Да и то, может, этот его неожиданно раскрывшийся талант позволит ей достойно провести старость.

И она выкурит еще две, улыбнется, саму себя этой улыбкой развеселя, расскажет про хорошее. Взяла кредит, три миллиона. Патрикееву на учение в частной школе, где его дразнят вроде меньше, чем в государственной. Чтобы кружок танцев оплачивать и художественной гимнастики...

Ему только художественной гимнастики не хватает. Сегодня шпагат, а что завтра? Подумать страшно. Но не перебиваю.

...Себе машину взяла, годовалую. Патрикеева возить. И чтобы мужики уважали. А на сдачу железную дверь поставила. Сделала три выплаты и больше не собирается. Коллекторов из-за железной двери на три буквы посылает. У мамыши престарелой, правда, недавно приступ случился от нервов, но ничего, прорвемся. Кредиты только дураки отдают. Истории про честный труд у нас неуместны. Тут хоть всю жизнь паши, как бобик, ничего не напашешь. Или государство всей своей тушей навалится, задушит и достанет из самой глотки, или какие-нибудь отдельные псы из его, государства, бесчисленной своры. А кто не понимает, пусть горбатится, только не она.

И дышит в меня дымом запальчиво, ждет, осуждать начну, сомневаться, охать, учить. А мне ее так жалко, что и сказать нечего. И Патрикеева жалко, который, подделывая оценки, совершает то же самое, что она с кредитом, а она этого не понимает и наказывает. И прочих всех тоже жалко. Столько всего хочется, а шансов ноль. Ей на сына и вправду взять негде. Можно было бы без машины обойтись, но чары потребления ее заморочи-

ли. Или замуж, или воровать. А выгодно замуж у нее шансы нулевые. Возраст не тот уже, сосок полуголых на улице пруд-пруди.

И вот она отражает атаки коллекторов, следом за которыми явятся приставы. Могут арестовать квартиру ее мамы, где она с Патрикеем проживает. Покалечить в темном подъезде. Посадить. Лишить родительских прав. Смотрю на нее через стол, где она в глубине дымных облаков расположена, и думаю, какая она красивая. И все эти приставы и неплательщики. Только бы очистить их от телесной, человеческой, шелухи. От их испуга, несоразмерных желаний, наивных целей, мечтаний, хвастовства, страха быть недостаточно успешными, тогда они бы тоже непременно очень красивыми оказались. Как цветочки в весеннем лесу. Но повсюду успех. Бросай колотья, и успех, купи, и успех, женись и успех, роди, и успех. Бежим, ковыляем, ползем, преодолевая все эти десять, семь, пять шагов к успеху, который, как мираж, всегда недостижим. И если шелуха эта осыплется, то останутся жалкие, помятые люди. Слабые, не стыдящиеся своей нелепости.

Перебрав умом все эти высокие, трогательные, слезливые кухонные мудрости, я утрачу жалость и приду к выводу, что каждый получает по заслугам и в общем и целом меня просто развезло, уже поздно, пора спать, и какая, вообще, разница. Моя же собеседница, вконец разморенная коньяком, минувшей ночью и долгожданым потеплением, внезапно шатнется вокруг стола, как пассажиры морского судна вдоль борта шатаются, и бухнется мне на колени. Повернет свой гибкий стан, примется целовать сначала мою руку, потом мои губы. Станет хрипло шептать, что ночью думала обо мне, когда была с ним, и два раза кончила со мной, а не с ним, и что никак не припомнит, почему у нас тогда, давно, не сложилось, и давай попробуем снова.

Мне не придется ни принимать ее ласк, ни отвергать, сама спохватится, скажет, что я ее не люблю. Тут она права. Глянет на стрелки и цифры, всполошится, завтра в школу, закурит последнюю, спросит, как вообще, передаст привет, сделает лицом понимание, после двух затяжек вдавит в пепельницу, сгребет сонного Патрикея, и я останусь один. Только клетка будет иногда дрожать от Кузиных прыжков. Представители семейства шиншилловых активны по ночам. Посмотрю календарь. Завтра после обеда Еремей, у них совместный психологический тренинг, а бабушка слегла. Во вторник встречаю у школы Луку, у матери допоздна работа. Среда — Марк Аврелий, четверг — Матфей, пятница — Ферапонт с Евдокией, выходные — Агриппина.

Еремей полезет на шкаф, отвлеку фокусами, разучил по самоучителю. Лука станет кидать в меня буквами магнитного алфавита, когда я буду штудировать с ним азбуку. До выходных надо склеить корону, чтоб Агриппина смогла нарядиться феей и сломать ее по прежнему разлому, когда на фею нападет дракон. Перед сном непременно дать ей пилюли. В прошлый раз забыл, мать нас отругала.

Знакомые приводят ко мне своих обременительных детей. Я хорош. Смирный, без вредных привычек, есть детская, игрушек полно. Мой сын шесть лет как в могиле. Компактный гробик, белый воротничок, черные сандалики. Летом хоронили, зимой бы ботиночки надели. А ноготки у него сиреневые были, замерз, хоть и жара. Осталась мебель, обои с кроликами и представитель семейства шиншилловых. Потом я жену застал, ножом кроликов со стен соскребала. Я хотел мебель переломать и во дворе возле контейнера сложить, но она не позволила. Лечилась. Теперь где-то в мире. Этот город больше видеть не может. Живет в чужих странах, потому что не понимает, о чем люди вокруг говорят. Едва

начнет местный язык разбирать, в другое государство перебирается. У нее семья сплошь долгожители и к языкам способность, не знаю, что будет, когда страны закончатся. Может быть, вернется. Жду.

Детскую я сохранил. Держал запертой, а потом одноклассник попросил за мелким присмотреть, совсем край, со своей поцапался, она в Египет, а ему позарез в ночное надо, оставить не с кем. Я согласился, детскую откупорил. Следом давняя моя, патрикеевская маман, пронюхала, за ней другие узнали, и прорвало. И все несут, живу, как настоящий русский учитель-воспитатель — подаванием. Хорошо, я не баба, а то бы сплошной шоколад и цветы. Бутылки сразу присек. Или налом, или по любви. Тут у меня скорее со шлюхами сходство. Ну, если уж какой-нибудь хозяйшке приспичит пирожками собственной лепки угостить, принимаю.

Дети мне особо не нравятся, и это им самим по вкусу. Я не сюсюкаю, но и не занудствую, как многие взрослые, которые из зависти к беззаботной поре состаривают детей, трамбуют жизненным опытом, опаивают страхом разочарований. Я идеальная нянька, ведь дети, как женщины, не отлипают, если не цацкаться. Наверное, в этом секрет. Желающих столько, что приходится расписание составлять, некоторым вынужден отказывать.

Среди моих подопечных в основном мальчишки. Теперь много мальчишек. Говорят, такая мужская концентрация перед войной складывается. Но и девочек приводят. Сначала осторожничали, думали, может, я извращенец. Теперь мамы мне доверяют, иногда даже бабки внучков приводят, которых им молодые сбагрили. Посредницами выступают. А сами в Консерваторию или на танцы для тех, кому за.

Ребенком я услышал, мужик должен в жизни три вещи сделать: дерево посадить, дом построить и сына вы-

растить. Тогда я подумал, это просто. Так и оказалось, только у меня дело дальше пошло. Деревьев я посадил много, но в один год напугал с удобрениями и корни сгубил. Дом построил, только супруга губернатора вместо нашей деревни захотела башни. Губера сняли, супруга скукожилась, но сад, где мы строились, теперь украшен фундаментом, присыпанным угольками. Несколько соседей тоже пожгли, кто ближе к краю. Деревья, которые после моей подкормки оклемались, пожар опалил. Впрочем, одна слива живая. Угольки зарастают, ветки зеленеют. А потом сын. Оказалось, здоровье на самом деле не купишь, даже маленькое, детское.

Потеряв все, во что вложил счастливые годы, к чему был прикован всем сердцем, в чем видел всего себя, в чем все, что во мне было человеческого, воплощал, амбиции, ум, веру, любовь, только получив эту прививку концентрированного обретения и утрат, я не понял даже, а всем собою ощутил, что это и есть самое главное, с чем нельзя справиться, а можно только принять, что неминуемо приближается, что каждому предстоит.

А родители все теперь думают, что безопаснее, чем со мной, их малышам нигде не будет, в одну воронку два раза не попадает.

Оставшись один, почешу Кузю за ухом, лягу и стану засыпать.

Мой бы сейчас был на год старше Патрикея. Каким бы он вырос? Надевал бы девчачьи лосины? Играл бы с куколками? Подделывал бы оценки в дневнике? Исповедовался бы я какой-нибудь коньячной подружке у нее на кухне, что лучше бы он умер?

В его неслучившемся возрасте одноклассник толкнул меня на переменке. Я стукнулся об угол музыкального проигрывателя, и на пол упал передний зуб. Вернувшись домой из больницы, задвинувшись в ванной на шпингалетик, я посмотрел в зеркало и отвернулся.

А потом долго еще смотрел и думал, как теперь жить. Прошел день, второй, я привык к дразнилкам, интересу и даже зависти приятелей и немного взгрустнул, когда доктор заполнил пустоту искусственным резцом, не отличить. Время покрыло тот случай туманом, одно помню отчетливо — когда я увидел в зеркало, что зуба нет, сразу понял, смерть. И ничего, живу с тех пор мертвым, здоровье не беспокоит. Спустя годы тот одноклассник сына своего, Марка Аврелия, мне подсунул под присмотр, с чего и началось мое нынешнее занятие.

Завтра новая неделя. С Еремеем пойдем к пруду кидать камешки. Его мамаша снова сунет мне благодарность — запеченное куриное тело в фольге. И чувственно спросит, не надо ли чего еще.

С Лукой остановились на двадцать первой странице. Он уже научился выводить свои буквы, мамины и мои. Его отец опять загулял, мать станет плакаться, выслушаю.

Тезка императора на прогулке вооружается палкой и колотит что есть мочи по молодым, недавно высаженным в парке деревцам, будто они враги ему, которых следует сломать, лишить лиственного покрова и ветвей.

С Матфеем играем в цвета, ищем в окружающих предметах желтый, потом красный, потом белый.

Евдокия картавит, рычим по словарю. Заставить ее трудно, приходится идти на уступки, позволять делать то, что не позволяют дома, — сжигать кукольный домик. Каждый раз Дуся является с новым кукольным домиком и каждый раз, в обмен на упражнения по исправлению речи, набивает домик бумагой и спичками и запаливает на балконе. Соседи принимают и грозят пожарными, успокаиваю. Малышке нравится вдыхать вонючий дым и смотреть, как из окошек и дверцы вырывается пламя, как пластмассовая кры-

ша вздувается и оседает, превращая строение в пузырящийся блинчик.

У брата поджигательницы, Феропонта, иная страсть — анатомия. Пока мы с Дусей читаем подряд слова, начинающиеся на «Р», он внимательно изучает медицинскую энциклопедию, а потом потрошит сестринских пупсов. С ее разрешения и под моим присмотром, разумеется. Ножи у меня наточены хорошо.

Феропонт уснет первым, а Евдокия расскажет мне сказку про деда и его дочь Жучку, которая родила славенького сынишку. Вырубимся оба, когда Жучка поведет сынишку в цирк. Я на стуле, она в кровати.

Родители близнецов часто в разъездах, а бабушку больше интересует крепость напитков в стакане, чем судьба исчезающих после визитов ко мне домиков и пупсов.

В моем роду я последний, мне никогда не сфотографироваться с кульком младенца на руках, моя ручища и его ручонка, все эти нежности мне недоступны. Мне не суждено узнавать собственные черты в маленьком личике, умиляться семейным, повторенным в родном малыше, повадкам. Но детей у меня целое стадо. Когда-нибудь они обзаведутся потомством и поволокут меня к каждому очередному крестным. Те подрастут, и все это будет меня тормозить, поздравлять с датами, верещать по близости. Непременно найдутся какие-нибудь особенно ласковые и внимательные претенденты на состояние мое, две комнаты и пепелище, не пропадать же. Ничего дурного в этом нет. Надо будет ближе к делу распорядиться, заверить нотариально. С согласия жены. У нас все совместное. Мне только зуб вставной принадлежит. Левая двойка, что вместо выбитой одноклассником вставили. Все меняется, только она крепка и блестит эмалью, идентичной натуральной, как в первый день. Завещаю кому-нибудь небрезгливому.

Впрочем, скорее всего, дети меня забудут. Самому придется искать кого-нибудь, кому завещать.

После близнецов Агриппина, потом Патрикей... и кто ее надоумил так сына назвать. Да и остальные тоже, что ни имя, или Евангелие, или летопись...

Выбитый зуб я долго хранил в коробке, а потом потерял...

Перевернусь на другой бок, ногу отлежал, белая кроватка, в которой умер сын, коротковата...

ЛАРИСА
РАЙТ



ЖАДНОСТЬ НЕ ПОРОК



Две недели Любу терзала мысль о том, как сказать мужу о своем желании. Муж был не то чтобы скуп, но копейку считал постоянно. Любу, впрочем, это не раздражало. За долгие годы она уже научилась грамотно управлять этим его... ну, в их сегодняшней жизни скорее достоинством, чем недостатком. Раньше, по молодости, ее, бывало, одолевала тоска при взгляде на новые платья или сапожки подруг, грусть охватывала, когда Люба слушала их рассказы о жизни в пансионатах и «вполне приличной столовской кормежке». А уж когда открылись границы и Танька — первая из их компании — укатила в Турцию, а вернувшись, буквально захлебывалась историями о ломившемся от яств столе, именовавшемся почему-то шведским, Люба даже позволила себе всплакнуть. Нечего даже и заикаться о недельке настоящей курортной жизни. Ответ давно известен:

— Лучше тебя ни один стол, даже шведский, не накашеварит.

Или:

— Мне столовской еды и на работе хватает.

И уж конечно:

— У Марьи Никитичны хоть не хоромы, а уютненько, по-домашнему, не то что в отелях.

У Марьи Никитичны — одинокой пенсионерки из Анапы — они снимали комнату каждое лето на три недели. Комната была просторной и действительно уютной, а от Мани и Серени родительскую кровать даже отгораживала ширма. Удобства, естественно, располагались

на улице, воду брали из колонки, до которой приходилось идти метров двести вниз по залитому солнцем переулку и столько же вверх, только уже с полными ведрами. За воду первые десять дней отвечал муж, а потом Люба оставалась с детьми одна и начинала тщательно следить за тем, чтобы, не дай бог, никто не вымыл лишний раз руки или не испачкал незапланированной посуды, чтобы только не надрывать спину тяжелыми ведрами.

Море, правда, было в двух шагах. Дикий пляж с беспорядочно разбросанными бутылками на песке и стройным рядом прозрачных желеобразных медуз в воде недалеко от берега. Медузы были совсем не опасные, но скользкие и омерзительные. Люба буквально задерживала дыхание и старалась как-то подобрать свои аппетитные выпуклости, проходя через этот длиннющий дрожащий «пудинг», столкновение с которым было все равно неизбежно. Она кривилась от ужаса, наблюдая за тем, как дети без всякого страха хватают медуз и кидают ими друг в друга, хохоча от восторга.

Лет через пятнадцать, как раз после Танькиного визита в Турцию, Люба решила признаться подругам:

— Я это море терпеть не могу. Мне за месяц до и два после медузы в кошмарах снятся.

— Нашла чего бояться! — фыркнула рыжая Иришка.

— Да, я медуз тоже не люблю, — спокойно согласилась Наташа.

— А в Средиземном море никаких медуз нет! — победоносно заявила Танька.

— Как это нет? — недоверчиво переспросила Иришка.

— Совсем никаких? — уточнила Наташа.

— Ну, не знаю. Какие-то, наверное, есть. Может даже, и ядовитые водятся. Но вот этих противных, да еще косяком вдоль берега, нет, такого добра там днем с огнем не сыщешь. Водичка прозрачная, теплая, пляж чистый, коктейли в баре зашибенные.

— Класс! — Иришка подняла вверх большой палец.

— Хорошо, — мечтательно согласилась Наташа.

А Люба промолчала. А что говорить-то? Что в Анапе тоже есть приличный городской пляж с лежаками, зонтиками и забегаловками, где и мороженое, и шашлык, и боржоми, и все, что покрепче? Один раз Люба там была. Два года уговаривала мужа туда съездить («Пять остановок на трамвае вместо пяти минут пешком, да еще и за проезд платить»), потом два года слушала о том, как городские власти обирают честных граждан, устанавливая «заоблачные цены на дрянные шезлонги». Впрочем, в те годы позиция мужа ее сильно не задевала. Это юным прелестницам хорошо дефилировать в купальниках среди толпы, а Любе комфортней скрывать свою расплывшуюся после родов фигуру от чужих глаз. Шезлонги, хоть совсем и не дрянные, а очень даже симпатичные, были не нужны. Дети все время копались в песке у воды, а Люба нежилась на полотенце под солнцем: загар делал ее тело стройнее, а лицо, и без того смуглое, еще ярче. Вместо мороженого дети с не меньшим удовольствием поглощали на пляже принесенный из дома арбуз или другие фрукты, а сэкономленные деньги можно было с чувством глубокого удовлетворения положить на книжку. Не прогулять, не кутнуть один раз, не позволить себе новую кофточку или Мане новую куклу, а именно на книжку. Строго по заданному курсу, и ни шагу в сторону. Любу этот курс почти всегда устраивал. А потом случилась девальвация, и все псу под хвост. Муж тогда слег на неделю с какой-то непонятной тоской.

— Не знаем, чем он у вас болеет, — пожала плечами врач «Скорой». — Пульс в норме, ЭКГ хорошая. Кризис, наверное.

— Сейчас у всех кризис, — согласилась Люба.

Сама она почти не переживала. Как не было денег, так и нет. Она их и не видела никогда. Если бы еще знала, на что откладываются и зачем копят, было бы

жалко, а так — шут с ними. Все равно непонятно, что с ними делать. Вот Иришка — та рвала и метала. Она лет десять с каждой зарплаты дочери взнос делала на какой-то страховой сертификат. Девочке всего год до восемнадцати оставался, и она бы тысячу получила — большие деньги, а теперь ни тысячи, ни десятилетних взносов. А Ирка, между прочим, одна дочку воспитывает, колотится, и за что ей такое? Вот у Любы надежная опора. Она когда заикнулась о таких взносах, муж вовремя остановил:

— Ни к чему это. Только деньги разбазаривать. За что им такие подарки? Пусть учатся, образование получают, потом сами заработают. Лучше отложим, целее будут.

Не уцелели, конечно, зато не так обидно. Обидно Любе было, когда все вокруг помешались на «зарабатывании» в финансовых пирамидах. И Иришка для дочери денег раздобыла, и Наташа новой «восьмеркой» разжилась, и Танька мечтала о круизе по Латинской Америке, а Любин муж презрительно кривился и утверждал, что не будет добра с такого сомнительного предприятия.

— Как же не будет, когда человек на новой машине ездит? — удивлялась Люба.

— Повезло. — Муж пожимал плечами и отворачивался, давая понять, что тема разговора исчерпана.

— А нам, значит, повезти не может? — только и вздыхала Люба, не вкладывая в вопрос ни капли иронии. Им не может. Такая, видно, судьба. У подруг сапожки, платья, курорты, работа, а у Любы... Нет, работа у нее тоже была. Ну, как работа? Так, работенка. Сидела в заводской бухгалтерии, щелкала калькулятором, цифры складывала. Да и то не полную смену, а до обеда только, чтобы деток из школы забрать самой. У других, конечно, отпрыски более самостоятельные. И обед погреют, и в квартире приберут, даже ужин к приходу родителей организуют. Сереня, правда, тоже пельмени варил. Что

не сварить-то? Люба налепит — сын сварит, но на одних пельменях ведь далеко не уедешь. А у Манечки с младенчества желудок больной. Ей все свежее надо, паровое, не могут же дети сами котлеты вертеть да с водяной баней управляться. Нет, прав муж, прав: какая уж тут Манечке столовая еда, какой шведский стол, если ее порой даже после Любиной стряпни мутит.

Иногда, правда, мелькала шальная мысль: хорошо бы и вдвоем куда-нибудь махнуть. Нет, не обязательно по границам, можно и у себя посмотреть, поездить. Что они видели кроме медуз в Анапе да бесконечных грядок на даче у свекрови? Можно в Питер укатить или по Золотому кольцу. И сэкономить, кстати, очень даже получится, на дороге, например. Сел в машину и поехал. Бензин, конечно, дорогой, но все дешевле, чем на поезд тратиться. На их стареньком «Москвиче», правда, страшновато немного, но ведь не зря муж через выходные в гараже пропадает. Подладил бы там все как надо, подстроил бы, и поехали. А уж если решиться все-таки на вложение денег, можно было бы и «жигуленка» купить. А потом на Байкал рвануть или в Прибалтику. И детей с собой взяли бы. Ну что они, вдвоем друг друга не видели, что ли? А детишкам бы такой отдых понравился. Настоящее приключение. Нет, все-таки надо отнести деньги. Муж даже не узнает. Люба снимет с книжки немного оставшееся, на книжку же вернет. Вот как соберется с духом, так и снимет.

Не собралась, слава богу. Не успела. Финансовая пирамида рухнула, а с ней и Танькины мечты о круизе. Таньку было, конечно, жалко. Но вместе с тем Люба не могла не испытывать невиданной гордости за своего мужа. Опять прав оказался, как всегда. С тех пор ее если и посещали мысли о неоправданной бережливости супруга, то крайне редко. Зачем все эти круизы, платья и побрякушки? Было бы здоровье и взаимопонимание. И не в деньгах счастье. Вот как заработала банковская

система, так все, словно сумасшедшие, кинулись в ипотеку. Даже рассудительная Наташа.

— Хочется пожить по-человечески, — сказала она.

По-человечески означало отдельно от родителей, и чтобы у сына своя комната, а то пятнадцать лет втроем на тринадцати метрах — те еще условия. Переехали. Наташа радовалась. Еще не старые ведь. Руки-ноги на месте, работа есть, расплатимся с банком и заживем! Пока, конечно, жили не очень. Все туда, в ипотеку. А потом неожиданно выяснилось, что и жить-то, может, не придется. Нашли у Бори — мужа Наташиного — опухоль, сказали, шанс будет, только если оперировать за границей. А где теперь деньги взять? Помогли, конечно, сумму собрали нужную. И Люба с мужем дали, сколько могли, муж даже не спрашивал, когда вернуть сумеют и вернут ли, но сказал все-таки, не удержался:

— Нет, дрянное это дело — ипотека, как ни крути.

А Люба что? Только и выдохнула: опять прав. У подруг мужья, конечно, неплохие, а ее, Любин, самый умный. В последние годы это стало еще очевиднее. Деньги зарабатывать любой нормальный мужчина должен уметь, а вот с домашним хозяйством не каждый справится. А Любин справлялся, и хорошо. Как-то так само собой вышло, что они поменялись местами. Он — обычный инженер в заштатном НИИ — не нашел себе применения в новых условиях. Помыкался как-то туда-сюда, но ничего не приносило ни доходов, ни удовлетворения. Любин же завод успешно въехал в эпоху приватизации. Предприятие расширили иностранные инвесторы и переориентировали из производства никому не нужных железяк в изготовление повсеместно необходимых кондиционеров. Работающим в бухгалтерии «девочкам» предложили пройти курсы повышения квалификации, чтобы впоследствии предоставить рабочие места самым прилежным. Поскольку курсы оплачивались работодателем, а занятия проходили в ра-

бочее время, у мужа не нашлось никаких возражений против их посещения. Люба начала без особого энтузиазма. Она привыкла к механической работе, к тому, что все годы, складывая и считая, мысленно отсутствовала за рабочим столом. Люба всегда думала о чем-то постороннем. О том, что у Манечки прохудились сапоги, а Сереню давно уже пора отвести к стоматологу. Родителям обязательно надо поставить железную дверь, уж на это муж согласится. Когда деньги тратятся разумно, у него нет возражений. А какие тут возражения, если по телевизору только и говорят что о беспределе, а старики живут на первом этаже за старой деревянной дверью, стукнешь — откроется. Да и решетки на окна надо бы исправить. Еще унитаз течет. Давно, конечно, второй год уже. Муж то там подкрутит, то здесь подвертит, но надолго не хватает. Хорошо, теперь центры большие построили, где все для дома достать можно, и недорого. Мужу там даже нравится. Правда, за каждую незапланированную покупку приходится биться. Он прав, как всегда. Зачем нужны всякие цветочки и вазочки — только пыль собирать. Но ведь душа радуется и глаз отдыхает. Ему не понять. Однако уж если что решили купить, то все. Тогда он из кожи вон вылезет, но лучшее соотношение цена — качество найдет. И снова у Любы радость и гордость. Танькин из загранки своей люстру хрустальную приволок. Так она электричество жрет как стиральная машина — лампочки каждую неделю перегорают: какое-то там несоответствие напряжения. Иркин диван купил. Красивый — не без этого. Только вот светлые чехлы уже через неделю засалились. Это ж на химчистку не напасешься. Да и пара досок сломались, когда раскладывали. А у Наташи Боря вообще не по этой части — не по хозяйственной. Руки, как говорится, не из того места растут. Наташа, правда, не жалуется никогда. Для всяких ремонтных дел, говорит, сантехники есть и плотники, а муж нужен, чтобы их пригласить. Ну,

Боря и приглашает. То ему наличники отпилят так, что вся дверь потом скособочена, то смеситель прикрутят не до конца, и вода подтекает. А у Любы все чин чинарем. И двери прямые, и краны прикрученные, и диваны по двадцать лет не ломаются. Да и подушки они с мужем сами выбивают да чистят без всяких химчисток. Там только деньги дерут, а запах потом от всяких новомодных средств месяц не выветришь. Это мужа слова, но Люба с ним не спорит. Во-первых, согласна, а во-вторых, и некогда теперь. Пусть поступает как хочет, лишь бы ей не вмешиваться. У нее теперь дел невпроворот.

Как-то неожиданно для самой Любы ее карьерные дела пошли в гору. Цифры стали огромной составляющей ее жизни. Курсы против ожидания оказались интересными, и Люба, всегда замкнутая и отстраненная, начала проявлять инициативу и энтузиазм в учебе. Ее порыв не остался незамеченным, и одно из мест на преобразованном предприятии предложили ей. Работа теперь не могла существовать сама по себе. Надо было не просто стряпать отчеты, а вникать, рассчитывать и сиднем сидеть на месте до тех пор, пока не сойдется, не сложится стройный ряд необходимых цифр. А после сразу волна невиданного ранее удовлетворения от работы. Конечно, Люба и раньше испытывала нечто подобное. Сваришь вкусный суп, а дети лопают — за ушами трещит, да и муж похвалит: «Замечательная похлебка». Или приберешь в квартире, ходишь потом, смотришь — вокруг чистота и свежесть пахнет. Как себя не похвалить, как не порадоваться? Вот и в работе вроде так, да не совсем. Одно дело, когда тебя ободряют близкие люди. Им положено — они тебя любят. И совсем другое, когда получаешь похвалу начальника, да еще и в денежном эквиваленте. Это уже не то чтобы приятнее, вовсе нет, а почему-то значительнее. Нет, семья для Любы по-прежнему оставалась самым главным в жизни,

но оттого, что помимо самого главного возникло что-то еще, она словно поднялась на более высокую ступень пьедестала, и ее нынешняя позиция ее устраивала. Возможно, даже больше, чем прежняя. Мало о чем надо было беспокоиться помимо сведения баланса. Ни о детях (выросли уже: сын к жене переехал, Маня к бабушке, которая по суровому закону жизни несколько лет назад осталась одна), ни об ужине (готовку муж взял на себя), ни о деньгах (благо, их теперь хватало), ни о том, куда их потратить.

Зарплату Люба, как примерный добытчик, несла второй половине. Ей зачем деньги? Она — бестолковая — все одно их на ненужные финтифлюшки спустит, а муж, как обычно, найдет достойное применение. Один раз только взбрыкнула.

— Хватит, — сказала, — хочу в отпуск, заслужила. И не в Анапу, а в Париж. И чтобы по полной программе: и Монмартр, и Мулен Руж, и Поля, как их бишь, Елисейские, и чтобы лететь, а не на автобусе:

Прилетели: на Монмартре толпа народа, плюнуть негде. У Любы в первый же вечер сумочку порезали и кошелек украли. Хорошо, деньги в гостинице лежали, как муж присоветовал, а сумочку жалко. Хоть и купила года три назад и на распродаже, а все-таки любимая и вместительная. На следующий вечер в Мулен Руж пошли — срам один. Люба не знала, куда спрятаться от стыда, да и муж сидел хмурый, все считал, наверное, сколько денег на эту гадость потратили. Ну и по Полям погуляли, конечно: цены в бутиках космические, даже заходить не хочется, кафе прямо посреди тротуара, присел кофе попить, а на тебя все глазек, да и кофе стоит, как целый обед в заводском буфете. В общем, Париж Любе не понравился. А уж если не понравился Париж, так и незачем куда-то еще ехать. Только тратиться. Лучше отложить. Тем более что теперь оно как-то надежнее стало. Даже

муж признал, что можно не в кубышку, а снова в банк нести. Он и носил, Люба в это дело не лезла. Ее задача копеечку принести, а дальше пусть Валера распоряжается — ему видней. Он распоряжался и каждый месяц показывал ей свои расчеты:

— Проценты вот набежали, хорошо?

— Замечательно! — восторгалась Люба и чмокала мужа в давно образовавшуюся лысину. — Какой ты у меня умный!

— А если на депозит положить, так еще больше набежит.

— Клади!

— А потом еще акции купим и в фонды вложимся, еще больше накопления станут.

— Отлично!

— И чего отличного? — негодовала Танька во время очередной встречи. — Пользоваться надо, пока не померли. Кому потом ваши накопления нужны будут?

— Так с накоплениями и не померем подольше, — ответила Люба. — Вам ли не знать? Вон Наташка обожглась уже, мне не хочется.

— Ох, Любана, погонят тебя с твоего завода, — пригрозила Ириша.

— Чего это?

— А того, что у тебя при таких доходах ни кожи, ни рожи: лицо все в угрях, ни румян, ни помады, и костюмчик затрапезный с Черкизона.

— А на кой оно мне? На переговорах я не присутствую, бумаги не подписываю.

— А не берут потому что, — поддела Танька.

— Да и сама не хочу, — окрысилась Люба.

— А захотела бы, могла б и финансовым директором стать, — мечтательно протянула Наташа.

— Ой, девки! — только отмахнулась Люба. — Ну какой из меня директор, ей-богу? Я даже в своей квартире командовать не научилась.

— А пора бы! — тут же встала Танька.

— Действительно, Люб, ну хоть что-то позволь себе в кой веки раз, а? — Иришка смотрела на подругу с сомнением.

— Не что-то, а день рождения, — поддержала Наташа.

— Какой день рождения, девочки? Вы о чем? — Люба крутила головой, не понимая, куда клонят подруги.

— Самый настоящий, — оживилась Танька. — В ресторане и с музыкой. И чтобы новое платье, и туфли, и прическа, и макияж. Чтоб конфеткой была, понятно?

— С ума посходили, что ли? Да Валера никогда...

— Твой день рождения. — Наташа.

— При чем тут Валера? — Иришка.

— Плевать на него! — Танька.

— Как плевать? Зачем?

— Да теперь уже не плюнешь, конечно. Раньше надо было. — Танька притворно вздохнула. Люба хотела было обидеться, но передумала. Какой с Таньки спрос, если та транжира, каких мало. Валера, конечно, мотовство не любит, потому и Таньку не жалуется, а как аукнется...

Разошлись, взяв с Любы обещание закатить пир на весь мир.

— Тебе, между прочим, не сколько-нибудь, а две пятерки. Где еще такую дату справлять, если не в отличном заведении? — Наташа.

— И не вздумай сказать, что решила вместо ресторана налепить вареников на сорок человек или устроить шашлыки на природе. У Валерки день рождения в июне — тогда и будем комаров кормить, а в октябре не всегда в лесок тянет, так ему и передай. — Танька, конечно.

— Ну, бог тебе в помощь. — Иришка — самая здраво-мыслящая и понимающая.

Люба только кивнула. От помощи она бы не отказалась. Одна мысль о предстоящем разговоре с Валерой доставляла ей невероятные страдания. Вот объявит

она: «Идем в ресторан». И что начнется? Нет, не крик, не ругань, вовсе не скандал. А просто непонимание происходящего. Посмотрит на жену, как на умалишенную, и спросит:

— Мать, ты чего, белены объелась?

А если она начнет настаивать, что тогда? Да он заболеет просто и весь день рождения коту под хвост, что дома, что в ресторане.

Вот и тянула Люба с разговором уже две недели, никак не могла решиться, а подружки настаивали. Танька звонила по несколько раз на дню:

— Ну, куда идем, определилась? Слушай, а давай на пароходе. Это ведь теперь модно.

— Это ж, наверное, такие деньжищи, — ужасалась Люба.

— Вот и порадуй себя растратой, Гобсек ты наш!

Наташа была более тактична:

— Если тебе понадобится помощь в выборе туалета...

— Спасибо, мы уже купили новый, крышка красивая, и бачок работает исправно.

— Ты о чем?

— Так об унитазе!

— А я о платье, дурында!

Иришка ни о чем не спрашивала и ничего не предлагала, Люба спросила сама:

— Ир, как мне Валерке сказать, а?

— По-русски, слова подбери.

— Да я уже две недели подбираю и никак.

— Люб, ты зарабатываешь — тебе и карты в руки. Твои деньги.

— Да ты чего? — испугалась Люба. — Они всегда нашими были.

— Вашими? И много ты видела ваших-то?

И Люба снова путалась в сомнениях.

В конце концов, до даты осталось десять дней. Куда тут тянуть? Ресторан еще и найти надо, и все заказать. А по-

ка отыщешь подешевле из приличных, еще время пройдет. Ох и задали подружки задачу. Люба даже об отчетах и балансе думать перестала, почернела вся, помрачнела от мыслей о предстоящем празднике. Наконец решила: сегодня или никогда, дальше уже откладывать некуда. Вот придет домой, поужинают, и она скажет. В конце концов, Танька права, разве Люба не заслужила платья, туфель, комплиментов? Если такой кутеж намечается, и коллег позвать можно. Вот удивятся, когда увидят ее при параде да еще и с укладкой. Привыкли, что у нее два костюма и несколько блузок к ним. Вот сюрприз и будет. Она не конторская крыса, а женщина. Симпатичная, кстати, если прибрать. Просто делать это некогда да и незачем. А так вот и случай представился. Только как разговор начать? Люба лениво ковыряла приготовленное мужем рагу.

— Невкусно? — участливо спросил Валера.

— Нет, что ты, просто я...

— Ты в последнее время сама не своя. Кислая, невеселая. Надо праздник тебе устроить, а, что скажешь? Тем более и день рождения скоро. Давай, Любань, кутнем. В ресторане веселье закатим. И платье тебе справим, и прическу, а? Что скажешь?

— А в каком ресторане? — только и спросила Люба.

— Да в любом. А хочешь, на пароходе поедem? Сейчас такие красивые ходят, со столиками, с музыкой.

— Не знаю, Валер, дорого как-то.

— Ну так ты у меня за всю жизнь заслужила ведь.

— Заслужила. — Люба заулыбалась, но облегчения не испытала. Вроде и проблема, мучившая ее, испарилась, а долгожданного спокойствия не наступало. Должна была бы радоваться — столько лет ждала, а ее охватила грусть.

— Ну, давай, давай, девчонкам звони, Манечке! Пусть тебе с нарядом помогут.

Люба поплелась к телефону. Дочь встретила сообщение о предстоящем торжестве победным кличем:

— Ура! Мамулечка, ну наконец-то! Ты у меня будешь самая-самая. То есть ты и так распрекраснее всех, а станешь еще лучше. Ух, как я рада! Я тогда Серене скажу, чтобы дарил вам с папой путевку!

— Какую еще путевку?!

— Ой! — испугалась болтушка дочка. — Ты ему только ничего не говори, ма! Это ведь сюрприз. Полетите с папой в какую-нибудь экзотическую страну, класс, правда?

— Наверное, только...

— Мамочка, никаких только! Наконец-то у тебя будет праздник, а когда идем за платьем?

— Перезвоню, — ответила Люба и, набрав номер подруги, выдохнула: — Наташка, мне нужно платье.

— Неужто свершилось? Да?! Ой, я так рада, так рада! Любани, это что-то, ну наконец-то ты решилась. — Слышать от всегда спокойной Наташи трескотню, подобную Манечкиной, было настолько удивительно, что Люба опешила. А подруга продолжала тараторить: — Мы тебе такое платье справим, закачаешься! И никаких рынков, поняла? Только нормальный лейбл.

— Что? — не поняла Люба.

— Ну, в смысле марка, фирма, понимаешь?

— А... Как «Дольче Габбана»? — произнесла Люба единственное пришедшее в голову имя, да и то только потому, что память подсказала слова известной песенки.

— И пойдешь «такая вся», — напела Наташа. — Ну, этих-то, если честно, мы вряд ли потянем, но и в более демократичных фирмах можно найти что-нибудь сногшибательное.

— Может, не надо сногшибательного? — испугалась Люба.

— Надо! — дерзко пообещала Наташа и, взяв с подруги обещание приступить к поискам платья завтра же после работы, повесила трубку.

Следующей в списке была Иришка.

— Ир, — Люба собралась с духом, — у тебя вроде парикмахер есть знакомый.

— Ну.. — Подруга выдержала паузу. — Манюне надо?

— Вообще-то мне.

— Правда? — Иришка не визжала и не щебетала, но в голосе тут же зазвучали нотки воодушевления. — Вот и славно. А я думала, это никогда не случится.

— Что это?

— Твое превращение из несчастной клуши в достойную женщину. Молодец, короче. Сейчас номер тебе скину, позвонишь, договоришься сама.

Люба отложила телефонную трубку и подошла к зеркалу. Вот, значит, как. Несчастливая клуша. Ну да, вид не ахти. И костюмчик мешковатый, и прическа никуда не годится, и фигуры никакой не осталось. Клуша, конечно, все правильно. Но разве несчастная? Разве недостойная? И разве не женщина?

Мобильник пикнул сообщением с телефоном парикмахера, тут же зазвонил городской.

— Любаня!!! — орала Танька не своим голосом. — Ну наконец-то. Мне как Наташка позвонила, я аж зашлась от счастья и...

— Да? А почему?

— То есть как почему? — осеклась подруга. — Ты же, наконец, день рождения по-человечески отметишь.

— А я всегда по-человечески отмечаю. Кстати, приглашаю тебя, как обычно, на вареники.

— А, ну это хорошо, а отмечать-то где будем?

— Тань, да дома, конечно, я же говорю, на вареники приходи.

— Не поняла... А Наташа сказала, платье...

— Можете мне его подарить.

— Нет, я не поняла! Это Валерка, да? Он возражает? Сначала согласился, а теперь заднюю выжал?

— Да при чем тут Валера? Я сама не хочу.

— Ты?! Не хочешь?

— Да, не хочу.

— С кем поведешься... — Танька швырнула трубку.

Люба пошла в комнату. Валера уже лежал в кровати, но еще не спал.

— Ну, всем позвонила? Договорилась?

— Ага. Все придут к нам на вареники.

— На какие еще вареники? — Муж приподнялся на локте и с удивлением посмотрел на нее.

— На мои. Они же тебе всегда нравились.

— А ресторан?

— Да шут с ним. Будем мы тратить деньги на ерунду.

— Но один-то раз можно.

— А зачем?

Люба легла рядом, обняла мужа и закрыла глаза. Подумала: «С кем поведешься» — и погладила Валеру по голове. Впервые за последние две недели она успокоилась. Все было понятно, привычно, все как всегда, и в этом таилась та самая прелесть, от которой Любу порой мучило, но с которой она ни за что не хотела расстаться. Она практически сразу уснула, только перед тем как окончательно провалиться в забытие, успела уловить мысль о том, что надо позвонить сыну и убедить его не дарить путевку. Им с Валерой и здесь хорошо, а деньги тратить не надо, ни к чему это.

ЧУДЕСА ПРИРОДЫ



Их было четверо. Они приходили к нам вот уже двадцать лет, и каждый раз, когда я их видела, моя совесть переставала мучиться от того, что я работаю в одном месте все это время. В одном, но не на одном. За эти годы я выросла из официантки до директора ресторана, а вот в их жизни, как мне казалось, практически ничего не менялось.

Первую звали Лада. Имя ей шло удивительно. Как в тридцать, так и сейчас, в пятьдесят, она была очень ладной: стройной, пропорциональной и очень гармоничной. Все в ней сочеталось наилучшим образом: голубые глаза, светлые волосы и нежный, почти девичьи персиковый цвет кожи, над которым, видимо, долго приходилось трудиться перед зеркалом. Походка легкая, почти парящая над землей, идеально гармонировала с удивительно прямой осанкой бывшей балерины. Цвет макияжа — с одеждой от ведущих домов моды, сумочка — с туфлями. Хотя в последние годы это правило сочетания обуви и аксессуаров утратило свою силу, Лада оставалась консерватором, не желающим его нарушать. Она врывалась в ресторан, и, если тебе в глаза бросался ее очередной клатч, на туфли уже можно было не смотреть. Нет, посмотреть, конечно, стоило, чтобы увидеть потрясающую модель, безупречно сидящую на тонкой лодыжке, оценить длину мыска, высоту каблук, количество пряжек и ремешков. Туфли всегда были разными, но цвет неизменно соответствовал цвету сумки.

Лада за время нашего... да, наверное, знакомства (ведь мы знали имена друг друга и несколько раз общались) практически не изменилась. Во всяком случае, то, что было доступно всеобщему взору (лицо, шея, линия декольте, открытые летом руки), казалось, время тронуло не сильно. Конечно, здесь постарался пластический хирург, но старания его увенчались явным успехом, и Лада имела полное право гордиться своей внешностью. Волосы, как всегда рассыпанные по плечам в беспорядке, в котором угадывался точный расчет, были густыми и блестящими, под глазами — ни синяков, ни мешков. Ни уголки рта, ни щеки не опустились ни на миллиметр. Талия у Лады была тонкая, грудь, которая, по-моему, пару лет назад увеличилась на размер, высокой, а на бедра, упругие и покатые, с удовольствием обращивались практически все наши посетители мужского пола от двадцати до семидесяти.

В общем, Лада выглядела шикарно, и не случайно. Уже двадцать лет она была замужем за банкиром. И, похоже, считала это своей профессией. Не раз и не два я слышала, как она говорила подругам:

— Быть женой вечно занятого мужа, девочки, ох, как не просто.

Я понимала, что Лада имеет в виду, но, если честно, не раз и не два мечтала хотя бы на недельку поменяться с ней местами. Чтобы проснуться утром и целый час решать, куда податься: на шопинг, на шейпинг или на чашечку кофе к Альбине на соседний участок. Или, может быть, сводить своего йорка на груминг, а потом зайти в магазин и закупить ему кучу новой одежды, потому что старая уже вышла из моды. И не думать о том, что приготовить на обед и ужин — на это есть повар. Не прикидывать, выбить ли ковры, постирать ли занавески и не съездить ли (в лучшем случае), а то и сходить в магазин. Для этого мы платим домработнице. И не тратить время и нервы на подготовку уроков с детьми,

не метаться, высунув язык, между карате, музыкой и художественной школой, держа в одной руке форму, папку с нотами и кульман, а в другой автокресло с младшим грудным ребенком. Это проблема нянь и репетиторов. О тебе и твоих детях есть кому позаботиться. А ты предоставлена самой себе: ходишь по премьерам, тусовкам, показам, мелькаешь в прессе, едешь на курорты и с умным видом рассуждаешь о том, что Куршавель уже не тот, а в Баден-Бадене в этом году было прохладнее, чем в прошлом.

Я бы хотела так пожить, но как-то раз в один миг передумала. Эти четверо, как правило, платили в складчину, однако в тот раз праздновали Ладин день рождения, и угощала она. Расплатившись, она направилась в дамскую комнату и, поравнявшись со мной, а я тогда уже работала менеджером зала, попросила:

— Вы не могли бы на чеке приписать скидку в двадцать процентов? Просто ручкой напишите и поставьте, если нетрудно, печать.

— Да, конечно. — Ничего больше ни сказать, ни спросить не позволял профессиональный этикет. Но Лада зачем-то решила объясниться. Наверное, прилично выпила. Вряд ли стала бы откровенничать на трезвую голову.

— Муж выделил сумму, а я превысила лимит. Скажу, что Зойке одолжила, тогда он злиться не станет, а потом про долг и вовсе забудет. — И она заговорщицки мне подмигнула. Я ответила профессионально заточенной на клиента улыбкой и тут же расхотела превращаться в Ладу.

Терпеть не могу, когда меня контролируют. Я вот от первого мужа сбежала, как только он попытался это сделать. Мой муж, конечно, не олигарх был, но зарабатывал вполне прилично.

— Дарю, — говорит, — тебе карточку, пользуйся.

— Спасибо, — и пользуюсь.

А через две недели приносит мне распечатку. «Рассказывай, — говорит, — дорогая, зачем тебе понадобились еще одни туфли и вторая пара перчаток. И почему вот в этом кафе такой дорогой мохито. Кстати, с кем ты там была. С Юлькой встречалась? Не нравится мне эта твоя Юлька». Я сбежала в тот же день. Все, что хотите, но решать, с кем дружить, где питаться и сколько пар обуви носить, предпочитаю сама. А со вторым мужем живем уже пятнадцать лет, и никогда ни ему, ни мне не приходило в голову допрашивать другого, на что потратил и почему так дорого заплатил. Есть общий бюджет в тумбочке, и каждый берет по мере необходимости, но в пределах разумного (так, чтобы хватило до следующего пополнения кубышки). На крупные покупки и отдых откладываем, остальным распоряжаемся по своему усмотрению. Короче, живем так, как нам удобно. А по-другому меня коробит. Будь мужчина хоть олигарх, хоть президент, хоть князь Монако. Не желаю, чтобы меня контролировали.

Да, дело было именно в контроле, а не в скупости. Я тебе выдал сумму — пожалуйста, в нее уложись. Это было еще подтверждение во времена, когда я бегала с подносом официанткой. Если клиенты долго обсуждают одну и ту же тему, а тебе надо собрать четыре тарелки, принести столько же новых блюд, потом вернуться с очередной порцией напитков, и так несколько раз, то невольно становишься свидетелем разговора. И даже когда слышишь не все, прекрасно понимаешь, о чем идет речь. Лада тогда советовалась с подругами по поводу новой машины. Она показывала фотографии и просила сказать ей, на какой же модели остановиться.

— Ладка, бери «мерс», что может быть лучше? — услышала я слова Нины.

И ответ:

— Он, конечно, хороший и надежный, но выглядит

как-то не очень. Угловатый, я же люблю закругленные формы. А этот табурет табуретом.

— Значит, тебе обязательно «джип» нужен? Тогда «Инфинити» бери. Они такие круглые, космические просто.

— Нет, на «Инфинити» не хватит. У меня лимит. — Лада беззаботно улыбнулась. — Давайте дальше думать.

Я всегда интересовалась машинами. Понимала, конечно, что вряд ли сама когда-нибудь смогу приобрести такую дорогую тачку, но они мне нравились. Я прекрасно понимала, что обсуждают женщины. Кроссовер фирмы «Мерседес» в те годы действительно напоминал по форме советский «уазик», а «Инфинити», недавно появившаяся на рынке, смотрелась просто конфеткой. Но, что интересно, разница в цене у них была небольшая. И если речь шла о десятках тысяч долларов, то необходимость добавить тысячу-другую не могла стать проблемой для обеспеченных людей. Но это с моей точки зрения. А на самом деле, возможно, их состоятельность оставалась неизменной именно потому, что они умели считать деньги. Именно считали, а не жалели. Во всяком случае, Ладин банкир скупердьям не был. Оплачивал же он ее внешность, наряды и прочие составляющие жизни «рублевской жены». И делал это, наверное, охотно. Да и Лада не производила впечатление ущемленной женщины. Она вообще производила хорошее впечатление. Не было в ней ничего от пустоголовой барышни, прожигающей жизнь. И я даже призналась себе, что она не из тех, кто бросает все на откуп обслуживающему персоналу. И была права. Как-то я слышала, как она рассказывала остальным о сеансах с психологом, которого посещает вместе с сыном-подростком.

— Этот переходный возраст, девочки, меня уже достал. Раньше слова грубого не слышала. Мамочка то, мамочка се, а теперь даже смотрит как на врага народа.

Ладно бы я им не занималась, а то ведь всюду вместе, как шерочка с машерочкой.

— Да надоела ты ему, — подкинула верную мысль Нина. — Ромочка, дай подотру попку, дай повяжу шарфик, дай застегну брючки.

— Не утрируй, — беззлобно огрызнулась Лада.

— Нет, правда, отпусти поводок. Пережмешь — потеряешь, — это сказала Зоя. — Ты же помнишь, как с моей было, чуть не упустила девку.

— А ты что скажешь? — повернулась Лада к четвертой подруге.

— А что я могу сказать? — Та развела руками. — Опыта нет.

Из всего услышанного я сделала два вывода. Во-первых, Лада — неплохая мать, а скорее даже, хорошая. И жизнь ее в этом похожа на жизнь обычных женщин. Пусть обложка другая, но содержание такое же (капризы, болячки, переходный возраст). А во-вторых, у Татьяны — так звали четвертую даму — детей тогда не было.

Не было их и сейчас. На спиногрызов — так она сама говорила — у нее не нашлось бы ни сил, ни желания, ни времени. Времени действительно не было. Она всегда появлялась последней. Входила в ресторан, резко открывая дверь, не прекращая телефонный разговор, на ходу снимала плащ или пальто и, подсев к подругам, посылала каждой воздушный поцелуй, не переставая деловито общаться с трубкой:

— Да. Какие условия? А сроки? Поставка возможна только через неделю. Обратите внимание на пункт контракта пять два два. — И так далее, и тому подобное. За время встречи она часто выходила из-за стола, отвечая на звонки и не реагируя на призывы подруг «бросить, наконец, свою трубу и расслабиться». Уезжала раньше, потому что спешила не домой, а еще куда-то, чтобы с кем-то очень важным что-то обсудить, подписать или о чем-то договориться.

Татьяна была классической бизнесвумен, заточенной исключительно на работу. По ее движениям, взгляду, манере говорить становилось понятно, что человек она жесткий, цельный и, вероятно, хороший профессионал в своем деле. На моих глазах ее самые простые деловые костюмы фабрики «Большевичка» превратились сначала в марку «Lady&Gentelman», а впоследствии доросли и до «Шанель». Дорогими стали часы, украшения, портфели. Да, дамскими сумками она не пользовалась. Всегда портфели, из которых во время телефонных разговоров извлекались бумаги в аккуратных папках, а иногда и ноутбук без единого пятнышка и царапины. Татьяна была деловой, организованной и очень аккуратной. Четкость во всем, обязательность и умеренная жесткость. Я была свидетелем ее телефонного разговора с водителем. Видимо, он куда-то отъезжал, пока она сидела с подругами, и теперь не успевал к назначенному времени.

— Я вас поняла, — произнесла Татьяна ровным голосом, не выражающим недовольства начальника подчиненным. — Вы сказали, будете через десять минут, так, пожалуйста, будьте. В вашей профессии одна из главных задач — уметь правильно рассчитать время. Если не справитесь, мне придется принять меры. Договорились?

Вроде бы жестко, но не слишком. Никакой взбучки за отлучку и опоздание. Но с другой стороны, попробуй задержишься еще хоть на минуту — мало не покажется. Так может вести себя только очень уверенный в себе человек, знающий цену своему времени и вообще себе самому. А Татьяну ценили многие. Даже Ладин муж. Как-то она сказала:

— Мой хочет с тобой посоветоваться. Заскочишь в выходные?

— В следующие. В эти я в Ницце.

— Семинар? Симпозиум? Лекция? — Это Нина предложила варианты.

— На сей раз любовь, — усмехнулась Татьяна.

Это было лет пять назад. Я думала, что-то случится, ждала изменений, но их не последовало. Все те же резкие движения, прямой и даже жесткий взгляд, только вместо трубки в руке — провода на шее. Теперь Татьяна на раз избавлялась от пальто, ни на секунду не прерывая череды своих телефонных вопросов и указаний. Ее собранности, цельности, индивидуальности можно было бы позавидовать. Но я не завидовала. Я думала о том, что будет через двадцать лет. Разве здорово стариться в одиночестве? Я тоже оказалась в своем роде карьеристкой. У меня была возможность остановиться на распорядителе зала, иметь больше свободного времени, работать два через два и не нести той ответственности, что лежала сейчас на моих плечах. Но я сделала осознанный выбор в пользу работы, естественно, в ущерб семье. Но тем не менее семья у меня была. Да, мужа не всегда встречал горячий ужин. А если честно, чаще муж встречал меня, стоя у плиты. А еще чаще мы довольствовались сосисками и пельменями — странная ситуация для директора ресторана. Но изыски так надоедали на работе, что дома ужасно хотелось питаться чем-то очень простым и ужасно вредным. Мы так и делали. Варили кастрюлю пельмешек, наливали по стопочке и говорили, говорили, говорили. А с кем разговаривает Татьяна по душам? С партнерами по бизнесу? Не смешите меня. С подругами в кафе? Не похоже, чтобы Татьяна изливала им душу. Во всяком случае, я такого никогда не слышала. Но ведь никто из нас не железный. Всегда наступает предел, за которым хочется выговориться, поплакаться, поделиться. А уж у одинокого человека обязательно должна возникать потребность в душевном общении. И как ее удовлетворить? Беседовать с кошкой? С собакой? Хотя какая собака? При такой сумасшедшей занятости невозможно позволить себе завести собаку. Кто с ней будет гулять? А сидеть дома, пока та щенок?

Кошке тоже несладко одной в квартире. Несладко и хозяевам, когда они обнаруживают перевернутые цветочные горшки и порванные занавески. Я решила, что при Татьяниной аккуратности кошка тоже исключена. Даже при покладистом характере животного, пыли, грязи, шерсти в квартире не избежать. Татьяна не терпела и соринки возле себя. Всегда просила протереть стол, заменить не идеально чистые, с ее точки зрения, бокалы или принести побольше салфеток — руки она вытирала буквально каждые пять минут. Такие чистюли должны уживаться только с рыбками, да и то если аквариум будет чистить кто-то другой. Так я подумала когда-то и не ошиблась. Совсем недавно, когда я за соседним столом решала конфликт клиента и официанта, подошедшая к подругам, как обычно с опозданием, Татьяна объявила:

— Лечу в командировку в Мюнхен на две недели. Рыбы сдохнут.

Что ей ответили, не знаю. Я была занята разрешением спора. Полагаю, рыбы все-таки выжили. Сейчас есть кормушки, что способны сами выдавать им корм в течение месяца. Хотя, возможно, Татьяна занята до такой степени, что ей недосуг следить за новинками в сфере зооиндустрии. Я наблюдала за ее карьерным ростом, но узнала, чем конкретно она занимается, недавно. Так случилось, что я проходила мимо стола подруг как раз тогда, когда компания определялась с десертом.

— Надо спросить у официанта, что лучше: эта новая загадочная «Фантазия» или проверенное «Крем-брюле», — сказала Лада.

— «Крем-брюле» лучше. — Я и не думала останавливаться, бросила фразу на ходу. Но меня остановила Зоя:

— А что менее калорийно: сорбет или фруктовый салат?

— Поздно, Зойка, поздно. Тебя это не спасет, — заме-

тила Нина. И все они, включая пышечку Зою, расхохотались.

— Лучше просто кофе с кусочком горького шоколада, — посоветовала я.

— Поздновато для кофе, — заметила Лада.

— Ой, а мне как раз в самый раз. Олюшка завтра Снегурочку на утреннике в саду играет, я обещала шубенку сшить.

— Зой! — Татьяна нахмурилась. — Ну, ты в своем репертуаре. Раньше на детей горбатилась, теперь на внуков перешла. Не надоело?

— Не-а, к тому же ты вон тоже горбатишься без устали. Причем, заметь, на совершенно чужих людей, я хотя бы для своих стараюсь.

Мне стало неудобно. Стою и слушаю разговоры клиентов.

— Я приглашу официанта, — произнесла я.

— Вот скажите, Лика, — остановила меня Татьяна, — рабство или независимость?

Я прекрасно поняла, куда она клонит, поэтому произнесла без лишней уверенности в тоне:

— Независимость.

— Прекрасно. А к чему ближе постоянная глажка, готовка, уборка, стирка, еще вот шитье по ночам, и, кстати, все это без отрыва от работы?

— К осознанному выбору, — не колеблясь, ответила Зоя.

— погоди! Я не тебя спросила. Интересно же мнение со стороны.

— Ну, если человеку так нравится, — пожала я плечами.

— Нравится — не нравится — это все философия. А я хочу узнать: пахота на других без оплаты за труд как называется? Я не отказываюсь, я тоже ищачу, дай боже, но согласитесь, имею с этого.

— Танюх, так я ведь тоже имею. — Зоя улыбнулась.

Она смотрела на Татьяну не с осуждением, а с плохо скрываемым сожалением.

— Что ты имеешь? Спасибо, бабуля, было очень вкусно? И это все?

— Танюша, но ведь это очень много.

— Спасибо на хлеб не намажешь.

— Не все покупается и продается.

— За редким исключением.

— Я приглашу официанта. — Я снова попыталась отойти. На этот раз мне помешала Нина, спросив:

— Как вы считаете: карьерист — это комплимент или наоборот?

— Я слышу в этом слове негативную окраску, — я постаралась ответить так, как подобало отвечать человеку, владеющему словом, — Нина была писателем, и известным.

— Вот и я слышу. А почему, собственно, карьерист это плохо? Если ты никого не подсиживал, не предавал, нигде не подличал, так в чем проблема? Делай себе карьеру сколько угодно. А вот не любят люди карьеристов. Не понимают, как амбиции могут быть важнее прописных ценностей. Но ведь у каждого жизнь одна. Пусть живет как хочет. — Казалось, она разговаривает сама с собой, словно вырисовывая в воображении сюжет будущей повести. Но я все равно сочла невежливым промолчать:

— Пусть живет.

— Вот вам, девочки, мнение со стороны, — тут же вернулась Нина с небес на землю. — Каждому свое. Странно, что две великовозрастные тетki неожиданно об этом забыли. Кстати, Ладка вон вообще образец совместности рабства и независимости.

— Ну-у-у, — протянула Лада. — В чем-то да.

— Во всем. — Нина взглянула на нее снисходительно, как смотрит на ученика учитель, когда тот пытается придумать оправдание невыученному уроку. — В сущности,

многим удается совмещать эти два статуса. А вот они, — Нина кивнула на подруг, — исключительные крайности.

— Пожалуй, — согласилась Зоя.

— Наверное, — все еще немного обиженно сказала Лада.

Я промолчала, обдумывая, как предпринять очередную попытку уйти. Татьяна резко хлопнула рукой по столу:

— Ладно, крайности. Мое время вышло. Ешьте десерт без меня. До скорого.

Не мешкая, она поднялась, чмокнула каждую из женщин и быстро удалилась.

— Самая независимая пошла, — усмехнулась ей вслед Нина.

Все молчали, удивляясь тому, насколько Татьяна помешана на работе, а я совершенно неожиданно решила полюбопытствовать:

— Чем она занимается?

— Всем понемножку, — загадочно ответила Нина.

— И всем сразу, — добавила Лада, ничуть не проясняя ребус.

— Она — юрист, — с укоризной взглянув на подруг, объяснила Зоя. — И очень востребованный. Она способна вести любые дела, как по бизнесу, так и личные. Лицензия адвоката у Тани тоже есть. Конечно, если вы украли кошелек, она вас защищать не станет.

— А если обанкротите этот ресторан, то вполне возможно, — глубокомысленно заметила Нина.

— Нин! — Подруги хором осадили ее.

— А что такого? Это же шутка. Хотя, — Нина будто говорила сама с собой, — в жизни все может случиться.

Я улыбнулась, показывая, что ни капельки не сержусь и понимаю, что все это несерьезно, так, фантазии, не более того. Словно вдогонку моим мыслям Лада сказала:

— А ты напиши об этом.

— О чем? О банкротстве ресторана или о Таньке

и краденom кошельке? — спросила Нина, и подружки дружно захохотали. А я пошла по своим делам, отослав к ним официанта. Я не знала, почему они засмеялись. По мне, так Нина могла бы написать хоть о рваном ботинке, все одно получился бы бестселлер. Она была не просто известным, а очень популярным писателем. Она не только писала увлекательные романы, которые появлялись в магазинах с завидной регулярностью, но и не сходила с экранов телевизоров. Ее приглашали участвовать в различных ток-шоу, быть членом жюри многих конкурсов, высказывать экспертное мнение в политических программах. Кроме того, она вела несколько радиопередач. В одной говорили о новинках кино, в другой речь шла о воспитании детей — у Нины, матери и бабушки было несколько книг, посвященных проблеме переходного возраста. Литература ненаучная, но чрезвычайно познавательная. Тираж одной книги разошелся мгновенно, а потом допечатывался и допечатывался, потому что восемьдесят процентов, если не больше, матерей подростков понятия не имели, что делать, если обожаемое чадо красит волосы в зеленый цвет, хамит, шляется по подъездам, одевается в какие-то лохмотья, слушает ужасную музыку, не желает учиться и вообще упрямо движется по неправильной колее прямиком в тупик. Все хотели знать, как же быть, и всем советы Нины Артемьевой казались очень толковыми.

Признаться, книга «Трудный возраст» в свое время была и моей любимой. Язык легкий, ненавязчивый, конфликт увлекательный. Нина прекрасно владела словом. Самое интересное, что совет в романе был всего один. На вопрос, что же делать, если ребенок отбивается от рук, Нина отвечала вполне конкретно: «Ничего». Конечно, речь не шла о ситуациях, угрожающих жизни или здоровью подростка. Но во всех остальных случаях был очевиден прозрачный намек писателя: «Потерпите. Не переживайте. Не реагируйте, иначе

будет еще хуже. Много ли вы видели великовозрастных людей с зеленым цветом волос? А все ли мы постоянно ходим в наушниках? И разве никто не умеет читать? Не давите — и не заметите, как из цербера превратитесь в друга».

Конечно, это были прописные истины. То же сказал бы любой психолог. Но дело упиралось в сам роман, который был написан с большим чувством юмора от первого лица. Нине поверили, ее цитировали, ее хотели слышать и видеть. Мнение писательницы по любому вопросу казалось интересным. Она была настоящей звездой — ее узнавали. Не раз и не два я видела, как к Нине подходили и просили автограф. И мне импонировало ее поведение. Она всегда приветливо улыбалась, выслушивала комплименты, ничуть не смущаясь. Никогда не стеснялась, не зажималась, не кокетничала: «Что вы?! Что вы?!» Нина не кичилась своей популярностью и никогда не показывала раздражения, даже если страждущие ее росчерка мешали просто поесть и поболтать с подругами. Не терпела она лишь одного: когда ее начинали снимать. И даже если просили сфотографироваться, всегда отказывала.

На это была причина, о которой, наверное, знал каждый житель страны, хоть немного знакомый с ее жизнью и творчеством. Лет десять назад пикантные фотографии Нины с неким популярным тогда молодым певцом облетели желтую прессу и даже попали на один из телевизионных каналов. Сама она никак не комментировала ситуацию, не отвечала на звонки и не давала интервью. На том канале и на изданиях, пропустивших снимки в печать, поставила жирный крест. Даже на пресс-конференциях игнорировала вопросы от журналистов этих газет и журналов. Не думаю, что Нина была злопамятной, скорее справедливой. Они не просто вмешались в ее жизнь. Они ее разрушили. Вся страна знала, что Нина после скандала развелась с мужем, с певцом

же так ничего и не сложилось. Очень скоро он исчез с экранов, а спустя время о нем и вовсе забыли.

Скандал мог обойтись Нине дорого и на профессиональном поприще. Та, кто пишет о семейных ценностях, о проблемах отцов и детей, о жизненных перипетиях, должна знать, как избежать этих самых перипетий. И, конечно, не должна быть замечена ни в чем таком, порочащем репутацию. Но Нина, как я уже говорила, могла написать о чем угодно. Тогда она написала исповедь. Конечно, не от первого лица, было бы слишком прозрачно. Но люди прочитали, все поняли и простили своего кумира. Она перестала быть идолом (у идола нет права на ошибку), однако осталась умным, приятным человеком, который многое знает и понимает в этой жизни, а значит, может действительно приносить пользу своим читателям.

Кстати, из этого романа, который назывался «Ошибка незрелой женщины», любопытные узнали, куда подевался певец, представленный в книге подающим надежды телеведущим. Вернулся туда, откуда приехал, — в глубокую провинцию к беременной жене. Роман с писательницей (в книге популярной ведущей) был не любовью всей его жизни, а лишь ступенькой в лестнице на Олимп. Она на Олимпе удержалась, а он упал и не поднялся, потому что подлость и гадость должны быть наказаны. Героиня романа шла по жизни с высоко поднятой головой, но я все равно ее жалела. И Нине, которой точно незачем было сетовать на жизнь, я тоже почему-то сочувствовала. Мне казалось, что она рада бы найти свое женское счастье, но боится снова обжечься и угодить в ловушку неискренних чувств. Но и в этом я была не права.

Когда в прессе появлялись снимки с различных официальных мероприятий, премьер и показов, Нину всегда фотографировали с сопровождающими. Под фотографиями были подписи: «с агентом», «с директором»,

«с коллегой», «с издателем». Публика ждала, когда же такая интересная и еще вполне молодая женщина выйдет в свет с кем-то более близким, но ожидания не оправдывались. Я искренне верила всему, что пишут в журналах. Оказывается, была наивной как дитя.

Однажды ко мне в кабинет зашла Татьяна. Это оказался тот редкий случай, когда она появилась раньше подруг. Ей надо было организовать деловой ужин для коллег, и мы обсуждали меню и количество гостей. Обо всем договорившись, она собралась уходить и спросила мимоходом:

— Как дела?

— Нормально, кручусь, — ответила я с некоторым сожалением. Я только вступила в должность, и механизм работы не был отлажен на сто процентов. Я уставала.

— Все крутятся. Каждый в своем вареве. — В голосе Татьяны тоже звучала грусть. Я думала, она говорит о себе, но, проследив за ее взглядом, увидела, что он уперся в раскрытый на моем столе журнал. Там, среди других фотографий, на развороте красовался снимок Нины с каким-то очередным то ли коллегой, то ли партнером. — Вот и Нинуська никак не успокоится. — Татьяна покачала головой. — Слетаются на нее, как мухи на мед, а она и рада. Ну чего радоваться, когда тебя используют? Мне вот одного раза хватило. Сходил налево к моей подруге, я сразу мужиков как класс вычеркнула, эту же постоянно мордой об стол возят, а ей хоть бы хны. А ведь умная баба.

Я была обескуражена откровенностью Татьяны. Мне она представлялась непрошибаемой. А тут и про себя откровенно высказалась, и подругу, как говорится, сдала. Татьяна между тем продолжала:

— Вот сейчас придет, будет рассказывать про очередную большую любовь. Самое интересное, она сама понимает, что нет никакой любви, что ее опять просто

используют. И позволяет. Как так можно? — Татьяна ждала какого-то ответа, и я процитировала классика:

— Ах, обмануть меня несложно, я сам обманываться рад.

— Так оно и есть. Ощущение, что ей самой все это нравится. То с одним крутить, то с другим. — И снова она хотела услышать ответную реплику, я ее подала:

— Может, правда нравится. И почему крутить, тут вроде написано, что он — коллега.

— Ну да, на заборе тоже написано.

— Так что, врут?

— Конечно. Писать «с любовником», что ли?

— Ну, Нина свободная женщина. Может делать, что хочет.

— Вот от того и бесится, что свободная. Как Вовка ушел, так и не может успокоиться. А зачем для этого мужиков менять как перчатки, не понимаю!

Татьяна ушла, а я подумала, что предпочла бы менять как перчатки, но не быть одной-одинешенькой. И пусть это называют слабостью. Плевать на Хайяма. Во всяком случае, из-за одной измены ставить крест на своей личной жизни тоже не особо умно. Я бы даже сказала, глупо. Я думала о Татьяне и повторила ее слова:

— А ведь умная баба.

Подруги, облюбовавшие наш ресторан много лет назад, казались мне очень похожими. Все успешные и при этом каждая по-своему несчастна. Все имели скелетов в шкафу, все могли поплакаться на судьбу. Все три, кроме Зои. Меня всегда удивляла эта дружба. Нет, не потому что с Зоей нельзя было дружить, просто она была не из их круга. Тут не шла речь о детской дружбе, когда, даже годы спустя, неважно, кто ты и что ты. Я однажды слышала, как Нина говорила подругам, что очень рада, что у ее дочки сложилась прекрасная компания во дворе.

— Вот сейчас даже в разные школы пошли, а домой прибегают и первым делом звонить: «Гулять пойдешь?»

Хорошо бы это сохранилось. Нет ничего лучше друзей детства. Так жаль, что у меня их нет.

— Тогда откуда ты знаешь, что ничего лучше нет? — деловито спросила Татьяна.

— Ну, я же в социуме живу, а не в вакууме. Наблюдаю за людьми, общаюсь с ними.

— Танюш, не вредничай! Нина абсолютно права. Вот у меня есть Галка. Мы с ней из одной песочницы. И сейчас, когда встречаемся, так друг друга и воспринимаем, хотя она, между прочим, уже сейчас в министерстве работает, а станет еще более важной шишкой.

— Вот когда станет, тогда и будешь говорить про песочницу, — упрямилась Татьяна.

Ее упрямство ничего не значило. Она всегда до последнего отстаивала свою позицию, — профессиональная привычка хорошего адвоката. Что бы она ни говорила, я соглашалась и с Ниной, и с Зоей на все сто процентов. Моей лучшей подругой была и оставалась Иришка, с которой мы десять лет просидели за одной партой. И не имело никакого значения, что я жила в Москве, а она в Австралии. Лучше и ближе ее не было никого.

Итак, я недоумевала, что могло объединить этих женщин. Конечно, три из них чем-то походили друг на друга, но Зоя выпадала из общего ряда. Во-первых, она была счастлива в семейной жизни без всяких оговорок. У Лады при всей ее обеспеченности имелись нюансы. Контроль оказался не только финансовым. К ней был приставлен водитель, и она не могла его отпустить. Часто у нее звонил телефон, и после короткого разговора она вскакивала и начинала торопиться, приговаривая:

— Через час будет дома, через час будет дома.

— Ну что он, маленький? — фыркала Нина. — Что ты лебезишь?

— Не маленький, — соглашалась Лада, — но он будет недоволен, понимаешь? — И в голосе ее слышалась какая-то обреченность.

— Да бросьте вы, девочки! — весело говорила Зоя. — Вот мой Петя на рыбалке, а был бы дома, я бы тоже торопилась ему ужин подать.

— Ты, Зойка, блаженная, — отмахнулась Татьяна. — Ходишь в подавальщицах и радуешься.

— Радуюсь, — нисколько не обидевшись на «подавальщицу», подтвердила Зоя.

Она действительно радовалась своему удачному за мужеству, которое остальные подружки таковым отнюдь не считали. Разговор, подтверждающий это, мне пересказала однажды моя сменщица Тамара, с которой мы, будучи официантками, не могли не обмениваться впечатлениями от клиентов. И конечно, позволяли себе посплетничать. А как же? Бабы, они и есть бабы, как сказал бы мой муж.

— Наши-то (так мы привыкли называть между собой четверых подруг), — заговорщицки сообщила мне Тамара по телефону, — поскандалили.

— Да ну?! Из-за чего?

— Не из-за чего, — загадочно произнесла Тамара и победно пояснила: — Из-за кого. Из-за мужика.

— Из-за какого?

— Из-за Зоиного.

— Чего?! Ты сочиняешь, да? — Ясное дело, я не поверила. Зоиного мужа мы видели несколько раз. Он иногда приезжал за ней к ресторану на стареньком «жигуленке». Спустя годы сменил его на подержанную недорогую иномарку, но это ничего не меняло. Как был, так и остался он ничем не примечательным мужичком, каких вокруг пруд пруди. Взгляд, во всяком случае, на таком не задерживается. О нем и говорить-то не хочется, а чтобы поскандальить... — Говори, — потребовала я.

— Короче, я заказ принимаю. Эти сидят, мужиков обсуждают. Лада, значит, жалуется: «Достал меня своим контролем. Иногда думаю, плевать на деньги, надо спасаться». Ну, ты эту песню знаешь, никуда она не де-

нется от своего банкира. Они, наверное, тоже знают, потому что никак не отреагировали на ее стоны. Нина тоже пожаловалась: «С Вовкой не все гладко, ругаемся часто, понимание куда-то делось». В общем, наверное, кризис какой-то в отношениях. У всех бывает, ты же понимаешь.

— Угу, — подала я торопливую реплику. Не терпелось узнать, как же вышел скандал из-за Зоиного мужа.

— Татьяна в своем репертуаре: «Не доведут вас, девочки, мужики до добра». Лада кивает, Нина вздыхает, соглашается, а Зоя...

— Ну-ну!

— Протестует. «Не гневите, — говорит, — Бога, девочки. У вас замечательные мужья. У каждого свой характер и свои недостатки, просто надо уметь найти подход к человеку». Нина отвечает: «Ты, видно, к своему нашла, раз никогда про него слова дурного не скажешь». А Зоя, представляешь, так искренне удивляется: «Я?! И искать ничего не надо было. Петя у меня идеальный».

— Неужели? — Я фыркнула и засмеялась.

— Понимаешь, да? — Томка развеселилась. — Ну и пошло-поехало. Это он у тебя идеальный? Ничего не зарабатывает, ни к чему не стремится, готовить — не готовит, убирать — не убирает. Да еще и на рыбалку часто уезжает. А Зоя — блаженная: «Зато рыбку какую привозит и грибочки». А Таня, прикинь: «Как бы он тебе сифилис не привез». Я думала, Зоя обидится и убежит, а она, представляешь, с жалостью на Татьяну смотрит и говорит: «Танюш, болит у тебя, да? Ну не переживай, не все такие, найдется еще порядочный человек, как мой Петя». Уж не знаю, что там у Татьяны болит и почему, только она подхватила и убежала.

Я тоже понятия тогда не имела, чем слова Зои так расстроили Татьяну, поэтому протянула:

— Да-а, дела-а.

— Делишки. Только это еще не все. Лада потом на-

чала. «Поделись, — говорит, Зойка, секретом, как так: мужик и не зарабатывает, и в хозяйстве не особо смекалист, и не то чтобы очень щедр, а ты его идеальным считаешь». Зоя говорит: «Люблю его». И улыбается. Лада ей: «Дура ты!» А Нина головой мотает. «Нет, — говорит, — Ладка, это мы с тобой дуры, а Зойка счастливая». Потом, знаешь, задумалась: «Я про твое счастье напишу, Зой». А та уперлась: «Не пиши! Нечего про меня писать». Нина ее и так, и сяк уговаривать: «Это же не про тебя — про любовь». А Зоя свое: «Любовь — тайна, и нечего про нее на бумаге». Ну, тут уже Нина взвилась. Вспомнила и Толстого, и Достоевского, и Гюго. Обозвала Зою помешанной на своем Пете и тоже ушла. Лада не визжала, но, кажется, Зою отчитала. Мол, ты была не права и все в таком духе. Кошелек открыла, деньги на стол бросила. А они и успели-то всего по бокалу выпить. И тоже retirовалась.

— А Зоя что?

— Вот теперь самое интересное. Позвонить попросила. Эти-то, ясное дело, все с мобильными, а у Зои еще такой роскоши не намечается. Я ее к телефону проводила и сама у бара верчусь, будто заказ жду. И что ты думаешь? Говорит она в трубку: «Приезжай, родной, тошно мне».

— Так и говорит? — не поверила я Томке — любительнице преувеличивать и привирать.

— Ну, может, не такими словами, но смысл этот. И что ты думаешь? Я-то в полной уверенности, что сейчас явится какой-нибудь там полубовник и все Зойкино счастье полетит в тартарары. Но нет. Через полчаса подъезжает муж на своей раздолбайке, заходит, подсаживается к ней, обнимает. А она ему рассказывает, рассказывает. Это я уже не слышала, неудобно рядом торчать. Но только видно было, как она к нему прижимается, а он ее по голове гладит, гладит и так ласково-ласково. В общем, завидки берут. Я вот знаешь, что думаю?

— Что?

— Вот не надо мне ни чтобы готовил, ни чтобы помогал, ни чтобы на работе убивался, а только бы сел рядышком, да выслушал, да по спинке бы так погладил.

— Ладно, Том, не утрируй. Тебе-то что на судьбу пенять? — У Тамары был муж — приятный и вполне приличный. Он, кстати, потом костями лег, но заставил-таки жену уйти из ресторана, считал, что приличной женщине негоже заявляться домой в час ночи. А что? Прав был. Может, поэтому они с Тамарой и живут до сих пор душа в душу. Не поддавалась бы на его уговоры — наверняка разошлись бы. Но тогда мы еще об этом не знали. Знали только, что мужик у Тамары хороший. Поэтому она и ответила:

— Да вроде ничего. А зависть прям гложет.

— Вот и уйми ее. Может быть, Зоя вовсе и не счастливая.

— А какая же?

— Умная просто. Знаешь ведь, мужика ругаешь, возникают вопросы, чего же с ним живешь?

— Значит, она подругам сознательно врет?

— Может, и нет? Может, она таким образом себя убеждает в том, что всем довольна?

— Лик, ну вот те крест, она правда всем довольна. Ты бы видела, как у нее глаза засияли, когда этот Петя на пороге появился.

— А ты прям заметила издалека?

— Так невозможно не заметить счастливую женщину. — Томка снова вздохнула и попрощалась.

Я ей поверила. Мне тоже Зоя всегда казалась всем довольной. И это ее довольство было для меня очень странным. На фоне подруг выглядела она неприметной и неказистой.

Лада была ухоженной красавицей, Татьяна, хоть и не такой сногшибательной, но очень модной и стильной. Нина уступала им по общепринятым канонам красоты,

но в ее лице было столько мягкости и очарования. Публика называла ее милой женщиной. И действительно, Нина была обаятельна, а улыбка ее настолько прекрасна, что, как только появлялась на лице, казалось, что в помещении включились лишние тридцать две лампочки.

Если бы меня попросили описать Зою, я бы ответила: «Ничего примечательного». И это самое верное определение. Я еще помнила времена, когда ее фигура была на три размера меньше, но и тогда — лет пятнадцать назад — стройностью Зоя не отличалась. Кстати, она единственная из четверых всегда заказывала десерты, повторяя при этом одну и ту же фразу: «Похудеем на том свете». Больше всех ее ругала Лада.

— Не думаешь о себе — подумай о детях!

— А что дети? — невинно удивлялась Зоя, отщипывая ложечкой очередной кусочек «Наполеона».

— Детям нужна здоровая мать. А сахар — это, между прочим, не только жир, но и диабет, и гипертония, и еще целый букет страшных заболеваний.

— Тебе не кажется, что странно рассказывать мне про болезни? — хохотнула Зоя, а я не поняла ее смеха.

— Станным мне кажется то, что ты сама об этом не думаешь.

— Почему же? Я думаю. Только еще я думаю, что детям от здоровой, но несчастной матери толку мало.

— А ты без куска торта будешь несчастной?

— Ага, ужасно. — Зоя доела торт и как ни в чем не бывало принялась за мороженое. Лада только рукой махнула: «Ну что с нее взять?»

Взять действительно было нечего. Легкомысленно Зоя относилась не только к своей фигуре, но и к внешности, и к одежде. Никогда не видела я ее хотя бы немного накрашенной. Максимум, который она допускала в преображении, — распустить пучок и перехватить волосы обручем. Волосы, кстати, у нее были роскошны-

ми. Я не могла понять, почему такую красоту постоянно прячут. Распущенными я их видела раза три, не больше, и не смогла не заметить, что сама Зоя испытывает неудобство от такой прически. Она постоянно накручивала кончики волос, пыталась собрать их и изобразить подобие узла, который обычно носила на голове. Одевалась Зоя тоже допотопным образом. Вечно на ней висели какие-то старушечьи юбки и кофты, делающие талию еще шире, а возраст гораздо старше. Зоя иногда казалась мамой одной из подруг, случайно очутившейся за их столиком. Хотя, наверное, все эти женщины постарались бы сделать так, чтобы их родительницы выглядели по-другому. Я несколько раз слышала подобные диалоги:

— Давай с тобой по магазинам пройдемся, подберем что-нибудь. — Лада.

— Делать мне нечего, время на шмотки тратить.

— Не на шмотки, а на удовольствие.

— Для тебя удовольствие — для меня ночной кошмар.

— Зой, правда, с людьми ведь работаешь, — Татьяна, — нехорошо как-то.

— А что нехорошего? Они мою одежду и не видят. А хоть бы и видели — я же не модельер, чтобы с меня пример брать.

— А, между прочим, — это уже Нина, — нет ничего плохого в том, когда с тебя берут пример.

— А с меня и берут, — обезоруживающе улыбалась Зоя. — Разве нет? — И все три подружки понимающе кивали ей в ответ и тоже улыбались. Спор прекращался, каждый оставался при своем мнении, а я в полном недоумении: отчего, интересно, люди не видят Зоиной одежды и почему кто-то помимо собственных детей решил брать с нее пример? Ее подруги, кстати, делать этого явно не собирались. Они и ругали ее, и подначивали, а иногда даже откровенно потешались над Зоей и, не стесняясь, высказывали свое мнение (например, по

поводу мужа). И потому эта дружба с каждым их новым визитом удивляла меня все больше.

Лада, Татьяна и Нина при всех нюансах были успешны. Зоя же такого впечатления не производила. Она была гораздо менее обеспеченной, но не стеснялась этого и не старалась ничего изменить. Точно не старалась, потому что совсем недавно, когда Татьяна сбежала на свои переговоры, а Лада — к строгому мужу, я подошла к столу, чтобы узнать, все ли понравилось гостям в этот раз, и услышала:

— Зой! Что тут думать? Соглашаться надо.

— А зачем, Нин? Я не вижу резона, понимаешь?

— Не понимаю. Там и деньги другие, и возможности, и слава.

— А мне хватает и славы, и денег. Это у тебя слава вселенская, мне же достаточно определенного круга.

— А денег, значит, тоже хватает?

— Нин, я тебя умоляю, сейчас их не хватает на одно, потом будет не хватать на что-то другое. Кому их вообще хватает?

— О пенсии подумай — она больше будет. О внуках еще — сможешь им лишнюю игрушку купить.

— Знаешь, Ниночка, я тебе по своему опыту скажу: «Лишнего покупать не надо, тогда вырастают избалованные дети».

— Хорошая фраза, я ее куда-нибудь вставлю. Только все равно, от таких предложений не отказываются.

— Ну, значит, я буду первой.

— Ты будешь дурой.

— Лучше я буду дурой на своем месте, чем умной на чужом.

— Да с чего ты взяла, что это не твое место?! Тебя же зовут!

— Зовут, потому что не разбираются. Считают, что раз человека хвалят на одном месте, то будут хвалить и на другом.

— А это не так?

— Конечно, нет! Каждый должен заниматься своим делом.

И снова я осталась в неведении, каким таким важным делом занимается Зоя и почему не хочет менять работу на более почетную и лучше оплачиваемую.

Время летело, жизнь менялась. Лада женила сына, показывала подругам фотографии со свадьбы в Сен-Тропе и жаловалась, что «пляжи уже не те, да и устрицы не слишком свежие». Она была по-прежнему хороша, но неминуемое увядание уже полоснуло кистью по ее привлекательному лицу. Фигура Лады начала расплываться, и я, тоже наблюдающая за тем, как цифры на весах неуклонно ползут вверх, грешила на возраст. Но недавно, просто проходя мимо столика, я уловила, как Лада бросила в сердцах:

— Надоело все. Всю жизнь спорт, косметолог, диета. А результат такой же, как у остальных.

Я, признаться, удивилась. Лада должна была видеть, что ее результат отличается, и значительно, от того, который могут продемонстрировать многие женщины за пятьдесят. Оказалось, она имела в виду не внешность, а свою семейную ситуацию.

— У Лады муж закрутил с самой... — официантка, обслуживающая их столик, наклонилась к моему уху и прошептала имя известной модели.

Удержавшись от возгласа удивления, я включила профессионализм:

— Не разводи сплетни, иди работать!

— При чем здесь сплетни, если она плачет?

Я взглянула в сторону стола подруг. Лада вытирала аккуратно покрашенные глаза кружевным платком.

— Ну, она подружкам плачет, а не тебе и мне.

За развитием ситуации, однако, можно было следить по публикациям в прессе. Модель оказалась известной личностью, и ее роман с не менее известным банкиром

не остался незамеченным. «Бедная Лада», — думала я каждый раз, рассматривая фотографии ее престарелого мужа в обнимку с двадцатилетней красоткой. Я не была знакома ни с одним из них, но вывод сделала очевидный. Оба сходили с ума от страсти. Она — к деньгам, он — к молодому телу. Страсть была настолько сильной, что любовники решили пожениться. Развод оказался стремительным. Лада осталась с финансовой компенсацией, никак не покрывающей расшатанные нервы. Известный журнал опубликовал интервью с ней, в котором она была настолько откровенна, что центральный канал пригласил ее вести шоу о разводах. В один миг из никому не известной домохозяйки Лада превратилась в звезду, за которой так же, как за Ниной, принялись охотиться папарацци. Но в отличие от Нины, Лада их привечала. Она хотела, чтобы банкир видел ее цветущей и ни о чем не жалеющей. Его модель родила двойню, расплылась и исчезла и с подиума, и с обложек журналов, где теперь царствовала Лада.

Этот развод оказался выгодным и для Нины. В последнее время книжный бизнес начал сдавать позиции. Публика стала читать меньше, а читающие предпочитали электронные книги бумажным. Конечно, были преданные ценители прекрасного, но вместе с тем тиражи неуклонно падали, а издательства продолжали выводить на орбиту новые имена в надежде попасть в струю и заработать хорошие деньги на проекте. У Нины появились талантливые конкуренты. Многие из них были моложе, и журналисты проявляли интерес к новичкам, которых рекламировали и предлагали, а не к тем, кто выстрелил двадцать лет назад и что-то там творил в спокойном режиме.

Нина написала роман по мотивам Ладиной жизни. Конечно, наверняка приврала и приукрасила, но события описывались так достоверно, характеры изображались так натурально, как это получается только тогда,

когда автор является участником или свидетелем рассказанного. Эта книга, как когда-то «Трудный возраст», стала бестселлером буквально в один день. Ее сочли настольной для тех, кто переживает кризис в семейной жизни. В ней оказалось много ценных, точных и, что важно, совсем ненавязчивых советов не только о том, как достойно пережить развод, но и как его не допустить. Люди давно забыли о том, что эксперт глубоко и надежно разведена, а Нина так искусно во всех интервью приводила в пример семью собственной дочери, в которой она — не злая теща, а добрый друг, что ей беспрекословно верили. Рейтинг продаж ее книг снова пополз вверх, тиражи увеличились, издатели снова окружили теплом и заботой. Нина разъезжала по городам и весям, встречаясь с читателями. На волне популярности она выпустила несколько не художественных книг: кулинарную, образовательную (учебник по литературе) и даже шутивное пособие по психологии личности. Ее манера письма была настолько легкой, а текст таким занимательным, что пособие признали матерые психологи. Нина получила от них несколько великолепных рецензий и, воспользовавшись ситуацией, запустила программу семинаров для пар, находящихся на грани развода. Самое интересное — у нее действительно получалось помогать некоторым. Во всяком случае, на ее сайте часто публиковались благодарности клиентов, которым она помогла лучше дипломированных специалистов.

Татьяна тоже процветала. Она окончательно переквалифицировалась в адвоката, решающего проблемы юридических лиц. А лица эти были банками, авиакомпаниями, металлургическими заводами, предприятиями из нефтяной и газовой отрасли и другими сильными мира сего. Татьяну берегли как зеницу ока, контакты ее передавали с придыханием из уст в уста и, естественно, не жалели гонораров. Татьяна стала еще более резкой

и совсем занятой. Теперь случались встречи, на которых она не присутствовала вовсе. На другие приходила, а вернее залетала, минут на сорок, слушала вполуха рассказы о Ладином шоу и Нининых семинарах и убегала читать, готовить, подписывать и разрабатывать концепции. Наши официанты поговаривали, что у Татьяны появился мужчина. Якобы они несколько раз видели, как за ней подъезжал один и тот же господин в сединах и на дорогой машине. Лично я судить не бралась. Приезжать мог кто угодно: коллега, заказчик, партнер, клиент. Да даже родственник, в конце концов. Но и мне казалось, что Татьяна немного изменилась. Резкость ее была сильной, но не грубой. Движения остались твердыми и нервными, но взгляд лишился стали, а в голосе появились какие-то звонкие, серебряные нотки. Если раньше Татьяна казалась мне бесконечно чужой и далекой, то теперь представлялась скорее земной женщиной, а не инопланетянкой. Дважды она сразила меня наповал. Один раз поинтересовалась жизнью моего сына. Я и представить не могла, что она вообще помнит о наличии у меня детей. А уж то, что знает пол ребенка, просто не укладывалось в голове. Будто прочитав мои мысли, Татьяна произнесла:

— Я помню, вы когда-то рекомендовали нам попробовать десерт «Нежный» и сказали, что его обожает ваш сын.

— Да, действительно. — Я наморщила лоб, соображая, когда это могло быть. Наверное, лет пятнадцать назад, а может, и больше. — За это время он сильно вырос.

— Да, представляю, — кивнула Татьяна. Я посчитала разговор исчерпанным, но она неожиданно продолжила: — Наверное, уже совсем большой.

— Да, собирается жениться.

— Вас это огорчает? — Разговор по душам с Татьяной — то, чего я ожидала меньше всего. И уж никак не думала, что душу излить придется мне. Нет, я помнила

давнюю сцену в кабинете, но после того дня ничего подобного не повторялось. Да, я не испытывала восторга от предстоящей свадьбы, но не потому, что собиралась стать злющей свекровью, которая ест невестку поедом, пока не сживет со свету. Я просто переживала, как любя нормальная мать, не знающая, как все сложится у ее ребенка в дальнейшем. Но не более того. Просто, переживая и опасаясь, не можешь испытывать безоговорочного счастья. Что ж поделать? Я ответила:

— Не слишком. Просто волнительный момент. Невеста — прекрасная девушка. И, по-моему, любит Андриюшу.

— Что ж, — Татьяна улыbnулась, но как-то грустно, — дай бог счастья! — И я почему-то подумала, что это она пожелала только девушке.

Второй стресс от изменений, случившихся с Татьяной, я испытала, став свидетельницей следующего разговора. Подруги, как обычно, сидели за любимым столиком, и Лада показывала свою фотографию на развороте популярного глянца. Очевидно, ей хотелось похвастаться всему населению планеты, потому что, увидев меня у стойки бара, она призывно помахала рукой. Я, конечно, подошла, посмотрела на снимок, сказала пару дежурных фраз о том, что на фото она выглядит так же прекрасно, как в жизни. И уже собиралась отойти, меня ничто не задерживало, но вдруг Татьяна произнесла:

— А все-таки зря ты развелась, Ладка.

Если есть на свете немые сцены еще немее, чем в «Ревизоре», то эта, безусловно, была из их числа. Все замерли. Лада с кривой улыбкой и приподнятыми вверх бровями. Нина с поднесенной ко рту вилкой. Зоя с прижатой к губам салфеткой. И я в полуразвороте: нога на весу, шея изогнута. Это длилось несколько секунд. Потом вилка с шумом упала на тарелку, отколов кусочек

дорогой керамики, салфетка упала на Зоину юбку, оставив на ней жирное пятно, мое тело достигло привычной гармонии, а Ладины брови вернулись в нормальное положение, но зато рот ее открылся и спросил почему-то шепотом:

— Как это?

На Татьяну смотрели три лица с одинаковым выражением. Это было даже не удивление, а абсолютный, поразительный шок. Мне нацепить такую вполне подобающую случаю физиономию не позволила служба, но я тоже еле сдерживалась от любопытства и просто не смогла заставить себя отойти.

— Я бы не удивилась, если бы это сказала Зоя, — подала реплику Нина.

Я про себя подумала, что согласна с ней.

— А я бы такого не сказала, — пробормотала Зоя.

— Вот видишь! — Ладин голос срывался от волнения. — Даже Зоя так не считает.

— А я считаю.

— Я тебя не понимаю. — Лада смотрела на подругу как на восьмое чудо света.

— А-а-а, — вдруг нашлась Нина, — Танька жалеет не о том, что ты развелась, а о том, что развелась вот так: не обобрав этого предателя как липку. Теперь тебе приходится самой вкалывать, а могла бы лежать на шелковой кушетке в обнимку с маленькой собачкой и ни о чем не печалиться.

— Вовсе я не об этом. Ты, Нин, прекрасно понимаешь, что если бы Ладка туда легла, там бы от тоски и сдохла. Делать нечего. Сын так и остался работать во Франции, и что-то я не слышала, чтобы настойчиво звал к себе переехать. У друзей своих забот полон рот. Ну день полежишь с собачкой, ну неделю, а потом залаешь вместе с ней и завоеешь.

— Тогда о чем ты? — потребовала объяснений Зоя.

— Я о том, что Лада все это не для себя делает.

— А для кого же? — Лада изобразила ехидное непонимание.

— Для него. Все мысли о том, что теперь он увидит, пожалеет, расстроится и поймет, какое сокровище потерял.

— Ну и что? Пусть видит и жалеет. — Нина пожала плечами. — Каждому по заслугам.

— Правильно. Так я и думаю, что Лада заслуживает того, чтобы жить для себя. А она, хоть и развелась, продолжает жить для этого козла. Так зачем разводилась?

— Это он развелся, — напомнила Лада подруге.

— Тогда тем более ты должна растереть и забыть. Сама иди по жизни твердой походкой, и нечего мечтать о том, как в один прекрасный день...

— Да ни о чем я не мечтаю!

— Свежо преданье.

— Тань, ну, что ты к ней привязалась? Нормальная жизнь, классные снимки. Все хорошо.

— Хорошо будет, когда она о нем забудет.

— А ты забыла? — Зоя участливо положила ладонь на руку Татьяны. Меня удивило, что та руки не отдернула, а, казалось, даже сделала ответное благодарное движение.

— Забыла, — произнесла она. — Но потратила столько бессмысленных лет на всякие мысли и сравнения. Надо было сразу растереть и выплюнуть и не судить о других по одной мерке.

— Хорошо, что ты поняла, — сказала Нина.

— Плохо, что поздно, — откликнулась Татьяна. — Ни детей, ни семьи, одни сожаления.

— Но ведь и романтика есть. — И снова Зоя погладила руку подруги, а я сделала вывод о том, что загадочный кавалер все же присутствует в жизни Татьяны.

— Романтика в нашем возрасте — насмешка судьбы. — Татьяна усмехнулась.

— Ну так и смейся себе на здоровье. — Нина энергичным кивком постаралась придать вес своим словам.

— А больше ничего не остается. Много времени потрачено зря. И я не хочу, чтобы Лада повторяла мою ошибку.

— Тань, я все равно не понимаю, — Лада покачала головой. — Что я теперь могу не успеть?

— Пожить для себя, не пытаясь никому отомстить. Я все хотела, чтобы он — муженек мой бывший — пожалел, а в итоге понятия не имею, где он и что с ним, зато сама пожалела по полной.

Никто не решился что-либо ответить. А что тут скажешь? Грусть в темных, глубоких глазах Татьяны говорила сама за себя. Нина ковыряла вилкой в тарелке, Лада кусала губы, стараясь сдержать слезы, Зоя продолжала участливо гладить ладонь разоткровенничавшейся подруги. Я не знала, куда себя деть: уйти молча или что-то сказать? Но что? Татьяна, позволив себе минутную слабость, осталась верна себе. Уже через несколько секунд она резко скинула Зоину руку и твердо сказала:

— Все, хватит распускать нюни. Все у нас замечательно. Живы, здоровы, на паперти не стоим. Потрепались, поели вкусно, теперь вот до сладкого очередь дошла. — Она повернула голову ко мне: — Что там у нас с десертами? — Татьяна смотрела на меня так, как не смотрела никогда: приветливо и как-то очень тепло, по-домашнему.

Перемены в Татьяне, пожалуй, поразили меня больше всего. Несмотря на то что жизнь ее, в отличие, например, от Ладиной, не поменялась кардинально, ее внутреннее преображение было колоссальным. Но еще больше, чем внутренние преобразования Татьяны, новый виток успеха Нины или превращение Лады из домохозяйки в телезвезду, меня поражало другое: отсутствие перемен в Зое.

Нет, во внешности, конечно, произошли изменения. Годы берут свое, как ни крути. Волосы Зои, по-преж-

нему густые, но собранные в дурацкий пучок, изрядно поседали, блеклое, неприметное лицо стало еще бледнее, лучики морщин разбросали свое сияние по вискам и щекам. Но в остальном она была такой, как и прежде. Та же серая одежда тетки, или уже, наверное, бабки. Тот же тихий голос и добрая улыбка. Тот же Петечка, время от времени возникающий на пороге нашего заведения и робко говорящий, что «тут довольно дорого». И мое недоумение от ее пребывания в компании подруг тоже осталось неизменным. Я думаю, оно даже усилилось. Зоя напоминала мне тяжелый якорь в бушующем море. Она будто тормозила жизнь, вихрем вертящуюся вокруг. Она противоречила движению, развитию, прогрессу, в конце концов. И если раньше Зоя просто казалась мне странной и резко проигрывающей своим подругам в успешности, то теперь в моем отношении к ней появилось подобие жалости. Прежде я по-женски сочувствовала и Ладе, и Нине, и Татьяне, но теперь все происходящее в их жизнях представлялось мне правильным и достойным. А в Зоиной, на мой взгляд, не происходило ничего. Вязкое, топкое болото, в котором она наверняка тонет, но стесняется просить о помощи. Мне просто казалось жутко несправедливым то, что приятный человек (а Зоя, безусловно, относилась к категории таких людей) ничего не достиг в жизни, ничего не добился.

Господи, какой идиоткой я была! Насколько слепой! Вот уж действительно нельзя судить о чужой жизни по обрывкам фраз и поверхностным впечатлениям. Обстоятельства очень скоро доказали полную несостоятельность моих суждений.

Мой сын благополучно женился. Волнения оказались напрасными. Все складывалось удачно. Молодые жили дружно, родителей навещали исправно, но не нарушая при этом их права на личную жизнь. В общем, у нас сложились те замечательные отношения, кото-

рые возникают чаще всего тогда, когда все любят друг друга на расстоянии и никто не пытается проникнуть на чужую территорию. Нам с мужем понравилось спустя столько лет снова жить только друг для друга. Мы стали чаще бывать в театрах, интересоваться выставками, да просто гулять под ручку в парках. Мы казались друг другу, как никогда, молодыми и полными сил. Думалось, все еще впереди. Тем неожиданнее оказалось для нас сообщение о том, что из задорных юнцов мы вскоре превратимся в бабушку и дедушку. Я стоически смирилась с этой мыслью через две бессонные ночи, муж, наверное, так и не смирился, но его беспокойство очень скоро отошло на второй план. Мы узнали, что с беременностью есть проблемы. Нужен хороший врач, и очень срочно. Жена сына была иногородней девочкой. В Москве ни родителей, ни близких подруг, ни связей, которые могли бы вывести на приличного гинеколога. К тому же работала невестка в мужском коллективе, где не могла, а точнее, просто стеснялась поделиться этой проблемой. Сын и муж пытались что-то разузнать по своим каналам, но у одного знакомые еще не рожали, а у другого уже. Таким образом, проблема поиска врача стала моей проблемой. Были подключены все друзья и родственники. Буквально за пару дней мне нашли несколько светил гинекологии. Невестку обещали принять и в Перинатальном центре, и посмотреть в ЦКБ, и сделать все анализы и УЗИ у лучшего специалиста в Центре акушерства и гинекологии.

Обещанное выполнили, но вердикт специалистов был одинаков и неутешителен: «Аборт и ничего другого». Все в голос утверждали, что ребенка нашей Лидочке не выносить.

— Вы умереть хотите? — прямо спросил ее один из профессоров.

Лидка стала походить на тень. Мало ела, практически не спала и все время плакала. То от переживаний, то от

того, что пульс учащался до 120 ударов в минуту, кружилась голова и тошнило. Гормональные проблемы смешались с токсикозом и беспрерывно мучили молодую женщину.

— Прекрати истерику! — храбрилась я. — О ребенке подумай!

— Я только о нем и думаю, — всхлипывала Лидочка. — О том, что его не будет.

— Успокойся, будет. Мы что-нибудь придумаем. — Я присаживалась к ней на кровать и гладила по волосам, которые выпадали клочьями, по спине, на которой острыми углами торчали лопатки, по руке, походившей на усохшую, заброшенную тростинку. Гладила и сама не верила в то, что говорю. Не верила и Лидочка.

— Вы же знаете, что говорят врачи.

— Ну, Лидусь, может, и правильно говорят, а? Сейчас подождешь, подлечишься, попробуете еще раз, — я говорила то, что подсказывал здравый смысл. И за моими словами стояли авторитетные мнения. Но Лида не хотела признавать очевидного.

— А если ничего не получится? А если опять вот так? А если скажут, что мне вообще нельзя? Он меня бросит, да?

— Кто?

— Андрю-у-ша. — Рыдания перешли в вой.

— Лида! Немедленно возьми себя в руки. У тебя так без всякого аборта выкидыш случится. Что за ерунду ты себе напридумывала?!

— И вовсе это не ерунда, Лика Петровна! — Лида выкрикнула последнюю фразу резко и горячо, оборвав стенания. Она села на кровати и принялась качаться из стороны в сторону, как умалишенная. Я машинально обняла ее за плечи и поймала себя на мысли, что теперь мы качаемся вдвоем. Я не могла не признать, что у Лиды есть основания опасаться такого поворота событий. Нет, мой сын искренне любил, обожал свою жену, готов

был горы ради нее свернуть. Но это нисколько не умаляло его желания стать отцом. От мальчика нечасто можно услышать, что он собирается водить сына на шахматы, а дочку на танцы. Наш Андрюшка уже давно хотел менять памперсы, петь песенки и не спать по ночам. Он представлял, какие у его будущего сына глазки и губки, и знал, какой бант украсит голову его дочери, когда она пойдет в школу. Да, это редкое явление для мужчины — мечтать о таких вещах. Но из песни слов не выкинешь. Андрей мечтал о детях, и не могла я дать стопроцентной гарантии того, что неспособность жены родить никак не отразится на его чувствах к ней. Да, вероятно, не сейчас. Может быть, лет через десять или двадцать, когда, достойно пройдя с ней испытания, испробовав все возможное и невозможное, тысячу раз надеясь и разочаровываясь, он все же не захочет отказать себе в праве иметь ребенка. Конечно, через двадцать лет Андрей может оставить Лидочку, будь у них хоть пятеро совместных детей, но мне не хотелось так думать о собственном сыне. Это как с мужем. Знаешь, что большинство гуляет, но все же надеешься, что твой не из таких. В общем, опасения Лиды я понимала. Спросила только:

— А если умрешь в родах?

— Лика Петровна, — в глазах Лидочки сверкали решительные молнии, — если он от меня уйдет, то лучше умереть.

Перспективы у нас были отличные. Вариант не иметь внука или получить его на воспитание, потому что неизвестно, выкарабкается его мать или нет. Мне было жалко всех: и Лидочку, и неродившегося ребенка, судьбу которого решают и все никак не решат, и Андрюшку, которому в любом случае предстояло страдать. Я вообще по природе жалостливая. Всегда найду, за что пожалеть человека. Переживания Лидочки не могли оставить меня спокойной. Очень хотелось утешить ее, подбодрить. Поэтому я и сказала:

— Послушай, Лида, не все потеряно. Заключение трех врачей — еще не окончательный вердикт. В конце концов, можно попробовать проконсультироваться за границей.

— Правда? — В голосе невестки смешались сомнение и надежда.

— Ну, конечно!

— Это же, наверное, очень дорого.

— Не бери в голову! — невозмутимо махнула я рукой. — Только успокойся и поешь что-нибудь.

— Ладно.

— Сварить бульон?

— Варите. — Лидочка улыбнулась, и я почувствовала себя просто обязанной горы свернуть, но найти того, кто поможет ей, а заодно и всем нам.

Чувствовать — это, конечно, прекрасно, однако мне еще не помешало бы знать, где взять деньги на лечение у иностранного специалиста и, главное, как его найти. Некоторые сбережения у нас, конечно, были. Как раз, что называется, на здоровье. Но не так уж и много. Мы не умели копить деньги, тратили в свое удовольствие. Делали ремонт в квартире, ездили отдыхать, покупали хорошую технику и приличную одежду. Что-то в кубышке лежало, но я не имела представления, сколько конкретно может стоить мероприятие под названием «Ведение беременности и роды за границей». А если еще и беременность такая проблемная, и врач нужен самый лучший... Да еще и юридический аспект мероприятия. Я слышала, что родами за границей занимаются специальные фирмы. Но с какой безопаснее и выгоднее заключать контракт? Мне нужна была консультация юриста. Хотелось бы знакомого и, естественно, знающего. Почему-то я подумала о Татьяне, а вместе с ней и о Ладе, и о Нине. Лада, конечно, должна была иметь знакомых, которые рожали не в Москве. А Нина несколько лет назад написала книгу, где главная героиня — акушер-гине-

колог. Наверняка Нина пристально изучала все аспекты профессии. А значит, встречалась с врачами. Вероятно, и она сможет кого-то порекомендовать.

Я долго спорила сама с собой о том, удобно ли обращаться к подругам с подобной просьбой. Все же они не могли меня назвать даже хорошей знакомой, так, обслуживающий персонал. Но в конце концов я решила, что в моей ситуации допустимо наплевать на приличия. Главное, чтобы у детей все было хорошо, а уж что там обо мне подумают... Пускай сначала помогут, а потом думают все, что хотят.

Я не знала, когда подруги соберутся в следующий раз. Обычно это происходило раз в месяц — полтора. Уже прошло больше месяца с их последней встречи, и я могла надеяться, что придется ждать совсем немного. Тянуть время не позволял Лидочкин срок. Если уж аборт, то чем раньше, тем лучше. Мне повезло. Женщины появились в ресторане уже через несколько дней. Как назло, первой пришла Зоя. Она как раз была мне не нужна. Что может посоветовать клуша без амбиций? Что она может знать? Лада и Нина пришли одновременно и сразу принялись наперебой докладывать Зое о своих очередных успехах. Даже официантка не могла дождаться, когда они утомнятся, чтобы принять заказ, а мне представлялось совершенно неэтичным подходить к ним сейчас со своими проблемами. Подруги были поглощены друг другом и явно не горели желанием, чтобы их беспокоили.

Наконец прибыла Татьяна. Влетела, как всегда, стремительным стрижом, на ходу бросила официантке, что будет кушать. Медлить не стоило. Она могла упорхнуть так же внезапно, как появилась. Я подошла и вежливо поздоровалась. Четыре пары глаз посмотрели на меня с недоумением. Это была их прерогатива обращаться к персоналу. И почему это вдруг персонал осмелился сам?

— Я прошу прощения за беспокойство, — вежливо начала я и, не давая им вставить ни слова, кратко обрисовала ситуацию. В конце взглянула Татьяне прямо в глаза и произнесла без всякой робости: — Нам очень нужна ваша помощь.

— Моя? Я не совсем понимаю... — Почему-то Татьяна смотрела на Зою, а та только улыбалась молча. И что здесь смешного?

— Вы ведь юрист. Вы могли бы уточнить по своим каналам, с какой фирмой лучше заключать контракт, а если бы вы еще согласились проверить документы, то...

— Может быть, не стоит уповать на границу? — Татьяна говорила со мной, но не отрывала взгляда от Зои, которая теперь очень внимательно смотрела на меня.

— Нет, все уже решено. Здесь от нас отказались. Я как раз хотела спросить, — теперь я обращалась к Ладе, — вероятно, у вас есть какие-то знакомые, кто пользовался услугами таких фирм, вы можете назвать какие-то конкретные?

— Я? — Лада почему-то растерялась и тоже взглянула на Зою.

— Подумайте, — попросила я, — может быть, вспомните. — Теперь я повернулась к Нине: — Нина, я читала вашу книгу «Тернистый путь», там речь шла о первоклассном враче-гинекологе. Конечно, я понимаю — вы придумали героиню, но наверняка вас консультировали настоящие врачи. Возможно, среди них есть специалист, который отважится взглянуть на нашу проблему по-другому.

Нина тихо засмеялась. Ее смех подхватила Лада, а за ней Татьяна, и только Зоя сдержалась, хотя в ее блеклых глазах неожиданно заплескали озорные огоньки. Она зашикала на подруг:

— Девочки, прекратите! Да перестаньте же! Ну что вы, как кони, ей-богу!

— Простите, простите, пожалуйста, — обратилась

ко мне Нина, вытирая с глаз выступившие слезы. Она взяла себя в руки и погрозила пальцем Татьяне и Ладе. Те тоже, наконец, успокоились. — Видите ли, — сказала Нина, — я не придумывала героиню. Я ее просто срисовала, списала с реального человека.

— Да?! Эта женщина, что творит чудеса в гинекологии, действительно существует? Вы познакомьте меня с ней? Я буду вам очень признательна. Если я как-то могу отблагодарить, вы...

— Зоя познакомит, — прервала меня Татьяна.

— Вы? Это ваша знакомая? — Вот почему они все так смотрели на Зою. Ну конечно, у нее ведь трое детей. Вполне может водить старое знакомство с приличным гинекологом. Ответ Зои поверг меня в шок.

— Честно говоря, это я. — Озорные искорки в ее глазах заплескали еще сильнее. В эту секунду Зоя показалась мне невероятно красивой. Я не могла найти тому объяснения. Я только поняла, что эта женщина далеко не невзрачна и вполне самодостаточна. Ей не надо себя переделывать, потому что все у нее было, и есть, и, наверное, будет. Впервые я видела, что она — центр вселенной, и остальные три подружки глядят на нее с глубоким уважением и неприкрытым обожанием. — Я посмотрю вашу девочку. Если сумею — помогу. Записывайте телефон.

Зоя продиктовала мне свой номер. Едва она закончила говорить, ее простенький мобильный ожил песней «Мама жизнь подарила...». Зоя взглянула на дисплей:

— Извините, у самой дочь на сносях, звонит вот. — И в телефон: — Да, Дашенька! Где тянет? Постоянно? Какая периодичность? Выделения есть? Да, похоже, что началось. Звони Инге Сергеевне, я еду. — Она отключилась и обратилась сразу ко всем: — Извините, девочки, рожает. Надо передать дочь в надежные руки. А вы, — она строго (так смотрят врачи и учителя начальных классов) взглянула на меня и почти потребовала, — обя-

зательно позвоните мне, и побыстрее. Прямо завтра, слышите?

— Да. — Я растерялась от ее неожиданной деловитости. Она уже подходила к входной двери, когда я сообразила крикнуть вдогонку: — Спасибо.

— Она поможет, Лика, не сомневайтесь, — обратилась ко мне Лада.

— Она нам всем помогла, — вступила в разговор Татьяна и постучала ладонью по дивану, приглашая меня к столу. Я присела, нарушив все правила. Но их соблюдение интересовало меня сейчас меньше всего.

— Вам? — Я все еще не могла понять, чем такая тихая, неприметная Зоя могла помочь столь ярким, успешным женщинам.

— А что здесь удивительного? Все бабы — бабы, — глубокомысленно произнесла Нина. — И все, ну, практически все совершают ошибки.

— И, по крайней мере, от одной из них она нас уберегла, — закончила за подругу Лада.

Я сгорала от любопытства, но женщин уже можно было не подгонять. Начав рассказывать, они не собирались останавливаться. Первенство захватила Нина.

— Это было... господи, сколько же лет прошло? Лет двадцать пять, наверное, да?

— Детям двадцать восемь, нам за полтинник уже, — подсказала Лада.

— Господи! Значит, почти тридцать. Я только-только замуж вышла. Планов громадье. Во-первых, диссертация по Байрону, во-вторых, публикации в журнале «Мир филолога», ну и главное, — почти законченный, правда в голове, роман, который просто просился на бумагу. Надо было только найти время. И я твердила себе: «Вот защищусь и тогда...». — Нина неожиданно замолчала и мечтательно улыбнулась. Я поняла, что она вспоминает молодость, в которой наверняка была не менее, а может, и более счастлива, чем сейчас. Стряхнув

с себя пелену воспоминаний, она продолжила: — И тогда случилась беременность. А у меня в голове сплошные страницы романа и куча всякой мишуры типа «муж художник, заработка стабильного нет, мотаемся по съемным углам, и вообще, я еще молодая, не хочу, успею».

— Это разве мишура? Вполне понятные опасения, — сказала я.

— Ну, вот и поперлась я со своими опасениями на аборт. Мужу насочиняла что-то и в больницу. Положили, главное, в выходной. Ждите понедельника — думайте. А там и врач придет. Ну, я в палату. А там Ладка с Танькой. Тоже лежат, думают.

— Я и замужем не была, только собиралась, — вступила в разговор Лада. — А ребенок от другого. — Она смутилась и слегка покраснела. Странно для зрелой женщины. Наверное, она тоже об этом подумала, так как уже через секунду справилась с собой и беспечно махнула рукой: — Ну да с кем не бывает. В отца ребенка я влюблена была, что называется, до потери пульса. А он поматросил и бросил. Сердцу, говорит, не прикажешь. Когда расстались, я даже и не знала о ребенке. А как узнала, тоже ничего говорить не стала. Если без ребенка не нужна, так с ребенком тем более. А потом быстро так с Валерой познакомилась, ну, с мужем будущим. Тут уж он с ума по мне сходил. Уже через месяц кольцо, колено, предложение. У меня голова кругом. Соглашаюсь, то ли от бури эмоций, то ли от желания насолить бывшему. Пусть узнает и пожалеет. Какая чушь! Нет, ну действительно, все бабы — дуры. И я такая же. Замуж, в общем, собралась. И как-то подумала, что жених не придет в восторг от невесты с чужим ребенком. Так что мне хоть и сказали лежать и думать, но думать тут особо было не о чем. — Лада замолчала, и мы все трое, не сговариваясь, обернулись к Татьяне.

— А я узнала, что муж изменил, разводиться решила. Зачем мне ребенок? К тому же боялась, что рожу и про-

щу. Все эти мысли о том, что ребенку нужен папа, нужна семья. Это верно, конечно, только мне с предателем жить тогда не хотелось. Так что я на аборт нацелилась, чтобы не дать слабину. Вот так. До понедельника мы только и делали, что трепались. По сто пятьдесят раз каждую историю обмусолили и единогласно решили, что поступаем совершенно правильно. Вот ни единого сомнения не возникало. И ели хорошо, и спали нормально, и даже не волновались нисколько. — Татьяна замолчала. Молчали и остальные. Я спросила нерешительно:

— А потом?

— Потом наступил понедельник, — сказала Лада, — и пришла Зоя.

— Тоже на аборт?

— Нет, ну ты даешь! — Нина даже хлопнула рукой по столу от возмущения. — Врач она была наша палатная. Молоденькая, конечно, совсем, только после института. Я ее как увидела, так испугалась. Даже вслух свои опасения высказала: «Доктор, а вы нас не покалечите?» А она так посмотрела пристально и говорит: «Все может быть». Тут и Ладка забеспокоилась. «Как это?» — спрашивает. А Зоя так спокойно плечами пожимает и говорит: «Операция есть операция». А потом еще беседа минут на пятнадцать о последствиях аборта. И как-то все это она говорила не механически, не просто так, чтобы сказать то, что должна, чтобы потом не обижались, что врач не предупреждала. Нет, она произносила слова спокойно, но было очевидно, что они ее волнуют, что она понимает, о чем говорит, что искренне переживает из-за того, что мы собираемся сделать. И так нас всех это тронуло, что мы ей жаловаться начали. Каждая свою историю рассказала.

— Я первая начала, — призналась Лада. — Она меня выслушала и так спокойно спрашивает:

— А аборт вам делать зачем?

— Как зачем? Он же меня не возьмет с ребенком.

— Зачем вы за него решаете? Может, и возьмет. А если так боитесь, еще что-нибудь придумайте.

— Сказать, что ребенок его? — Мне было немного не по себе от этой мысли.

— Я бы сказала правду. Но если выбирать между вра-
нем и убийством, то, по мне, первое однозначно лучше. И не забывайте — вы можете потом не родить. И если ваш муж узнает причину, тоже вряд ли обрадуется.

Короче, оставила я ребенка. И что интересно, лет десять потом пыталась забеременеть, и ничего. Зоя (а я, естественно, к ней ходила) потом сказала, что со мной все в порядке, Валеру проверить надо. Мы и проверили. Выяснили, что у него осложнение после свинки и детей он не может иметь никогда. Ему, конечно, не сказали. Я вот теперь думаю, может, позвонить, сообщить? Пусть узнает, с кем ему нынешняя благоверная рога наставила. Так что он с рогами, а у меня сын в Сен-Тропе живет. И работа у него хорошая, и семья, и отец, между прочим, что немаловажно, тоже вполне приличный.

— А меня, — произнесла Нина, — Зоя вообще по стенке размазала. Сказала, что не понимает, каким образом ребенок может помешать написанию книги. Сказала, что у нее у самой дочке два года, так она с ней и красный диплом получила, и ординатуру закончила. Посоветовала мне фильм «Москва слезам не верит» вспомнить. «Или, — говорит, — только провинциалам все по плечу, а мы — москвичи — только и умеем, что нюни распускать? Если чего-то очень хочешь, то добьешься, и никто тебе не помешает. Тем более ребенок». И так мне стало стыдно, что я сама не заметила, как передумала. Твоя очередь, — обратилась она к Татьяне.

— А меня и уговаривать не пришлось. Как эти две передумали, так и я за ними. До самой дошло, что ребенок не виноват в моих проблемах. Отношения с мужем — это одно, а ребенок — совсем другое. И пусть он будет.

— Но ведь... — я умолкла, не договорив. Я прекрасно помнила, как Татьяна жаловалась на то, что одна как перст. Но она меня прекрасно поняла.

— Родить я родила, только не воспитывала. Родители у меня дочку забрали за город, дали карьеру делать. Я навещала, конечно, только не слишком часто. А потом, как в гору пошла, так вообще ее за границу учиться отправила. Думала, выйдет из нее толк. Станет девка юристом, или экономистом, или еще каким дельным человеком. Но не получилось. Видно, не всех детей можно из-под крыла отпускать. За моей, как оказалось, надо было смотреть в оба. В модели она поперлась. И не в те, что по подиуму на Парижской Неделе вышагивают, а в те, что в журналах для взрослых снимаются. А потом или еще до того, я уж не знаю, к наркотикам пристрастилась. Я, когда узнала, спохватилась, конечно, только поздно. В общем, умерла она десять лет назад. Передоз. — Татьяна налила себе полную рюмку водки и залпом выпила. Ни слез, ни вздохов. — Но только благодаря Зое она у меня была, а так бы и не было ничего. Вот.

Я сидела совершенно ошеломленная услышанным. Меня захлестнула волна смешанных чувств. Я жалела Татьяну и радовалась за свою невестку. Конечно, никто не решил нашу проблему, но появилась надежда и какое-то интуитивное ощущение, что все будет хорошо. А еще я испытывала своеобразное удовольствие от того, что мучившее меня столько лет любопытство наконец-то успокоилось. В тайне знакомства и загадочной дружбе подруг появилась ясность, и мое внутреннее состояние теперь походило на состояние ребенка, который неожиданно для себя решил трудную задачку или разгадал хитрый ребус.

Конечно, я позвонила Зое, и она назначила встречу на следующий же день. Обычная городская больница. В коридорах чисто, в палатах светло, но ничего особенного. Ремонта давно не было, потолок в трещинах, на

стенах кое-где обвисшая штукатурка. Нашли гинекологию, а там и Зоин кабинет. Ого! Врач высшей категории! Я вспомнила давний разговор подруг в ресторане. Значит, когда-то Зое предлагали более высокую должность, а она отказалась. Решила, что здесь ее место и больше нигде. Что ж, посмотрим...

Постучали, вошли. Кабинет уютный, но без всякого пафоса. Мебель аккуратная, но старая. Ширма тоже видала царя Гороха. Заглядывать за нее было неудобно, но представляю, какое там кресло. Да, и еще кушетка. Чистая, конечно, но голая. Вспомнила, что надпись на кабинете гласила: «Иметь свою пеленку». Вот так. С бумагой в стране напряженка. Зато аппарат УЗИ новенький, хороший. И компьютер на столе. Техникой обеспечивают, а бумагой никак. Смешно, право слово.

Я даже удивилась тому, что в такой момент моя голова была занята подобными мыслями, и переключила свое внимание на хозяйку кабинета. Белый халат, шапочка, резиновые перчатки и строгий взгляд сделали свое дело. Зоя не казалась теперь ни теткой, ни тем более клушей. Она внимательно изучила всю кипу документов и заключений, которую мы с Лидой привезли с собой, и только потом кивнула невестке:

— Давайте я вас посмотрю.

Смотрела молча, без охов и вздохов, без покачивания головой, без сведенных бровей. В общем, без всего того, с чем мы успели столкнуться за последнее время. Наконец объявила:

— Ситуация сложная, но не безвыходная. Когда есть хоть один шанс, мое мнение — надо пробовать. Ваше решение?

— Я готова! — воскликнула просиявшая Лида, пока я только собиралась с мыслями, чтобы сказать, что надо еще раз хорошо подумать, все взвесить и так далее.

— Отлично. — Впервые за время встречи Зоя позволила себе улыбнуться. — Люблю отчаянных. — Она пода-

вила улыбку и теперь снова смотрела на мою невестку пристально и очень серьезно. — Но предупреждаю, придется остаться и полностью довериться мне. И никаких: «Я устала, хочу домой». И чтобы я не слышала: «Ах, как же муж без меня столько времени!» Ты — инкубатор. А инкубатору предписано думать, если он вообще может думать, только о цыплятах. Все ясно?

Лида энергично затрясла головой.

— Хорошо, тогда будем оформляться. — Она подошла к двери, выглянула в коридор и прокричала: — Девочки, проводите пациентку в шестую палату. — И снова Лиде: — Ну, давай иди, располагайся и все черные мысли долой! Настрой в нашем деле — главный залог успеха, и я без тебя не справлюсь.

Лида уходила из кабинета сияя. У меня и самой рот был растянут в такой широкой улыбке, что уже начало сводить скулы. Зоя обратилась ко мне:

— Теперь вы, Лика. Медицина — наука точная, но очень приблизительная. И тем более гинекология. Здесь, как в известной поговорке: «Врачи предполагают, а пациент располагает». Можно выносить сто пятьдесят неутешительных вердиктов и ошибиться. Я сделаю все, чтобы так оно и случилось. Но и вы не подкачайте. Лиду не волновать и не расстраивать. Только положительные эмоции. Извините, что все это говорю. Вы, конечно, и сами понимаете. Постарайтесь то же самое донести до своего сына. Если я увижу, что он хоть раз пропустил приемные часы, сама найду и повезу в больницу. И не надо думать, что я грубо вмешиваюсь в личную жизнь, я делаю то, что должна. Ребенок Лиды — теперь мой ребенок, я взяла на себя ответственность за его жизнь и собираюсь ее нести.

— Шансы действительно есть? — уточнила я, еще улыбаясь. Зоя нравилась мне все больше и больше.

— Чудеса в природе — не такое уж редкое явление.

Все, извините, у меня обход. Поезжайте домой и возвращайтесь после шестнадцати с Лидиными вещами.

Я полезла в сумку, неловко засуетилась, доставая конверт.

— Лика! — В Зоинем голосе зазвучали необычные металлические нотки. — Мы так не договаривались.

Я вспыхнула и убрала конверт назад, пробормотав смущенно:

— Извините.

— Ничего страшного, — Зоя говорила расстроено и немного устало. Так, будто ее чрезвычайно утомило нежелание людей понимать, что она делает свое дело просто потому, что находится на своем месте, а в качестве благодарности предпочитает слышать обычное человеческое «спасибо», а не хруст бумажных купюр.

Я вышла из ее кабинета с четким пониманием: теперь я могла, наконец, дать ей мысленное описание. Прежде Лада была для меня самой красивой, Нина самой талантливой, Татьяна самой успешной. А Зоя никакой. Но теперь-то я знала: она — самая счастливая.

Я вышла на больничное крыльцо. Улыбнулась солнечному дню и машине с разноцветными шариками и надписью на стекле: «Спасибо за дочь». Я поехала домой собирать Лидины вещи и всю дорогу думала о том, что Зоя была права во всем, кроме одного — чудеса в природе все-таки явление редкое. Во всяком случае, мне других экземпляров пока не встречалось.

АРИАДНА
БОРИСОВА



ЭФФЕКТ ПОПУТЧИКА



Раз в полгода по непонятным причинам Соня вызывала в памяти детали той памятной ночи и переживала мощный спазм отвращения к своему благополучию, выложенному по жизни гладко пригнанными пазлами. Потом короткое замыкание проходило, оставался лишь смутный дискомфорт от мысли, что даже происходившие тогда в государстве постперестроечные события с их голодным безденежьем не произвели в крови химической реакции такой силы, как единственная случайная житейская встреча. Это она вызывала в Соне рецидивное чувство зависти и непонятно почему — вины.

...Аэропорт гудел и вибрировал, словно гигантский шмель перед полетом. Но никто никуда не летел. На улице за стеклянными стенами, вопреки оптимистичным прогнозам, второй день бесновалась необычная для последней мартовской недели вьюга. Рейсы откладывались один за другим. Соне удалось захватить кресло в зале ожидания, и теперь она старательно избегала взглядом ближний угол, забитый спящими на чемоданах людьми.

На площадке перед коммерческим киоском паслись дети. Предоставленный себе маленький народ облепил витрины, разглядывая новоприбывший сквозь кордоны набор международных сладостей. Они были невероятно дорогими, и лишь одна из мам купила дочке толстый шоколадный батончик. Противная девчонка нарочно вышла на середину открытого пятачка и долго возилась с оберткой. До содержимого еще не добралась, а уже

вовсю вкушала приторное счастье превосходства. Дети молча созерцали эту демонстрацию и, пока обладательница ела свое сладкое чудо, чего-то ждали. И она ждала. Один карапуз не выдержал, дернул за рукав дремавшую мать и заканючил:

— Ма-ам, купи «Сникелс»...

Родительница открыла глаза, оценила ситуацию. С ненавистью взглянув на испачканную шоколадом ладонь, выместила на сыне:

— Денег нету, отвянь.

Малыш тихо заплакал.

Сластена наконец покончила с батончиком и вместе с другими снова припала к стеклу киоска. «Не наелась», — язвительно подумала Соня и вдруг поняла, что было причиной пристального детского внимания: на полке позади взбитой «химии» продавщицы возвышалась кукла. Не какая-нибудь Барби, недавно вошедшая в моду у российских девочек, с личиком олигофрена и трафаретными признаками пола, а великолепный штучный экземпляр — большая, с полметра, коллекционная модель индианки. Кукла улыбалась пугающе осмысленным лицом, кожа казалась натуральной — в нежных переходах румянца и загара по природной смуглоте. Оторопь брала от мистической иллюзии естественности — настоящая маленькая женщина! В ушках посверкивали круглые латунные серьги, на ручках — браслеты, по краю золотистого сари вился узор ручной вышивки. Впечатление портил только приколотый к наряду грубый ценник. Выведенное фломастером число на нем потрясало обилием олимпийских колец.

Место кукле было в специализированном бутике, она бы и там выделялась. Соня подивилась явлению жар-птицы в занюханном портовом киоске, прикинула: жалованье за месяц и неделю. Сонины получка подтверждала среднюю в стране зарплату по статистическим данным, всегда завышенным на треть. Вряд ли кто-то

из изнывающих в ожидании пассажиров, чей помятый вид не отвечал и средней статистике, рискнул бы выбросить на дорогой сувенир предложенную сумму... Тотчас же к киоску подбежала черноглазая девочка лет пяти в красном кашемировом пальтишке. Дети расступились — в руке она держала свернутую пачку денег. Подтянувшись на цыпочках к прилавку, девочка протянула деньги продавщице. Та сняла индианку с полки, отцепила ценник и кинула полный удивления взор на кого-то поверх детских голов.

Прижав к груди великоватую для нее куклу, кроха гордо прошествовала к своему месту. Олимпийская аура совсем не игрушечной стоимости все еще витала над девчушкой гаснущими воздушными шарами. Слыша шумные вздохи давешней сладкоежки, Соня испытала прилив мстительного удовлетворения и поразилась собственным переживаниям по столь ничтожному поводу. Смеясь над собой, не смогла тем не менее противостоять и любопытству — повернулась туда, где на заднем ряду, расположенном через проход, сидела состоятельная мать черноглазки.

...Ага, дешевый синтепоновый плащик, изношенные полусапожки, затяжка на эластике колготок прокапана розовым лаком для ногтей — молодая женщина вовсе не выглядела богачкой. Лицо с классическими «египетскими» чертами обрамляли пышные вьющиеся волосы, отчего оно, и без того тонкое, казалось уже и меньше. Густо затененные ресницами глаза, избыточные для монголоидного типа лиц, прямо-таки излучали материнское обожание. Если б какому-нибудь художнику пришлось в голову изобразить азиатскую мадонну, она бы, наверное, выглядела примерно так же.

Девочка с благоговением тронула пальчиком круглое коричневое пятнышко на лбу индианки.

— Мама, что это?

— Третий глаз, солнышко.

— Разве у людей бывает третий глаз?

— Бывает. Но его не видно.

— А у кукол видно, — понятиливо кивнула девочка. — Как мы ее назовем?

Женщина не успела ответить. С потолка на зал обрушился металлический голос дежурной вещательницы. Ожидающие дружно замерли, в едином порыве приподняв головы. Дикторша отчеканила сообщение о переносе всех вылетов на следующий день и, некрасиво булькнув, отключилась. Аэропорт загудел с новой активностью. Часть несостоявшихся пассажиров ринулась к выходу навстречу последнему городскому автобусу, остальные вольготнее устраивались в освобожденных креслах. Соня отругала себя за то, что не дала взятку в авиакассе. Сунула бы кассирше в лапу и улетела предыдущим рейсом еще вчера утром... Вот невезуха, опять придется ночь здесь куковать. Ребячий бег и галдеж, спертый воздух, пропитанный запахами киснувшей еды и пота, мужские ботинки под креслами, — все окружающее начало сильнее раздражать Соню.

— Мама, а мы тут ночевать будем? — услышала она голос девочки.

— Посмотрим, может, в гостинице найдется койка для нас, — ответила женщина.

— Хотите, места постерегу на всякий случай? — предложила приветливая старушка-соседка.

— Спасибо, — поблагодарила женщина и засобиралась.

Прикорнув на кресле боком, Соня краем глаза наблюдала, как девочка кутает куклу в полосатый шарфик. На хорошеньком личике, точно в зеркале, отразилась заботливость ее матери, а мать, улыбаясь, стояла с двумя объемистыми сумками в руках и терпеливо ждала.

«Сашка — эгоист, — с внезапной неприязнью подумала Соня о муже, — поэтому не хочет иметь детей». И сама же принялась его оправдывать: да кому сейчас нужны

дети? Пеленки, соски, вороватые няньки, отставка кандидатской на неопределенный срок, Саше с докторской придется трудно...

Соня оставила на сиденье книжку — знак присутствия, — и вышла на улицу покурить. Постояла на крыльце, наслаждаясь морозно-огуречной свежестью шквальных порывов, бьющих в лицо, и вдруг стала свидетельницей такой ошеломительной метаморфозы, что едва поверила глазам: будто в насмешку над синоптиками, вьюга без всякого перехода перешла в тишайший снегопад. Нынешняя весна явно страдала раздвоением личности. Расположение духа у сумасшедшего марта круто поменялось — снежный барс, распутивший по ветру когтистые лапы, обернулся пушистым котенком.

Досады как не бывало. Соскучившись по движению, Соня прогулялась по дорожке заметенной аллеи. Когда она энергично шагала между сугробами, в небо втянулось, не долетев до земли, последнее кружево обнищавшего снегопада.

Соня представила мужа в толпе встречающих. Он смотрел из синевы аллеи, наклонив лобастую голову в серой кепке и лукаво щуря глаза за цветочным букетом, как всегда после разлуки. Потом, тоже как всегда, щекоча в такси Сонину шею жесткими усами, замурлычет нарочито страстным шепотом: «С кем? Когда? Скажи, он правда лучше? Если честно признаешься, солнце, прощение вполне возможно...»

Саша не был ревнив, просто играл. Соня вздохнула: день и ночь маленького праздника, торт, свечи, возвращение к теплу родного тела. Надежда новизны всколыхнется одновременно с воспоминанием о том первом, невозвратимом, с жарким приливом крови к каждой клеточке, к кончикам пальцев, исследующих упругую плоть, весь телесный дом в блаженной путанице — где, что, чье... И опять — будни, загон в ступор работы, тупое

бдение в магазинных очередях, вечера за столом в кипах драгоценных экспедиционных записей...

Соня вернулась в зал и обнаружила вместо своей книжки вальяжно развалившегося молодого человека.

— Вона туда положил, — кивнул он подбородком куда-то назад и вбок, — вам же все равно, где сидеть, раз читаете? А мне отсюда телевизор лучше видно, сейчас футбол начнется.

Футбол Соне действительно не был нужен, и она не возразила. Книжка лежала на кресле возле «мадонны». Очевидно, в комнате матери и ребенка не нашлось свободных мест. Женщина подняла подлокотники кресел и соорудила на двух сиденьях подобие постели. Девочка, прикрытая пуховой шалью, уже спала в объятиях куклы.

Соня спросила: «Занято?» — получила отрицательный ответ и, приткнув под голову шапку, храбро попыталась вздремнуть. Для этого требовались усилия: в подвешенном к стене телевизоре разгорелись футбольные баталии, компания парней напротив встречала голы адскими воплями, два мальчика устроили рядом на полу рычащие автомобильные гонки... Ах, эти неутомонные мужчины!

Подаренное переменой погоды настроение понемногу таяло. Но все же как-то незаметно, исподволь гомон суетного мира благостно отодвинулся, отделился... и приблизился вновь: старушка, предлагавшая женщине с девочкой покараулить места, потрясла Соню за локоть:

— Скажите, пожалуйста, как называется самая популярная индийская киностудия?

— А? Что? Какая киностудия? — встрепелась Соня.

— Ой, я вас разбудила, — конфузливо улыбнулась старушка, распустив по лицу веселое соцветие морщинок. — Думала, никто не способен спать при таком шуме...

— Вы сказали — киностудия?

— Я тут кроссворд разгадываю, — высунулся из-за старушки крепенький старик-боровичок. — Споткнулся на вопросе про индийскую киностудию, попросил жену у вас поинтересоваться. Извините...

Соня пожала плечами:

— Увы, не знаю.

— Болливуд, — подсказала мать девочки.

— Премного благодарю, — обрадовался старик.

— Правда? — удивилась Соня. — Голливуд, как в Америке?

— Б — Болливуд, — поправила женщина. — Я интересовалась, как снимают индийские фильмы, а то бы тоже не знала. Они мне нравятся из-за хеппи-энда. — Голос ее оказался неожиданно контральтовым, с особенкой почти до шепота закруглять окончания.

— Кукла ваша, гляжу, индианочка, — уважительно заметила старушка.

— На Анупаму походит. Был такой фильм — «Анупама».

— У вас волосы как у той актрисы, — вспомнила Соня и дрогнула на полуслове: — Толь... ко прическа другая.

Болезненная усмешка скривила лицо женщины. Крупные глаза блеснули, точно виноград карабурну, сизоватым от черноты отливом. «Карá», «харá» — «черный» с тюркского, «харáх» по-якутски — глаза...

— Я не могу позволить себе другие прически, — с холодной резкостью проговорила она.

— Почему? — Соня не успела обидеться или подумать, что это ее не касается, просто спросила.

— Так получилось.

Женщина о чем-то задумалась. Вынула из сумки пачку «Интера», машинально поднесла сигарету к губам и очнулась. Смятая сигарета полетела в урну у окна.

— Вы курите?

«Внимательная», — подумала Соня. Из уголка ее недо-застегнутой сумочки выглядывал коробок спичек.

— Может, пойдем? — Женщина встала.

Улыбчивая пара кроссвордистов согласилась при-
смотреть за девочкой.

На аллее стволы деревьев за границей света уходили в чернильную темь. Ближе на дорожке, раскинув руки с растопыренными пальцами, лежали худые негры-тени. Присыпанный снегом угол с пристулкой с другой стороны здания прикидывался белым роялем. Женщи-
на молча курила, пристально глядя на этот воображае-
мый рояль, и все не начинала свой рассказ. В том, что
он будет, Соня не сомневалась.

...С ней часто заводили разговоры о личном. Саша
сказал однажды: «Если душа материальна, то твою ду-
шеньку, солнце, я представляю в виде мокрой жилет-
ки» — и, вспомнив известную писательскую «жилетку»,
повторил расхожий парадокс: «Человек — это звучит
горько...»

Она и сама смешливо думала, что была в прошлой
жизни священником. Подруги приходили к Соне на ис-
поведь, поругавшись с мужьями. Поссорившиеся с же-
нами друзья обрывали Сонин телефон, требуя совета.
Мама спрашивала, чем лечить гриппы и ангины отца.
Сестрица, обзаведясь сынишкой, звонила по любому
пустяку, хотя прекрасно знала, что Соня и дети — две
вещи несовместные. Маленькие чужие бедствия плыли,
плыли и как-то нечаянно, бесследно растворялись в су-
меречной реке жизни, счастливо обтекающей благопо-
лучный со всех сторон дом Сони. Но тут, с незнакомой
женщиной, было нечто другое. «Эффект попутчика» —
кажется, так называются подобные эпизоды в психо-
логии, с неосознанным притязанием на возможность
душевного исцеления.

Мерзлая скамья быстро вытянула тепло из Сониного
тела. В душе-жилетке закопошились туманные подозре-
ния, и стало не по себе. Желчно подумалось: на лице
у меня написана, что ли, готовность помочь каждому?

Нормальная ли эта случайная попутчица с плодовыми глазами? Вот уж никогда не замечала раньше, что виноград смотрится трагично! «Ну, говори», — томилась Соня.

Женщина наконец откинулась на спинку скамьи, взглянула на соседку и вздрогнула — едва не отшатнулась. «Забыла, что не одна», — догадалась Соня. Встать, светски кивнуть и уйти, как больше всего хотелось, она почему-то не осмелилась.

— Простите, запаматовала, что вы здесь, — сказала женщина и невпопад, запоздало назвалась: — Мария.

Ей очень подходило это библейское имя. Соня поняла: не отвертеться, — и только собралась назвать свое имя, как Мария предвосхитила ответ:

— А вы — Софья Семенова.

— Да, — растерялась Соня, — Семенова — моя девичья фамилия. Откуда вы знаете?

— Я встречала вас когда-то. Давно... Неважно. Вы спросили, почему я ношу эту прическу...

Глубоко вдохнув, — с таким вдохом бросаются в воду, — женщина молниеносным движением откинула левую прядь, и при свете фонаря...

Боже, кошмар! Кошмар! Соня еле подавила крик, узрев вместо аккуратной ушной раковины жуткий рубец с темной дыркой посередине. Рвано змеящийся свежий шрам какого-то непристойного перламутрово-розового цвета пересекал висок.

В глазах, почудившихся теперь Соне провалами черного безумия, дико метались фонарные огни. Женщина больно схватила за руку:

— Это ведь уродливо, да? Это страшно?

— Нет, нет... — Испытывая на самом деле ужас, Соня тихонько выдирала руку из цепких пальцев и изо всех сил старалась сделать вид, что увиденное не произвело на нее особого впечатления.

— А вообще-то мне плевать, что люди подумают. Не

для них живу, для дочки. — Женщина отпустила Сонино запястье.

...Во-первых, надо взять себя в руки. Во-вторых, успокоить эту психопатку. Может, как бы ненароком посмотреть на часы, зевнуть, зябко ежась? Ночь же на дворе, холод. Девочка на чужом попечении, вдруг проснулась... Или все-таки выслушать? Сложно, когда чувствуешь тягостное беспокойство и желание сбежать. К священникам, наверное, тоже приходят всякие помешанные, одержимые, маньяки... бр-р. Как поступают батюшки? У них там, в церкви, вероятно, специальные практикумы проводятся для облегчения пастырской участи, с инструкцией, указаниями, прочими рекомендациями...

Сонины опасливые ожидания оправдались: Мария начала рассказывать. С ходу, без предисловий, будто зачитывая биографию на диктофон.

— Я родилась в маленькой якутской деревне, училась в районном центре и больше нигде не была. После школы решила поступать на филологический факультет — любила русскую литературу, стихи сочиняла. Гордилась тем, что чисто по-русски говорю. Район-то якутский. Мечтала вернуться в родную школу учительницей, стала готовиться к вступительным экзаменам. Тем временем в наше село «грачи прилетели» — хохлы-шабашники, детский сад строить. Парни молодые, по субботам на танцы в клуб похаживали, играли в бильярд... И я влюбилась. Скоропалительно, с разбегу, порох оказались оба! Через неделю привела Павла домой, заявляю маме: «Знакомься, мой муж». Избалованная была, что хочу, то и делаю. Бедняжка моя заплакала: «А учеба-то?» Ой, мама дорогая, какая учеба, пойми — любовь же у нас! Любовь!

Женщина улыбнулась воспоминаниям, глаза заискрились печально, мягко. Соня удивилась: как могли они померещиться ей «провалами»? Да и виноград не напоминают нисколько. Красивые «индийские» глаза.

Да... Анупама. Волнистая прядь снова прикрыла ухо. Вернее, то, что вместо него осталось.

— К сентябрю строители сдали объект, отправились в Якутск, и я с Павлом. Сходили в университет ради интереса. Гляжу: кабинет приемной комиссии работает, дверь распахнута. Девушка за столом заполняет какие-то листы, табличка впереди с именем: Софья Семенова.

— Вот вы где меня видели! — воскликнула Соня. — А я... у меня на лица память не очень...

— Вы на входящих и не смотрели. Некогда, бумаг куча. Я постояла, полюбовалась. Какая, думаю, девушка красивая и умная! На вас была модная зеленая кофточка, помните? Честно скажу: в тот миг возникла в моей голове мысль бросить Павла, спросить у Софьи Семеновой, есть ли еще надежда поступить хоть на подготовительное отделение, хоть куда... Вы своим строгим видом словно предостерегали меня от чего-то. Но тут Павел за руку взял — пойдем.

Она вытряхнула из пачки новую сигарету, закурила.

— В Усть-Илиме стройка была большая. Выдали нам комнату в общежитии. Я там же уборщицей устроилась, к Новому году кой-каким хозяйством обзавелись. Счастливы были... Слышу однажды — бабы в общей кухне обо мне судачат. Кто-то из них Павла жалел: мол, мужик-красавец гольгтыбу подобрал, чукчу без приданого. Машка эта, видать, и говорить-то по-русски не умеет... Я нарочно перед дверью тапочками пошаркала, бабы заткнулись. Стоим, молчим, все своим обедом заняты. Я борщ сварила, принесла в комнату и давай плакать. Потом села маме письмо писать, а написала стихи. Павел пришел, спрашивает: «Чего грустная?» Нашел листок на столе и все у меня выпросил. «Дурочка, — говорит, — на фиг мне твое приданое, раздетая ты интереснее выглядишь!» Смеялся...

Соня забыла о лечении духовных недугов и отпущении грехов. Время потеряло отчетливость, секунды за-

думчиво перетекали из одной в другую. Соне было интересно переживать моменты чужой жизни, в которых, как выяснилось, и она, совершенно о том не подозревая, сыграла маленькую роль... Ах, вот почему близкие несли ей свои исповеди... Она просто умела слушать.

— А прочитайте мне эти стихи... Если можно.

— Да какие стихи! Ерунда.

Сказали — приданого нет... А этот бесконечный свет в придачу к звездам и луне, любовь моя — приснились мне? Ну разве не богат мой дом: хрусталь — сосульки за окном, чиста, как зеркало, река, как наволочки — облака, на ветках — иней кружевной, и солнца золото со мной — его тут через край с утра, как вечерами — серебра... Не моль и плесень в сундуках, а целый мир в моих руках, и знает пусть народ окрест, что я богаче всех невест!

— Неплохо, — сдержанно похвалила Соня.

— Спасибо. — Она смутилась, польщенная. — Так и жили. Придет Павел с работы, а я ему — борщ и стихи. Весной заскучал по Украине. Поехали к нему на родину, она тогда еще за границей не была. Новая родня приняла меня ни хорошо, ни дурно — никак. Но домик небольшой купить помогли. Я сына родила, через год — второго. Мальчиков моих... Как он их любил! Натрудится за день, устанет, а все равно с ними вошкается...

Сонина спина уловила вибрацию — по телу соседки пробежала судорога, током пробившая бесчувственный холод скамьи. Глаза снова ярко блеснули. Слезы? Нет, ответ из окна. Рука поднялась в легком жесте и, чуть задержавшись на уровне груди, упала, будто надломилась в локте... И вдруг тишину прорвал полузадушенный крик:

— Они сгорели! Мои мальчики!

Притаившись в тени, Соня сидела не шевелясь, как

мышь в западне. В голове гуляли сквозняки. За толстым окном в зале ожидания царила безмятежность.

— Я в магазин бегала, — хрипло прошептала Мария сорванным голосом. — Получаса хватило, чтобы жизнь наша кончилась. На похоронах... не плакала. Не могу при людях. Павел, пьяный, взъерился: «Хоть бы слезинку уронила! Спокойная, как все вы, якуты!» Со зла сказал, конечно... Домой стал заявляться поздно, часто выпивший, и я собралась уехать. Кое-как дождалась сорока дней. Что на поминках было — не помню, только глаза его злые. Чужой, жестокий, взял меня ночью грубо... Просто — взял. Я до утра глаз не сомкнула, пока он храпел рядом. Вот любовь моя — карусель — блуждает, кружится, не остановить... Оксана — подарок той ночи. Ему это имя нравилось. У дочки и губки, и волосы папины, и подбородок с ямочкой... Павел о девочке нашей не знает. Я уехала на другой день после поминок. Вернулась и не жила... не жила... Мать от Павла письмо получила, спрашивал, как я да что. А мне не до него совсем. Поняла, что залетела. И когда! В сороковины! Почти всю беременность пришлось на сохранении лежать. Чуть не померла.

Мария вздохнула. Кусочек пепла упал на изогнутую ножку скамьи. Зарница окурка, описав полукруг, погасла в каменной урне.

— Исполнилось дочке три года, и мы с ней сюда приехали. Здесь подруга моя школьная обосновалась. Помогла устроиться на завод, комнату дали. О Павле я старалась не вспоминать, да куда от сердца денешься... Если б не Оксана... Прошлой осенью прибежала дочка из коридора сердитая — коридор в общежитии длинный, дворе раздолье носиться — и пожаловалась, что большие девочки «безотцовщиной» обозвали. Ясно море, думаю, взрослые слова повторяют. Но не без затей оказались девочки, не поленились Оксане растолковать, что это такое — безотцовщина. Руки-то у меня и опустились.

Я для своего ребенка хоть звездочку с неба достану, а папу — как?! Дочь говорит: «Ты, мам, не плачь, я им сказала, что у нас есть папа — сосед дядя Коля». Оксана не зря Николая в папы записала, он ее баловал. То коробку дорогих конфет принесет, то книжку, а ко дню рождения специально для нее заказал куклу. Этих кукол одна маленькая артель мастерит — глухие художники, его друзья. Раньше дело у них вроде бойко шло, заказы даже из-за рубежа поступали, нынче все хуже, поэтому куда попало сдают, лишь бы деньги выручить. Анупама — тоже их работа. А та кукла мне почему-то сразу не понравилась. Красивая, но с тревожным лицом, глаза — не глаза, точно чаши печали... До того я не сильно задумывалась о щедрости соседа, ведь Оксана сама как куколка, все восхищаются, аж беспокойно. Тогда-то и дошло: тактика! Он таким образом ко мне клинья гнул. Поразмышляла я, и то ли дочкины слова душу разбередили, то ли еще что, захотелось чего-то стабильного, семейного... Николай симпатичный, добрый. Правда, немного вспыльчивый и... глухой. Вернее, слабослышащий, с нечеткой речью. В детстве от осложнения повредился слухом.

Мария внезапно поднялась и достала из урны бумажную коробку. «Что собирается делать?» — удивилась Соня. Разодранная в клочья коробка вспыхнула маленьким костерком.

— Руки погреем.

Лицо Марии, подсвеченное снизу, как лампадой, еще больше напомнило лик на иконе. Лицо было тревожным... глаза — чаши печали...

— Сперва жили дружно. Оксана к нему привязалась — папа, папа. Но через несколько месяцев я поняла: он мне в тягость. И Коля понял. Ревнивый был, начал добиваться, чтобы рассказала ему о Павле. Я объяснила: не сошлись характерами. Ни слова о сыновьях... Голову ломала, как теперь разойтись по-доброму, и все тянула из-за дочки. А тут друзья пригласили на новоселье. Я не хо-

тела идти, будто чуяла, Коля настоял. Оксану к подруге отвели... В гостях он мрачнее тучи сидел, пил рюмку за рюмкой. Меня отчаяние разобрало. Махнула рукой: ну и глыкай! Назло все танцы подряд отплясывала, на него ноль внимания. Вышли на лестницу покурить с нашим профсоюзником, кумекали с ним, могу ли я переехать в другую общагу, и вдруг этот гад прижал к стене, давай лапать. Не успела я отпор дать, дверь открывается, и — Коля... Раненым зверем взревел! Глухие не знают, каким страшным бывает звук... Народ на площадку высыпал, профсоюзник со страху свалил. Николай пометался, схватил в охапку пальто-шапки, меня и — домой без «до свидания». В общаге орал: «Сука ты, слюха, плоть!» Всех соседей на уши поднял. До этого никогда не матерился. Мне обидно стало. Не выдержала, говорю: «Я — шлюха, а ты — глухой!» Он по губам прочитал. Ох, думаю, что наделала! Да поздно, слово-то не воробей. Вот когда я Николая насмерть оскорбила, век себе не прощу... За нож взялся. Сейчас, думала, зарежет, а он — ухо... Сам кричит: «Я глухой, да? Я — глухой?! Будешь и ты!»

— Боже...

— Ничего, почти зажило. Две недели ходила как Ван Гог. Подруга подстригла, чтоб в глаза не бросалось. Ведь незаметно же?

— Абсолютно не видно, — поспешно заверила Соня.

— Николай заявление на себя накатал, дали год условно. Отличный производственник, характеристики — хоть в депутаты двигай. Прислал письмо, — Мария усмехнулась, — одного «прости» полстраницы. Жил у друга Ильи Хлебникова, в общагу — ни ногой. На днях пожаловал ко мне поздним вечером Хлебников: «Прости ты Кольку, не держи зла за душой. Любит он вас с Оксанкой, повеситься готов. Понятно — не вернешься, да и кто б на твоём месте... Умоляет только, чтоб простила. Вот, — протягивает пачку денег, — с книжки снял, Оксанку растить. Сказал, что порвет и выбросит,

если не возьмешь». Огромные деньги, я сроду столько не видела и знала: не врет Хлебников. Николай правда порвал бы и выбросил. Такой человек. Ладно, думаю, а то мало ли что натворит. Хлебников помялся и говорит дальше: «Личная у меня есть к тебе просьба: не продашь ли куклу? Ту, которую он Оксанке подарил. Племяшке приглянулась». Я бы и даром отдала, не жалко, но ведь не моя вещь, дочкина. Замешкалась, а Хлебников настырный, стоит над душой, продай да продай. Я разозлилась, хотела Колины деньги в лицо ему швырнуть. Он испугался: «Смотри! На дитя же дал Коля, от сердца!» На улице уже догнала Хлебникова, куклу в руки сунула. Обнялись на прощание... На лестнице чувствую — карман на плаще тянет, и обомлела: вторую пачку запихнуть успел. Сумма — безумная! Это за игрушку-то, не новую, попользованную?! Мог бы на эти деньги пятьдесят кукол заказать своей племяшке или даже сто! Опять, поняла я, Николаевы штучки. Помчалась за Хлебниковым, он шмыг — и в автобус, прокричал только: «Не дури, мать!» Оксане я сказала, что Машу (куклу как меня звали) пригласили в игрушечную страну, и ей там понравилось. Собиралась потом купить любую, где попадетсЯ, поэтому глазам не поверила, когда Анупаму углядела в киоске. Повезло! Прямо индийское кино какое-то с хеппи-эндом... Денег должно хватить на квартиру в «деревяшке», может, и на диван останется, не на полу же дочке спать. И заживем мы с ней без иллюзий. Я для нее и мама, и папа. В лепешку разобьюсь, а в лучший садик устрою, затем — в частную школу, самую лучшую.

Мария говорила почти надменно, словно убеждала Соню в том, в чем Соня не сомневалась.

— Нет, не думайте, моя девочка неженкой не будет. Я Оксану всему научу. Она у меня посуду мыть умеет, вышивать пытается. Ее ведь, на кого бы ни выучилась, тоже бабья доля ждет. Бога стану молить, чтоб не такая, как у меня...

Выговорившись, она словно обессилела — руки устало упали на колени. И вдруг Соня услышала птичий звук — эта женщина смеялась!

— Ох, разболталась я! — выговорила она сквозь странный клекот смеха. — Вы, наверное, притомились от моих откровений. Сама не пойму, что со мной сегодня... Спасибо, что выслушали.

— Ну что вы, — пролепетала Соня, — все нормально, вам спасибо... э-э... за рассказ, было крайне... — и прервалась, с ужасом отмечая циничную насмешливость и глупость своих слов.

Они поспешили к входу.

Соня шла и думала, что в этот раз в ее советах никто не нуждался. Да и что могла она, Соня, успешная, счастливая... бездетная, посоветовать Марии? Вынужденная праздность заставила Соню войти в мир чуждых проблем, незнакомых стремлений, в мир, такой далекий от среды, к которой она принадлежала. Этот мир — примитивный и сложный, как сама жизнь, почти силком открылся перед нею во всей своей щемящей убогости. И красоте...

Перед дверью Соня оглянулась, ощущая спиной чужой взгляд. Но никого позади не было, кроме ночи, луны и звезд.

Утром радостная толпа беспрепятственно двинулась к летному полю. В самолете мать с девочкой и роскошной куклой разместились на передних сиденьях. Рассеянно кивнув Соне, Мария скрылась за высокой спинкой кресла. В уголках ее губ, уловила Соня, трепетали легкие морщинки досады. Между попутчицами выросла стена отчужденности. Мария, похоже, корила себя за стихийную откровенность, а Соня испытывала неловкость человека, ставшего случайным очевидцем чьих-то очень личных событий.

Набирая звук, заурчал мотор, Соня взглянула в иллюминатор на аэропорт и увидела в окне второго этажа одинокую фигуру. Высокий мужчина прижался к стеклу

грудью, прильнул к нему лицом и скользящими ладонями. Выражение лица издалека, конечно, было не разобратъ, но в красноречивом силуэте, во всей напряженной, скованной позе читалась глухая безысходность. Сродни отчаянию Икара, который всего несколько секунд назад удостоверился, что его крылья погибли.

Полет продолжался долго. В дрему проскальзывали фразы соседнего разговора. Слова нанизывались на нить неуловимой темы, как бусины.

— Такого вообще не бывает...

— Бывает...

— Да не может быть...

— Еще как может...

— И вы до сих пор верите?

— Не просто верю. Я на фотографии видела.

«О чем это они?» — лениво шевельнулась Соня и проснулась.

Фотография, да. Кукла с глазами Марии была дорога Николаю как память. Возможно, он заказывал ее со снимка, а Мария, отторгая беду и стремясь ради ребенка противостоять печали, не идентифицировала куклу с собой. Не по просьбе ли Николая индианку Анупаму пристроили в задрипанный киоск в аэропорту?..

Спать расхотелось. Соня уныло думала, что Саша ни к кому ее не ревнует, потому что, кажется, просто не любит. И она его не любит. И никогда не любила. Зато они удобны друг другу. У них все хорошо. Без иллюзий.

Соня все-таки уснула, и ей приснилось, что она стоит в зале ожидания у окошка киоска перед кучей шоколадных батончиков и бесконечно их ест. Она ест, уже чувствуя вместо сладости вязкую полынную горечь, а молчаливая толпа вокруг смотрит и смотрит ей в рот...

Когда самолет зашел на посадку, тошнотворные приливы въяве подкатили к горлу, застревая трудно сглатываемым, закладывающим уши пузырем. Лайнер наконец сел, и с Сони стряхнулись остатки сна. Жутко мутило, жить было противно. Скорее подкраситься, припуд-

рить нос... осталось ощущение какой-то беспокойной незавершенности, недосказанности. Соня свесила голову со спинки кресла в проход: впереди мелькнуло и пропало красное пятно детского пальтишка.

Вслед за другими она автоматически пробралась по салону к выходу, понеслась в переполненном автобусе к зданию аэропорта, поцеловала мужа и окунула лицо в душистую прохладу цветов. Поймав ее мечущийся по толпе взгляд, Саша мимоходом поинтересовался:

— Солнце, кого ищешь? — и, не дожидаясь ответа, принялся рассказывать о работе, занудстве директора, чьей-то необычайной тупости...

— Вчерашнюю ночь, — сказала Соня невпопад.

Муж не врубился, о чем речь, но она ему не помогла.

Вечером были ожидаемые свечи, музыка, бутылочка не поддельного «Киндзмараули», свежайший торт с черемухой, как Соня любила, а Саша расстарался достать. А вот упоительной, один в один, близости с нераздельным полетом в райские кущи не получилось. Муж заметно расстроился, и, когда, щекоча Сонину шею усами, шепнул: «Солнышко, ты сегодня почему-то зимнее», — Соне почудилась в его голосе ревнивая нотка.

Потом они лежали спокойные, расслабленные, родные — пусть и без полета. Соня, благодарная за внимание мужа, рассказывала о Марии. Точнее, пересказывала ее исповедь. Саша как будто был весь жалость и сочувствие, но неожиданно хохотнул:

— Куда ухо-то девали?

Соня оцепенела. К горлу подступили давешняя тошнота и болезненный в своей настойчивости привкус той «сонной» горечи, а на ум пришло немыслимое в их индивидуальном лексиконе слово: скотина.

...Никогда больше не встречала Соня ту женщину с девочкой, хотя со времени сумасшедшего марта прошло немало лет, а они, должно статься, жили в этом же городе. Но пересечься и впрямь было сложно. Соня с Сашей купили квартиру в элитном районе и не имели при-

чин посещать окраинные деревянные кварталы. К тому же, приобретая каждый свою машину, не пользовались услугами общественного транспорта. По вечерам супруги продолжали трудиться дома. Соня готовилась к докторской, Саша защитился давно. Им нравилась работа, нравилось состояние постоянного погружения в нее с отпускающим пары отдыхом раз в год в какой-нибудь новой, не виданной еще стране. Друзья завидовали их частым поездкам за границу, безмятежной, без сучков и задоринок, жизни. Саша помогал многочисленным родственникам устраивать в вуз юных олухов, Соня любила делать родителям и сестре щедрые подарки.

Она была счастлива.

Но раз в полгода ее посещал страдающий раздвоением личности март, после чего уютный налаженный быт вдруг с треском разваливался. Выхоленный дом начинал казаться комком скотча, а сама она — влипшей в него мухой. Соне хотелось по-бабьи выть, заламывать руки и драть на себе волосы. Она запирала дверь своей спальни и забивалась в угол кровати. Прижав голову к коленям, она крепко их обнимала, чтобы не поддаться дикому желанию бежать, бежать без оглядки — в снегопад, в темень, в никуда, лишь бы избавиться от непонятной вины перед собой. Душу Сони выворачивали тоска и жажда отдать себя кому-то целиком, без остатка, до последней капли крови. Кому — она не знала.

Саша деликатно подозревал, что приступы рыданий, изредка доносящиеся до него через стенку, свидетельствуют о приближении перехода жены из женщины в «девочки опять». То бишь в старушки. И ни о чем не спрашивал.

На следующий день Сонины разбитые пазлы возвращались на место, жизнь бесшовно схватывалась и снова становилась гладкой, ровной, будто из-под утюжка. И текла себе дальше в ожидании хеппи-энда. Как в индийском кино.

ВИКТОРИЯ
ГАБЫШЕВА



ШЕМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА



— **О**н меня домогается! — Казалось, эти слова были главными в ее лексиконе. Лизины густо подведенные глаза подёрнулись влагой, и она продолжила душе-раздирающим шепотом: — Ты можешь меня спасти?!

— Когда? — деловито осведомилась Мария, едва подавив зевок.

— Завтра, в 12.45!

Могла ли Мария ее спасти, если до Лизы домогались все половозрелые мужчины, начиная со старшеклассников, заканчивая пенсионерами, все дворники и руководители множественных уровней вертикали?

В данное время речь шла о бывшем начальнике, у которого Лиза совсем немного побыла секретаршей и скоропостижно уволилась по той же неизбежной причине: он ее домогался! Она ушла бы с гордо откинутой головой, не унижая себя плебейским хлопаньем дверей, но... а как же тогда деньги, заработанные за несколько дней?

Бухгалтерия отправляла девушку обратно, в тот же, полный домогательств, кабинет. Мария должна была сыграть роль информационного цербера с замашками дуэньи и угрозой расправы путем обнародования безнравственной характеристики патрона.

А могла ли Мария отказаться спасти? Наверное, могла бы, учитывая вечную занятость и тайную досаду по поводу своей неуловимо ханжеской миссии. Но не хотелось обижать Лизу, которой деньги, как всем, независимо от внешнего вида и пола, нужны позарез. Правда,

Мария и начальника понимала. На девушку невозможно было смотреть без определенных мыслей.

«Шемаханская царица! — выдохнул Анатолий, как только Лиза появилась в редакционном отделе писем. — Фемина! Секс-бомба! Спасайся, кто может!»

Стоило Лизе продефилировать по компьютерному цеху, как послышалось кастаньетное щелканье мужских шейных позвонков. В мире электроники, текстов, коллажей, правок девица казалась инородным существом, жар-птицей, залетевшей сюда по прихоти ведающих сказками шахерезад. Самыми значительными частями ее девичьего туалета были массивные браслеты, ибо остальное — отчаянное мини и не менее безысходное декольте — мало что прикрывало. В общем, летом Лиза одева... то есть раздевалась с максимальной доверчивостью. Нисколько не мешали художественной демонстрации этой полуобнаженной натуры три пресловутых волны, как у индийской танцовщицы: тайский изгиб ножек и по-итальянски тяжеловатая филейная часть. Зато очи, которые поэт назвал «провалами темного, дикого счастья», розовый бутон губ и медовый загар не только компенсировали конгломерат интернациональных несовершенств, но и возводили их в ранг неподражаемых достоинств.

Лизу хотелось потрогать. Коснуться — проверить, действительно ли так атласна ее кожа, запустить руку в шелковистое руно волос, ощутить пальцами упругость смуглого тела. Людям свойственны странные тактильные желания: Мария помнила, с каким интересом щупала она в детстве ослика из бархатистой резины, привезенного ей дядей из ГДР. А бабушка, сидя перед телевизором, с наслаждением давила часами воздушные пупырышки на целлофановых мешочках из-под хрупких вещей...

Впервые Мария встретила Лизу в депутатском штабе во время очередной избирательной кампании, сверх

всякой меры запруженном людьми, листовками, плакатами и шпаргалками кандидатских докладов. Устав от нескончаемого броуновского движения, Мария зашла в комнату отдыха, бесплодно пошарила по стене в поисках выключателя и вдруг услышала чей-то всхлип.

— Кто здесь? С вами что-то случилось?

...А случилось, что кандидат, не выдержав предвыборного напряжения, в истоме пал, вернее, припал к груди Лизы. От нечеловеческого переутомления на собраниях с придирчивыми избирателями Лизины прелести почудились ему такими радушными и хлебосольными...

— Он меня грязно домогался! — жаловалась она в темноте свистящим шепотом, судорожно переводя дыхание. — Ну почему, почему они все меня домогаются? Что я им плохого сделала?!

Щелкнув, наконец, выключателем, Мария ожидала увидеть жалкое личико в потеках размытой туши. Ничуть не бывало. Девушка была свежая, как огурчик, только щеки разругались и губки надулись, наверное, больше обыкновенного. Мария посочувствовала мученице, подождала, пока та поправит невидимый урон, нанесенный страданиями макияжу, и обе они бодро отправились требовать сатисфакции от проштрафившегося кандидата. Избегая Лизу глазами, он с привычной легкостью пообещал, что впредь подобного не повторится... Мария сообразила: больше можно поверить исполнению тех обещаний, которыми будущий слуга народа так же легко увешивал уши избирателей.

Каждый занялся своим делом. Кандидатом — помощник, временно исполнявший обязанности имиджмейкера, Мария — составлением медиаплана, Лизе поручили собрать с полу рассыпанные листовки.

Согласно сезону, тугой Лизин супер стягивали джинсы, но, когда девушка нагнулась, между свитером и поясом джинсов оголились столь соблазнительные полушеры, что помощник, бросив кандидатский имидж на

произвол судьбы, бессознательно ухватил их обеими ладонями. Лиза охнула, отскочила, заломила руки...

— Ну почему, почему?! — рыдала она потом в темной комнате отдыха.

Специфичное амплуа помощника подсказало Марии решение:

— Гм-м, Лиза... Может, вам поменять имидж?

— Я как-то не так выгляжу?

...В 12.45 следующего дня Мария с Лизой уже стояли в ожидании у двери сластолюбивого начальника. Он, наконец, подошел. Его было много. Он был большой, вальяжный и на весь коридор благоухал дорогим парфюмом и вкусным обедом.

Высокая гостья, наверное, сурово глянула бы ему прямо в лицо. Мария, метр с кепкой, смотрела снизу вверх и увидела вначале ноги — каждая в обхват ее талии, с обоюдоостро заточенными стрелками брючин. Где-то далеко над холмами живота и груди боксерскую шею венчала круглая, неожиданно буйноволосая голова.

Узрев Лизу, этот Робин-Бобин-Барабек издал плотоядный смешок, растопырил руки и пошел на нее, как бык на красную тряпку. Марию он, очевидно, не заметил.

— Что вы себе позволяете, Георгий Пальгч?! — взвизгнула Лиза. — Я вынуждена жалова...

Все закончилось благополучно. Мария выступила маленьким бесстрашным тореадором между двумя стихиями. Начальника взяли на испуг двумя статьями — журналистской и уголовной. Виновато мямля и заикаясь, он выдал заработанное несостоявшейся секретарше. Сумма оказалась в несколько раз больше предполагаемой. Девушка, вероятно, получила и за моральный ущерб.

С тех пор Мария с Лизой стали разговаривать по-приятельски, на «ты».

— Он воображает, что я могу с ним!.. Представляешь,

я — с ним!!! С этим бу... бу... — у нее не хватало слов, — бугаем! Не поверишь, — она рассыпала веселые колокольчики смеха, — он предлагал мне выйти за него замуж! Честно, не вру! Ой, Маша, я бы легче напрочь облысеть согласилась!

Литературный редактор Семен Семенякин был единственным мужчиной, не поддавшимся на Лизины чары. За рекордное количество внебрачных детей редакция звала его Осеменякиным. Едва Лиза входила в кабинет к Семену с обработанными письмами, он начинал вращать глазами, нервничать, чертыхаться и отправлял ее все переделывать заново.

Глаза шемаханской царицы блестели лаком близких слез:

— Что ему от меня надо? Скажи, Маша, это такой способ домогательства?

Другого объяснения непостижимой неприязни к ней Семенякина Лиза не видела и, скорее всего, была права.

Вскоре девушка разочаровалась в работе журналиста, не успев им, впрочем, стать. Она ушла, но еще долго витал в коридоре сладковато-пряный запах ее духов, унося мужчин в сладковато-пряные грезы тысячи и одной ночи. А из жизни Марии Лиза выпала раз и...

Вот и нет. Не навсегда.

Однажды, спустя лет пять, кто-то дернул за рукав в магазине:

— Маша!

— Да?..

— Мария, вы... ты меня не узнаешь?

На нее смотрела совершенно незнакомая женщина, одетая во что-то глухое, темное, будто чернилами облитая от горла до лодыжек. Лицо без тени косметики, волосы зачесаны в гладкий хвост. Голос... Мария еле узнала Лизу по голосу.

— Это... ты?! — глупо спросила Мария и замолчала. Страшно было задавать вопросы — видимо, произошло

что-то дурное, какая-то трагедия, от чего между шемаханской царицей в павлиньих перышках и нынешней неприступной дамой пролегла огромная пропасть. Лишь услышав колокольчиковый смех, Мария облегченно вздохнула: смеется, значит, все хорошо. Улыбка Лизы была по-прежнему прелестной: белоснежные зубы, круглые ямочки, блестящие черные глаза. Другая Лиза, перевоплощенная, но та же. Кажется, счастливая и вполне довольная собой.

— Как живешь? — решила спросить Мария.

— Живу, — пожала плечом Лиза. — Замуж вышла. За Георгия Палыча. Ну, помнишь, ты еще статьей его пугала.

— Который бу... бу... — забубнила Мария, и Лиза помогла, смеясь:

— Все верно, тот самый бугай! Он душка.

— А облысеть? Напрочь?..

— Что?

— Ты готова была облысеть, если...

— Это ж фигура речи, — смутилась Лиза.

— Но он тебя домогался!

— Как бы иначе я поняла, что он меня любит?!

— А он любит?

— Не то слово!

— А ты?

— И я! Он же у меня первый, что бы вы обо мне ни думали! И последний.

— Ничего мы такого не думали, — соврала и мгновенно поверила себе Мария.

Лиза усмехнулась:

— А то я не знаю...

— Дети есть?

— Двое, мальчик и девочка.

Взгляд Марии ткнулся в обоюдоострые стрелки брюк подошедшего человека, поднялся по большому туловищу к буйноволосой голове.

— Гошик, — проворковала Лиза, — помнишь, мы приходили к тебе с Марией... Ну, тогда...

Георгий Палыч с обожанием смотрел на жену сверху вниз. Марию он снова не заметил, потому что отвлекся. Глаза полыхнули ревнивым огнем — проходящий мужчина посмел оглянуться на Лизу.

Мария вдруг поняла: будь она мужчиной, тоже бы оглянулась. С Лизы слетела вся елочная мишура, но то, что всегда отличало ее от других, — осталось. Редкая в своей притягательности, победная женственность и нежность. И никакая смена имиджа здесь не в силах была помочь.

ТАТЬЯНА
ТРОНИНА

ОШИБКИ СЛЕДСТВИЯ



Я в тупике. Я загнана в угол!

Если я срочно не приму какое-то решение, то сойду с ума.

Хотя, со стороны, у меня вроде бы все в порядке. Я здорова, не работаю, детей у меня нет пока, мы с мужем живем в собственной квартире. Муж мой, Макаров, — святой. Необыкновенный человек. Не пьет, не курит, от меня до сих пор без ума, на работе его уважают. Платят мужу немного, но нам хватает. Ни долгов, ни кредитов у нас нет. Едим мало, шмотки мне безразличны. Словом, у меня все есть. Представьте себе, у меня даже любовник имеется!

А что? Я своего Макарова иногда сутками не вижу. Потому что он все время пропадает на своей дурацкой работе. Я свободная женщина, которая может делать что душа захочет. По сути, я должна быть счастливой! Но я себя таковой не ощущаю почему-то.

А взять, например, мою подругу, Ромашову. Она одна на себе ипотеку тянет и дочку без мужа воспитывает. А еще у Ромашовой язва желудка, с которой она безуспешно борется уже сколько лет...

Но тем не менее я сейчас завидую Ромашовой. Ведь ее в угол никто не загонял, ее никто перед проблемой выбора не ставил. И голову ломать о том, как дальше жить, — ей не надо!

Иногда Ромашова говорит, что я с жиру бешусь, от скуки. Да, собственно, я и любовника год назад завела только от скуки.

Итак, кто он, мой любовник, какой он.

И десятой части достоинств Макарова у него нет. Характер у моего любовника вредноватый, внешне он не особый красавец... Но зато он, мой любовник, тоже совершенно свободен. Потому что он — рантье. Живет на проценты от вкладов. Нет-нет, он не олигарх, но вполне может себе позволить не работать, ездить на приличной иномарке, покупать хорошую одежду, ужинать в хороших ресторанах и два-три раза в год отдыхать на Гоа. Словом, он ничем не занят и поэтому может посвятить мне много времени. Мы с ним гуляем, ходим в кафе, на выставки, в кино, болтаем, смеемся, занимаемся любовью, ссоримся, миримся... В общем, не скучаем днем. А ближе к вечеру я бегу домой, быстренько готовлю ужин (муж мой в еде неприхотлив) и жду своего идеального Макарова, который ни о чем не догадывается.

И никто не догадывался о том, что я веду тайную, двойную жизнь, до тех пор, пока мы с моим любовником в одном кафе не столкнулись с Ромашовой. Сидим, значит, болтаем, смеемся, поцелуйчиками обмениваемся, а тут она... Пришлось их познакомить, любовника и Ромашову. Но, к счастью, Ромашова и бровью не повела. Сидели за столиком уже втроем, очень мило беседовали.

Но потом, на другой день, Ромашова мне все высказала — как можно было променять Макарова, который душу за меня готов отдать, на какого-то лысого уродца, на бездельника?

Но рантье-то круглые сутки свободен, а Макаров — постоянно на работе крутится! Есть женщины, которым важны материальные блага, а мне, именно мне — хочется все время быть рядом с кем-то. Когда я одна, я умираю... — попыталась объяснить я подруге. «А что, Макаров ничего не замечает?» — осторожно поинте-

ресовалась Ромашова уже после того, как я рассказала ей, как весело провожу время со своим любовником. Я улынулась и покачала головой.

Да, мой Макаров не замечал ничего и ни о чем не догадывался.

Мой добрый, милый, доверчивый Макаров. Он не замечал ничего именно потому, что он очень добрый, милый и доверчивый. Ну, и я, в свою очередь, конечно, старалась маскироваться... Ведь не совсем же я совесть потеряла. Никто не знал о моих похождениях — потому что я никому о них не рассказывала. За исключением Ромашовой. Но лучшей подруге можно довериться, уж она-то никогда не выдаст? Она же моя лучшая подруга.

Ну так вот, к делу, чего я вдруг переживать стала, почему почувствовала себя загнанной в угол.

А потому, что недавно мой любовник поставил меня перед выбором — либо он, либо муж. Я, естественно, выбирать не хочу, меня все устраивает. А любовник как с ножом к горлу — уходи от мужа, а нет — так расстаемся. Я тянула с ответом, обещала подумать, кормила «завтраками»...

Однажды мы с любовником сильно поссорились на этой почве, и он перестал отвечать на звонки и сам не звонил.

Я поняла, что мы не помиримся, пока я не брошу мужа. И меня это разозлило, я вообще не люблю, когда мной командуют, когда меня в угол загоняют. (Меня в свое время загоняли в угол, замучили командами; наелась я этих ультиматумов и приказов!) Теперь уже я обиделась на любовника...

Но прошло несколько дней, и я вдруг ощутила, что потихонечку схожу с ума.

Ведь раньше-то мой любовник звонил мне каждый день, раньше мы не расставались часами, я проводила с ним целые дни и забежала домой только перед прихо-

дом Макарова. А теперь — я сижу дома, на диване, как дура, уставившись в телевизор.

Неразрешимая дилемма. Я не могу уйти от мужа. Я его люблю и не хочу причинять ему боль. Я также не могу расстаться со своим любовником, потому что мне скучно сидеть целыми днями дома, одной.

Каждый из моих мужчин устраивает меня в своей роли. Макаров, конечно, весь в работе, но я знаю, что ему для меня ничего не жалко. Ради меня он хоть кожу с себя сдерет. Вот он какой! А любовник — хоть с ним и весело время проводить, но человек он вредноватый, авторитарный, я уже упоминала. С ним я хлебну горя, если окажусь в полном его распоряжении. Но в качестве любовника он идеален. Словом, ситуация такова — мне невозможно расстаться с мужем, так же невозможно, как расстаться со своим любовником.

Ох, что же делать...

Я думала, думала и вот что придумала. А ведь неспроста любовник пристал ко мне с этим ультиматумом. Ну прямо как нож к горлу приставил. «Выбирай — или я, или муж». А вдруг он тоже сейчас *выбирает*? Мой любовник то есть. Между мной и какой-нибудь другой женщиной, тоскующей по семейным узам, которая ну просто спит и видит, как бы за кого-нибудь замуж выйти. Я разведусь с Васькой — любовник со мной пойдет к алтарю, не разведусь — к алтарю он потащит свою новую пассию.

Ситуация ясна. У моего любовника появилась любовница!

И как бы это выяснить? Может быть, попытаться выследить его?

Это глупо, конечно, — выслеживать, вынюхивать, заставить врасплох, но меня буквально затрясло от ревности и злости, когда я поняла, что мой любовник меня за нос водит.

Я в этот момент была дома, и Макаров, кстати, тоже.

Единственный его выходной... Я сидела в кресле перед телевизором, смотрела очередной сериал. Вернее, делала вид, что смотрела, а на самом деле думала о своем любовнике — где он сейчас, с кем...

В этот момент чьи-то руки легли мне на плечи. Макаров. Милый и добрый. Наверное, он был бы без ума от счастья, если б я желала его так, как желаю сейчас своего любовника. «Не грусти, детка, — сказал муж, — все будет хорошо». Он не знал ничего, скорее всего, он сказал эти слова просто так, проходя мимо и заметив мою расстроенную физиономию. «Какое дурацкое кино...» — пробормотала я, оправдываясь. «Так переключи канал!» — «Ладно», — согласилась я и заставила себя улыбнуться. Все-таки он очень хороший человек, мой Макаров.

А на следующий день я решила отправиться к своему любовнику и сказать, что мы расстаемся. Сдался он мне, этот лысый урод. Пусть живет себе, пусть будет счастлив.

А у меня — есть мой Макаров!

Он меня точно любит. Он душу за меня готов отдать. И я его люблю. Вообще я могу опять, как до замужества, устроиться на работу, чтобы не изнывать дома от тоски. Или (еще лучше!) — я рожу ребенка. У нас с Макаровым будет ребенок, который займет все мое время, заполнит всю мою жизнь.

Господи, как все просто! Как легко стало мне на душе, когда я поняла, что не надо мне никого выбирать!

Мы с мужем будем жить долго и счастливо, пока не умрем в один день. И мой Макаров никогда-никогда не узнает, что я изменяла ему, что я целый год бегала на свидания к любовнику.

Кстати, о любовнике. Надо все-таки сходить к нему и поговорить. Вдруг он вздумает искать меня? Лучше уж расставить все точки над «i».

...Телефон не отвечал, и поэтому я стала дожидаться своего любовника возле дома, где он жил. Села во дворе, где была детская площадка, битых два часа прожда-

ла, пока не стемнело... И тут увидела его, своего любовника, под руку с какой-то теткой! Ну вот, так я и думала, что у него другая. Они шли и мило беседовали, склонив головы друг к другу. Потом поцеловались и, точно молодые, вплыли в подъезд, счастливые и довольные. Меня они даже не заметили.

Но, странное дело, я совсем не ревновала, хотя своими глазами только что убедилась в существовании соперницы. А и пусть будут счастливы... У него эта тетка, у меня мой Макаров. Вот оно само все и разрешилось. Собственно, не надо было даже сюда ходить.

«У Ромашовой была?» — спросил меня дома Макаров. «Да», — солгала я ему. Ложь во спасение, милосердная ложь, *последняя* ложь. «Уже темно. Надо было позвонить, я бы встретил тебя».

«Прости, милый, я забыла».

На следующий день я набрала номер своей лучшей подруги и сообщила ей торжественно:

«Ромашова, я приняла окончательное решение. Я бросила своего любовника. Я мужа люблю! Для меня теперь существует только Макаров». Пауза. Потом Ромашова выдохнула: «Ты молодец! Давно следовало это сделать!» — «Давай встретимся, подружка. Посидим где-нибудь в кафе!» — «Отличная мысль! Сегодня вечером поболтаем обо всем! Договорились». — «Ромашова... я все-таки люблю Макарова. Очень люблю, — повторила я. — На меня какое-то наваждение тогда нашло, бес попутал... С жиру я бесилась, вот что. Я решила Макарову ребенка родить!» — «Это чудесно... Вечером договорим!»

Милая Ромашова. Как она обрадовалась, когда узнала, что я рассталась, наконец, со своим любовником. Даже прямо выдохнула с облегчением. Я рожу, а она будет крестной ребенка...

Потом я позвонила мужу на работу: «Макаров, привет! Сегодня я задержусь. Пойдем с Ромашовой в кафе». — «Хорошо. Долго не засиживайся». — «Договори-

лись!» — засмеялась я. Положила трубку и представила, как я вечером буду любить Макарова. Как я буду целовать его, обнимать — своего единственного...

* * *

Ромашова стояла перед телефоном, закрыв глаза, стиснув зубы. Только что звонила Настя, подруга, и торжественно заявила, что решила остаться с мужем. «Ну да, поверила я ей, этой Насте... — устало, с бессильным отчаянием подумала Ромашова. — Сегодня она одно решила, а завтра другое. Семь пятниц на неделе!» И боже мой, какая же эта Настя дура... Нашла, наконец, нормального мужа, встретила хорошего человека, и что? Завела себе любовника. Зачем?! Макаров же — золото, какое еще поискать. До знакомства с ним она, Ромашова, думала, что подобные мужчины только в кино и в любовных романах встречаются. Порядочный, умный, без вредных привычек. Честный.

И вот этому мужчине досталась Настя, легкомысленная дурочка. Ну почему, почему жизнь так несправедлива...

«В сущности, даже если Настя и рассталась со своим любовником, то это еще ничего не значит, — продолжала размышлять Ромашова. — Найдет другого хахалю, продолжит мужу рога наставлять. Какая из нее жена, какая хозяйка, какая мать... Наказание одно. Пусть Настя мне лучшая подруга, но она недостойна Макарова!»

Именно поэтому месяца два назад, когда узнала, что у Насти есть любовник, Ромашова отправилась к Макарову и рассказала ему все. Но тот почему-то медлил, тянул, не хотел бросать Настю... И вот сейчас Настя заявляет, что остается с мужем. Да еще ребенка собралась заводить. Но этого нельзя допустить, нельзя.

Если чуть подтолкнуть Макарова, если солгать ему? Чтобы он, наконец, принял единственно верное решение.

Он расстанется с Настей, а потом... А потом нечего загадывать. Но если она, Ромашова, будет все время с ним рядом, если она поддержит его в трудные минуты — разве он, такой честный и порядочный, сможет оттолкнуть ее? Разве он не оценит ее?..

Ромашова глубоко задышала, затем открыла глаза и сняла телефонную трубку.

«Алло. Майор Макаров слушает». — «Макаров, привет. Это Ромашова. Я только что говорила с Настей. Она позвонила мне и сказала, что хочет бросить тебя. Сказала, что давно тебя не любит уже. Что еще Настя встречается со своим любовником сегодня вечером! Она и вчера с ним встречалась, я тебе говорила, и сегодня пойдет». — «Настя сказала, что идет сегодня с тобой в кафе». — «Не будь наивным. Она все время прикрывается моим именем! Она влюблена в этого негодяя, как кошка. Со всем этим надо кончать. Нельзя больше миндальничать. Брось ее первым, Макаров, ты же мужчина, а не тряпка... У тебя профессия такая серьезная, мужская... Ты же следователь! Ты такие дела распутываешь сложные, а с собственной женой не можешь разобраться! Ну сколько можно терпеть! Ведь вокруг столько достойных женщин, способных оценить тебя...» — «Ты говоришь — Настя сказала, что собирается бросить меня?» — перебил Макаров. «Да, — твердо произнесла Ромашова. — И сегодня вечером у нее с любовником опять свидание».

* * *

Макаров отложил телефон, открыл папку с делом. «Обвиняемый Тарасенков, будучи в состоянии алкогольного опьянения...» Нет, не идет ничего в голову. Макаров закрыл папку, отодвинул ее в сторону. В висках стучали молоточки — вечером, вечером, вечером... Вечером жена опять убежит к своему любовнику. «Да, обвиняемый Тарасенков, мне бы твои проблемы!»

...Пару лет назад он познакомился с Настей. Какой-то воришка на улице выхватил у нее из рук сумочку, а Макаров догнал его, схватил, нацепил наручники, потом сдал в руки патрулю, вернул сумочку хозяйке. И — влюбился в потерпевшую.

Потому что никогда еще не встречал таких женщин. Каких? Ну, словно не от мира сего. Нежная, веселая, наивная и ласковая. Красивая... Настя напоминала ангела. И этого ангела надо было хранить и оберегать.

Детство у нее было не из легких — старшая в многодетной семье. Родители пили, поколачивали дочь, заставляли смотреть за младшими. В восемнадцать лет Настя сбежала из дома. Работала на трех работах, чтобы снимать квартиру, чуть не надорвалась. Поэтому, женившись, Макаров разрешил Насте сидеть дома, не гонял ее по хозяйству, ничего не требовал.

Она, конечно, отчаянно скучала в браке, все просила его оставить опасную службу, побольше времени проводить с ней. Наверное, был бы ребенок, она не скучала бы... Но как от нее ребенка требовать — она сама дитя еще по характеру, да и все детство свое возилась с младшими. Конечно, теперь не стремится стать матерью.

Примерно год назад началось. Он, Макаров, не хотел верить, все глаза закрывал, потом пришла та вобла в очках, Ромашова, — подруга Насти, и вывалила на него всю правду. У жены — любовник.

Сначала Макаров хотел поймать этого любовника и поговорить с ним по-мужски, потом понял — нельзя, ведь если Настя счастлива с тем человеком... Ведь он, Макаров, — сухарь, зануда. С ним, с мужем, и поговорить не о чем!

Тянул все, делал вид, что ничего не замечает. Думал, может, само рассосется и Настя бросит любовника.

Выходит, нет. Выходит, наоборот, Настя его, Макарова, решила бросить...

А как без Насти? Мир такой грязный, жестокий, се-

рый, тусклый... И только одно утешает, дает силы — рядом есть Настя, солнышко.

Макаров достал из сейфа табельный «ПМ», взглядом раздраженно скользнул по вороненой стали. «Дурной каламбур получается, а, Макаров? Макаров с пистолетом Макарова. Но что ж поделать, если он, муж, Насте больше не нужен...»

Следователь приставил пистолет к виску. Надавил пальцем на спусковой крючок.

* * *

Проходящий по коридору молодой сержантик дернулся, а потом замер, услышав за дверью одного из кабинетов выстрел. Очнулся и стремглав затопал прочь, за начальством...

ОЛЬГА
ИСАЕВА



МОЙ ПАПА — ШТИРЛИЦ



В детстве зима не кончалась никогда и очень хотелось есть. Мама ежедневно давала мне с собой в школу десять копеек на завтрак, но среди гвалта и толкучки школьного буфета транжирить драгоценную мелочь не хотелось. Кроме того, отдававшие прогорклым маслом слоеные язычки и булочки с маком, в которых частенько скрипел отнюдь не сахарный песок, меня не вдохновляли. Мне хотелось роскоши, и я знала, что должна обеспечить ее себе сама. Это было не так уж сложно. Дело в том, что в нашем городе проживало очень много пьяниц. А пьяный человек свободен от меркантильного заглядывания в завтрашний день. Он вздрогнет на троих, а бутылочку тут же на снежку оставит без внимания. Он, может быть, даже заляжет с нею в обнимку, но потом его или в вытрезвитель заберут, или он сам очухается и покорно домой к жениной оплеухе побредет, а она (бутылочка) так и останется скучать в одиночестве. К счастью, очень рано я смекнула выгоду жизни в таком замечательном городе и все «школьные годы чудесные» с сознанием собственной правоты собирала пустые бутылки, ощущая себя одновременно санитаром города и добытчицей.

Отрочество мое пришлось на самый безмятежный период советского застоя. Давно смолкли танки в Чехословакии, до Афганистана и «Солидарности» было еще далековато, на политинформациях, проводимых в школе ежедневно после пятого урока, нам рассказывали об отрубленных пальцах Виктора Хары, успехах вьет-

намских братьев в долгоиграющей войне с Пентагоном и конфликте на Ближнем Востоке. Проводила их старшая пионервожатая Зинаида Александровна, которая слово «израильтяне» членораздельно произнести не могла. Чтобы упростить себе задачу, она говорила по-просту — евреи. Таким образом все становилось на свои места. Эти самые евреи нападали на наших братьев арабов, чтобы оттяпать у них для своих нужд побольше земли. Мне это слушать было запаadlo. Я сама еврейкой была и обидеть могла кого угодно. Кроме того, на карте мне так и не удалось отыскать Израиль. Не было его. Название было, а самой страны не было, зато арабских стран — что грязи.

После пятого урока Зинаида Александровна расставляла на выходе из школы пикеты. Члены совета дружины записывали всех, кто выходил с портфелем, поэтому на последней перемене я выбрасывала свой из окна девчачьего туалета на третьем этаже (на втором был мальчишеский, а на первом окна не открывались), и через пять минут после начала политинформации, вернее переклички, отпросившись по-маленькому, бежала в раздевалку, во двор, а оттуда домой: к свободе, к счастью. Чтобы отметить это ежедневное обретение свободы со всей торжественностью, по пути я не пропускала ни одного кусточка, ни одной подворотни или помоечки. Все они были мне как родственники. Заприметив в сугробе вожденный тусклый блеск, я бестрепетной рукой извлекала красавицу на свет божий и несла сдавать родному государству за двенадцать копеек. Нередко меня ждало разочарование — вместо целой бутылки в кустах коварно посверкивали осколки, но чаще всего усилия мои вознаграждались, и домой я возвращалась с роскошной закуской и выпивкой — газировкой «Дюшес» и пышным сугробиком бисквитного пирожного, украшенным нежно-розовыми блямбочками крема. Пункт сдачи стеклотары и гастроном находились меж-

ду школой и казармой, где я жила. За пятнадцать минут в отрезке между пунктом А и пунктом Б я собирала необходимый урожай — пару беленьких из-под водки за три шестьдесят две, пивную из-под «Жигулевского» и длинную зеленую из-под портвейна. Коньячные и фугаски из-под шампанского приходилось игнорировать. Их ни в одном пункте не принимали, говорили: «некондиционные». Так что, если бы в наш город случайно забрел иностранный шпион, то, оглядевшись, послал бы, дурачок, своему вражескому начальству чистую дезинформацию: пьют-де доблестные ореховозуевцы, пьют, кто спорит, но, как правило, на троих и исключительно благородные напитки.

Очереди были тогда неотъемлемой частью быта. Не ропща, я отстаивала обе столь непохожие друг на друга — молчаливую мужскую в приемном пункте и горластую женскую в гастрономе — и неслась домой, где у порога бросала портфель с его треклятыми иксами, инфузориями-туфельками, идейностью и дневником, исступленно взывавшим: «Ваша дочь систематически грубит учителям», стягивала на пол сапоги, пальто, форму и с разбегу ныряла в пышные недра маминой постели. Боже, как в тот миг я была счастлива. Впереди было несколько часов «свободы и покоя», мама возвращалась с работы очень поздно.

В те годы я еще не знала, что стыдно «выражаться высокопарно», поэтому смело именовала свое состояние блаженством (речь моя вообще грешила крайностями). Даже поиски вечно терявшегося «спутника жизни» — консервной открывалки, напоминавшей символ родины — серп и молот, не омрачали его. И читала я во время своих постельных пиршеств всегда что-нибудь вкусненькое — «Евгения Онегина», сцены про балы и любовь из «Войны и мира», «Графа Монте-Кристо», «Блеск и нищету куртизанок», то есть литературу восхитительную, о жизни такой же недостижимой,

как картинки с обложки «Книги о вкусной и здоровой пище». Это была единственная книга в доме, которую я так и не прочла, зато до дыр засмотрела иллюстрации. Чего стоила хотя бы самая что ни на есть невзрачная: с сосисками и зеленым горошком. Как же ее хотелось сожрать! Но главным соблазном для воображения, конечно же, являлась обложка — шоколадно-коричневая, с золотыми тисненными по коже буквами в выпуклой рамочке из фруктов, тортов, колбас и прочей вкуснятины, на переднем форзаце которой красовалось изображение идеального закусочного стола, где в обрамлении хрусталя и фарфора дурманили разум баночки с икрой, розовые окорока, курносые поросята, жареные гуси, а во главе царственно плыло блюдо с огромным осетром. Взглянув же на задний форзац, можно было легко и приятно сойти с ума от несказанной красоты похожих на воздушные замки тортов, содержимого конфетных коробок и ваз с невиданными фруктами.

В существовании всей этой роскоши я не сомневалась. Раз есть фотографии, значит, и сама она существует — только не в нашем городе! Такой не было даже у Алки Седовой, вместе с родителями проживавшей в отдельной квартире, в доме, построенном пленными немцами для представителей городского истеблишмента — горкома, торго, прокуратуры. Эти двухэтажные коттеджи в народе так и называли — немецкими. В них из окон не дуло, с высоких потолков свисали хрустальные люстры, двери открывались бесшумно, стены были рассчитаны на то, чтобы выстоять в случае вражеской артподготовки, а подоконники были такими широкими, что на них могла разместиться целая оранжерея. От радиаторов по просторным комнатам текло заграничное тепло, полы и стены устилали ковры, на кухнях, как сытые коты, урчали холодильники — страшная по тем временам редкость. Помню, мы с мамой стояли в очере-

ди на наш малюсенький «Саратов» пять лет, а продукты хранили в авоське за окном.

Алкина мама была директором продбазы. Она красила губы ядовитой малиновой помадой, на квадратных плечах носила чернобурку со злющими янтарными глазами, на работу ездила в служебной «Волге». Помнится, уже после школы я слышала, что у нее вышли какие-то неприятности с ОБХСС (меня всегда поражало это «СС»), а может быть, это были только радужные мечты обитателей бараков и казарм. Так вот, даже у Алки в доме такой роскоши, как в «Книге о вкусной и здоровой пище», я не видела. Апельсины и икру в запечатанных банках в холодильнике — пожалуй, но, возвращаясь из школы, она получала такую же, как и все обыкновенные люди, тарелку демократических щей с черным хлебом, а их моя мама даже лучше готовила. Как сейчас помню, входим с мороза в дремотно-сытое нутро номенклатурной квартиры. Алка плетется под шамкающим присмотром бабки на кухню, предоставляя мне поиграть полчаса в голодном одиночестве. Я, несмотря на урчание в кишках, совершенно не возражаю. Пока Алка с отвращением пьет через край бледную жирную жижу с разваренной капустой и кусками застревающей в зубах говядины, я наслаждаюсь ее немецкими куклами и, если повезет, могу урвать пять упоительных минут вдвоем с ее тоже немецким пианино. Алка ревниво поправляла: «Не пианино, а фортепиано».

Впрочем, все это давно, еще в начальных классах было, когда я хорошо училась и меня к ней прикрепили помогать с чистописанием. В четвертом классе мы раздружились: Алка у меня в гостях на пол мамины духи вылила, и за это мне здорово влетело, а чуть позже ее мама нашла в дочернем портфеле початую пачку «Беломора». Чтобы оправдаться, Алка свалила вину на меня, хотя курить была ее идея — я только стащила пачку из кармана пиджака маминого «ухажера». Алкины родите-

ли обвинили меня в дурном влиянии, и, от греха подальше, в пятый класс я пошла уже в другую школу. Больше мы не виделись, но воспоминания о жизни обитателей немецких домов сохранились.

Все детство упоенно играя в войну, мы называли противников не фашистами, а немцами. Ни разу не слыжала я, чтобы это были американцы, хоть стращали нас их «военщиной» по самое не балуй, а по ночам в бессоннице я металась от видений атомных взрывов и язв на коже от зарина, зомана и вигадов, которыми пичкали нас на уроках военного дела. В десять лет в сочинении «Кем быть?» я честно призналась, что мечтаю стать президентом Соединенных Штатов, чтобы предотвратить ядерную войну.

Американцы были настоящими врагами, их еще победить надо было, а вот немцы были врагами уже как бы игрушечными, телевизионными, и какими бы жестокими их в кино ни изображали, они всегда казались придурковатыми и потому не слишком страшными. Непонятно было только, как им все же удалось натворить по всему миру столько ужасов. В моем сознании киношные немцы, а также те, что в нашем городе дома для начальства построили, никак не хотели совмещаться с чудовищами, которые Зою повесили, краснодонцев в шахту сбросили, евреев в Дахау сожгли. Кроме того, смуты в мое детское сознание добавила вернувшаяся из Германии мамина школьная подруга тетя Юля. Она там работала учительницей истории в школе для детей служащих советского посольства и о немцах отзывалась как о «культурной нации», хоть ее собственный отец погиб на Курской дуге. А чего стоили бесконечные восторги по поводу музеев, альпийских красот, стерильности городов, вежливости в общественном транспорте?

Тете Юле вообще в жизни повезло гораздо больше мамы. Мало того что за пять лет непыльной работы в школе, где в каждом классе училось не сорок обол-

тусов, а восемь, ухитрилась скопить денег на кооперативную квартиру, она себе из Германии еще и мужа вывезла — нашего, русского, но совершенно не пьющего Володечку. Да что мужа! Всю мебель, одежду, посуду, занавески, тазы, вешалки — все-превсе, так что, переступая порог ее квартиры, я как бы оказывалась в уютной миниатюрной Германии. Именно здесь я впервые увидела сервант, домашний телефон, магнитофон. Перед последним я даже исполнила свою любимую, разученную в хоре Дворца культуры текстильщиков песню: «Пришла к пастушке кошка», и крутящаяся бобина точно повторила мое слабое пищание. А ведь мне казалось, что я так красиво пою. Я на магнитофон обиделась, а взрослые сначала смеялись, а потом слушали что-то хриплое, грустное про облака и Караганду, от чего мне захотелось спать, а маме плакать. Развеселились обе, только когда дяденька со смешным именем спел про циркачку и Ваньку Морозова, который медузами питался. Во дает!

Из рассказов тети Юли в моем сознании родилась некая идеальная Германия, восхищение которой символически сфокусировалось для меня на игрушечном домике, стоявшем под елкой в тот единственный раз, когда она пригласила нас с мамой к себе на Новый год. Пожирая мандарины и шоколадные конфеты, я в ту ночь не отходила от елки, украшенной невиданными игрушками. Я не могла налюбоваться на золотые, загадочно мерцавшие в полумраке шары, под материнское «руками не трогай» тянулась к осыпанным блестками ангелочкам и хрустальным феям, но самым сильным впечатлением так и остался тот стоявший под елкой сахарный домик, из окон которого лился настоящий электрический свет, а за ними можно было рассмотреть мебель, елочку, сидящую за накрытым столом немецкую семью, и вместе со мной в эти окна с трогательным вниманием заглядывали крохотные лошадка, коровка

и овечка. Как мне хотелось залезть в этот домик, очутиться в немецкой идиллии, проверить, так ли на самом деле хороша жизнь в этом сказочном мире.

Взрослые обо мне забыли. Они танцевали парами под песню из телевизора:

А снег идет, а снег идет,
и все вокруг чего-то ждет...

Мама сидела у окна и, блестя глазами, смотрела на настоящий снег, кружившийся за тюлевыми занавесками. Танцевали только пришедшие с собственными мужьями, а у мамы мужа не было. Я этому факту в очередной раз порадовалась и вернулась к домику. Полночи я пыталась отодрать от него крышу, но он был сделан добротно, как все, что делали немцы. Ничего у меня не получилось. Так я и уснула в костюме зайчика под елкой среди фантиков и мандариновой кожуры.

С мужем у мамы действительно были проблемы. Взять его было неоткуда. В городе нашем мужчин не было, были только пьяницы. Тети-Юлин муж не в счет. Он был придурок, бегал с утра по улицам в спортивном костюме непонятно с какой целью. Сам он объяснял, что от инфаркта, но многие предполагали, что за бабами. Конечно же, я маме сочувствовала, но про себя стыдливо торжествовала: зачем нам муж? Нам и так отлично: никто пьяный не приходит, не храпит, не воспитывает. Нет, конечно же, я не возражала, чтобы у меня был отец, скажем, Герой Советского Союза (посмертно), космонавт, полярник, проводник поезда дальнего следования. Чтобы быть-то был, но всегда где-нибудь на расстоянии. На эту тему я даже любила на досуге пофантазировать, но в одно прекрасное утро все мои фантазии мне самой показались детским лепетом.

Я сидела и читала что-то очень милое. Кажется, «Кондуит и Швамбранию». Прозвенел звонок, надо бы-

ло переходить в кабинет зоологии, где опять училка будет кошмарить, что я «качусь по наклонной плоскости». Не отрывая глаз от книги, я собрала портфель и попыталась выйти из класса, но дорогу мне преградил Толька Редькин.

— Балалайка! (До шестого класса кличка в школе у меня была Исайка-балалайка.) Ты «Семнадцать мгновений» смотрела?

Я попыталась его обойти, но он не унимался.

— Во дает, деревня, а еще начитанная. Там про твоего родственника, а ты не смотришь?

— Про какого родственника? — я опешила.

— Да про разведчика Исаева по кличке Штирлиц.

Это сообщение произвело на меня сильное впечатление. До сих пор такой, как у меня, фамилии я не встречала ни в жизни, ни в кино, ни в литературе и, естественно, заинтересовалась. Меж тем этот такой важный для меня разговор происходил в дверях кабинета математики, уже прозвенел второй звонок, и, если опоздать, зоологичка развоняется, пошлет к директору... Редиске хорошо, он на учете в детской комнате милиции, ему на уроки вообще ходить необязательно. Нагло мерцающая красивыми кошачьими глазами, Толька ждал, что я оттолкну его, и тогда можно будет с полным правом меня как следует облапать. В ту зиму мальчишки только этим и занимались, юбки нам задирали, зеркальца к ботинкам прищнуровывали, чтобы заглядывать между ног у поднимавшихся по лестнице девчонок, истошно кричали «у вас упало», лезли, хватали, в угол затирали. Меня, правда, побаивались — я была отчаянная. Оценив ситуацию, я отошла к учительскому столу, схватила стул и понеслась на прорыв. Редькина как ветром дуло.

После нашего с ним разговора стало вообще непонятно, как же это я раньше-то ничего про «Семнадцать мгновений весны» не слышала. Сгорая от нетерпения,

я ждала второй серии, тем более что Штирлица играл мой любимый князь Андрей из «Войны и мира».

В казарме тоже только о нем и было разговоров.

— Виднай на мордочку. На Нойке Мордюковой женатый. Бабы говорили, и сынок у них.

— Ври давай. Ен кальтурнай, а Нойка нашенская, из ткачих, толь с Дрезны, толь с Павлова Посаду. С енттой он, с Савельевой.

— Молчи громче. С какой Савельевой? Забыла про «Дело было в Пенькове»? Наш он, свойский, из деревенских, тока образованный.

К моему огромному сожалению, переполошивший всех фильм шел по одной серии в неделю. В день очередного показа город вымирал. Такого не случалось и во время хоккейных матчей «наших» с канадцами. Даже пьяницы сидели по домам, уставившись в ящик, как нормальные люди. Чтобы сладить с нетерпением, я вытерла в доме всю пыль, начав, естественно, с пушистого экрана нашего старенького «Рекорда». Перед началом второй серии минуты казались часами. И вот по черно-белому экрану поплыли титры, за кадром зазвучал задухновенный голос Кобзона, или Кобздона, как говорили в казарме, сердце мое сжалось — вот он Исаев, Штирлиц.

Я полюбила его с первого взгляда, в нем воплотилась моя стыдливая мечта об отце. Он был красив, умен, смел, вежлив. Он нравился мне и в домашнем свитере, и в элегантной форме офицера СД, и в кожаном пальто, и даже в презираемой шляпе. Он носил мою фамилию, был родным и близким, но жил и работал в Германии, где даже во время войны ему в заказах выдавали колбасу «салями», а мы с мамой в мирное время ее пробовали раз в жизни да и то в гостях. Он жил один в роскошном немецком доме, ездил на блестящем немецком автомобиле, от тягот разведслужбы отогревался душой в уютном немецком ресторанчике, а мы с мамой ютились

в убогой комнатке казармы, ездили в переполненных автобусах, а в ресторанах отродясь не бывали, но этот факт я легко ему прощала. Не по собственной воле он в такой роскоши жил — родина велела. К тому же он страдал от одиночества. Немки — благопристойная красавица Габи и млеющая от материнской нежности к нему фрау Заурих — не могли, как ни старались, скрасить его тоски по жене и родине. Мы с мамой тоже были страшно одиноки и изнывали от тоски по его любви, да и, что греха таить, по родине, существовавшей где-то далеко от границы нашего города.

Актриса, игравшая жену Штирлица, очень похожа была на маму. Впрочем, внешность у нее была такой типичной, что похожа она была на всех советских женщин, вместе взятых. И те всем миром были влюблены в Штирлица. Не осталось такой, которая не была бы тронута его заботой о стариках, беременных женщинах, сумасшедших ученых, которая не захотела бы броситься ему на шею только за то, что в День Советской Армии он клюкнул ради праздничка и с одной-то рюмахи (трезвенник наш) окосел, да и пошел по коврам зигзагами, а потом еще и золой от собственноручно испеченной в камине картошки перемазался. Ах ты, боже мой! А ученую тетку как отвадил? Не послал куда подальше, как любой бы другой мужик на его месте, а мило так посоветовал пойти написать парочку формул.

Я до глубины души полюбила не только самого папу-Штирлица, но и «его немцев» — Плейшнера и пастора Шлага. Как дочь превосходящего их брата по разуму, я испытывала к ним снисходительную нежность. Одного мне хотелось погладить по созвучной с фамилией плечи и уберечь от неминуемого несчастья, другого в знак благодарности за помощь просветить насчет религии, и обоих, конечно, принять в родственники. Не было у меня настоящих дедушек, а тут сразу два, да еще такие милые.

Да что простые немцы! Даже эсэсовцы в этом фильме не вызывали ничего, кроме симпатии. Разве что Клаус подгадил, но суки, как известно, есть везде. Актеров на роли фашистов подобрали самых любимых и обаятельных, а приодели как? Помните? Шелленберг шагает по летному полю в длиннополой кожаной шинели с белыми отворотами. Стройный, спокойный, значительный. А Мюллер? Ну и что, что шеф гестапо, зато какой душка! Эк он яблочко-то с косточками ел, прям как вся наша казарма. Простой, из крестьян, а глянь, как по службе продвинулся.

После каждой серии все хором бежали в туалет и на кухню — чайники ставить. Коридоры оживлялись. Дети играли в войну, то и дело раздавалось: «Внимание, внимание! Говорит Германия! Сегодня ночью под мостом поймали Гитлера с хвостом»; мужики курили, азартно обсуждая марки немецких автомобилей, достоинства и недостатки военной техники, бабы кучковались, на сей раз судача не о соседях, а о персонажах ненаглядного телесериала. Глаза их горели, на щеках играл румянец. Осуждали всех, кроме Штирлица, особенно радистку, которая, рожая, закричала «мама» и чуть не погубила операцию: «Ну чо орать? Подумаешь, ципа-дрипа, а как мы по пятеро и ни гугу?» — и Плейшнера: «Бестолочь. Предупреждали ведь. Не-е, попер не глядя. Вот и получил, интеллигент несчастный». А как все обмерли, когда Мюллер произнес свою знаменитую фразу: «Вас, Штирлиц, я попрошу остаться»!

В «едином порыве» пятьдесят с лишним лет прожившая на голодном пайке производственно-героических тем страна отдалась этому первому телевизионному шлягеру — незаконному сыну восточной идеологии и западной эстетики. Отдалась, с наслаждением съела, дочиста обсосала косточки деталей и отгрынула в виде сотен анекдотов. Самым смешным в то время казался: Мюллер спрашивает: «Штирлиц, вы еврей?», тот, авто-

матически: «Нет, я русский». В нем всех радовал как бы двойной юмор. Ведь Мюллера-то играл кто? Это модно было в те годы — доверять евреям роли фашистов в кино. Мне ли этого не знать. Через десять лет после того памятного просмотра «Семнадцати мгновений весны» мне довелось породниться с Кальтенбруннером, то есть выйти замуж за внучатого племянника актера, игравшего его роль, но речь здесь не об этом.

После выхода «Семнадцати мгновений» никто никогда больше не называл меня «Исайкой-балалайкой». Раз и навсегда я стала «Штирлицем».

На переменах одноклассники осаждали:

— Ну Оль, в натуре, скажи, кто тебе Штирлиц-то?

И в натуре я отвечала:

— Отец.

Попробовали бы они со мной поспорить. За свою идеальную мечту я готова была любому харю начистить. Я так с ней сроднилась, что даже учителя смирились.

— Штирлиц, — с едва заметной усмешкой вызывали они к доске, — посмотрим, как ты оправдаешь доверие своего знаменитого родителя.

Я вставала и спокойно шла за очередной двойкой, втайне извиняясь: «Прости, отец, за то, что в твое отсутствие я выросла такой хулиганкой и двоечницей». И он прощал (посмертно). Мой папа Штирлиц героически погиб в Берлине за два дня до окончания войны и за тринадцать лет до моего рождения.

СОДЕРЖАНИЕ



Предисловие	5
Людмила Улицкая	
Чужие дети	9
Подкидыш	24
Андрей Геласимов	
Чужая бабушка	57
Олег Рой	
Чистая случайность	83
Маша Трауб	
Счастливый брак	105
Пьяная стерлядь	107
Мария Метлицкая	
Прощение	119
Умная женщина Зоя Николаевна	136
Ирина Муравьева	
Кудрявый лейтенант	151
Татьяна Булатова	
Проститься хочется	161
Марианна Гончарова	
Сага о Гурацких	193
Землетрясение в отдельно взятом дворе	198
Александр Снегирев	
Луке букварь, Еремею крути на воде	209
Лариса Райт	
Жадность не порок	225
Чудеса природы	241
Ариадна Борисова	
Эффект попутчика	293
Виктория Габышева	
Шемаханская царица	315
Татьяна Тренина	
Ошибки следствия	325
Ольга Исаева	
Мой папа — Штирлиц	337

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Литературно-художественное издание

РАССКАЗЫ О САМОМ ВАЖНОМ

ЛЮБОВЬ, или МОЯ СЕМЬЯ

Ответственный редактор *Е. Неволина*

Младший редактор *А. Семенова*

Художественный редактор *А. Стариков*

Технический редактор *О. Лёвкин*

Компьютерная верстка *Е. Кумшавая*

Корректор *Е. Дмитриева*

В оформлении обложки использована фотография:
anskuw / Istockphoto / Thinkstock / Gettyimages.ru

ООО «Издательство «Э»

123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Эндэрүүл: «Э» АЖБ Баспасы, 123308, Москва, Ресей, Зорге кышай, 1 үй.

Тел. 8 (495) 411-66-86; 8 (495) 956-39-21.

Түзүр бергид: «Э»

Қазақстан Республикасында дистрибутор және өнім бойынша арыс-телеграфды қабылдаушының өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский аш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-89/90/91/92, факс: 8 (727) 251 58 12 эк. 107.

Өнімнің жарнамалық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайты Эндэрүүл «Э»

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Э»

Эндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған

Подписано в печать 10.08.2015. Формат 84х108 1/32.

Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,48.

Тираж 10 000 экз. Заказ № 5764

Отпечатано с готовых файлов заказчика

в АО «Первая Образцовая типография»,

филиал «Ульяновский дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

В электронном виде книги издательства вы можете
купить на www.litres.ru

ЛитРес:
ОДИН КЛИК ДО КНИГ



Оптовая торговля книгами Издательства «Э»:
142700, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный тел.: 411-50-74.

По вопросам приобретения книг Издательства «Э» зарубежными
оптовыми покупателями обращаться в отдел зарубежных продаж
*International Sales: international wholesale customers should contact
Foreign Sales Department for their orders.*

По вопросам заказа книг корпоративными клиентами,
в том числе в специальном оформлении, обращаться по тел.:
+7 (495) 411-68-59, доб. 2115/2117/2118; 411-68-99, доб. 2762/1234.

**Оптовая торговля бумажно-беловыми
и канцелярскими товарами для школы и офиса:**
142702, Московская обл., Ленинский р-н, г. Видное-2,
Белокаменное ш., д. 1, в/я 5. Тел./факс: +7 (495) 745-28-87 (многоканальный).

Полный ассортимент книг издательства для оптовых покупателей:
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тел.: (812) 365-46-03/04.

В Нижнем Новгороде: 603094, г. Нижний Новгород, ул. Карпинского, д. 29,
бизнес-парк «Грин Плаза». Тел.: (831) 216-15-91 (92/93/94).

В Ростове-на-Дону: ООО «РДЦ-Ростов», пр. Ставки, 243А.
Тел.: (863) 220-19-34.

В Самаре: ООО «РДЦ-Самара», пр-т Кирова, д. 75/1, литера «Е».
Тел.: (846) 269-66-70.

В Екатеринбурге: ООО «РДЦ-Екатеринбург», ул. Прибалтийская, д. 24а.
Тел.: +7 (343) 272-72-01/02/03/04/05/06/07/08.

В Новосибирске: ООО «РДЦ-Новосибирск», Комбинатский пер., д. 3.
Тел.: +7 (383) 289-91-42.

В Киеве: ООО «Форс Украина», г. Киев, пр. Московский, 9 БЦ «Форум».
Тел.: +38-044-2909944.

Полный ассортимент продукции Издательства «Э»
можно приобрести в магазинах «Новый экзотный» и «Читай-город».
Телефон единой справочной: 8 (800) 444-8-444.
Звонок по России бесплатный.

В Санкт-Петербурге: в магазине «Парк Культуры и Чтения БУКВОЕД»,
Невский пр-т, д. 46. Тел.: +7 (812) 601-0-601, www.bookvoed.ru/

Розничная продажа книг с доставкой по всему миру.
Тел.: +7 (495) 745-89-14.

ISBN 978-5-699-83363-4



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН



